

О.Б. МАКСИМОВ ВОСПОМИНАНИЯ



НАУКА  
В ЛИЦАХ

Олег Борисович  
**МАКСИМОВ**

ВОСПОМИНАНИЯ



НАУКА  
В ЛИЦАХ

---

Главный редактор серии  
*академик П.Г. Горовой*



Махемов

Российская академия наук  
Дальневосточное отделение  
Тихоокеанский институт биоорганической химии

Олег Борисович  
**МАКСИМОВ**

ВОСПОМИНАНИЯ

Владивосток

УДК 54:92  
ББК 24г  
М17

**М17 Максимов О.Б.**

Воспоминания. — Владивосток: ДВО РАН, 2002. — 200 с.,  
ил. — (Наука в лицах).  
ISBN 5-7442-1314-7

Перед вами книга воспоминаний Олега Борисовича Максимова, до последних дней своей долгой 89-летней жизни работавшего главным научным сотрудником Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Автор рассказывает о своем пути в науке, который длился 70 лет. Его не сломила Колыма, куда он попал в 1936 году, осужденный по политической статье, — и в ГУЛАГе он занимался наукой. Самые яркие страницы книги посвящены именно Колыме.

Его жизнь доказывает: в самых жестких и жестоких условиях человек может не просто выжить, но заниматься любимым делом и потому остаться личностью.

*Составители А.О. Максимов, Г.Б. Арбатская*  
Ответственный редактор член-корреспондент РАН В.А. Стоник

*Издано по решению Ученого совета  
Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН*

**О.В. Maksimov**

Reminiscences. — Vladivostok: FEBRAS, 2002. — 200 p., ill. —  
(Science in Persons).  
ISBN 5-7442-1314-7

This is the book of reminiscences by Oleg B. Maksimov who till the latest days of his long 89 years life had been working as a Chief Researcher with the Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, FEBRAS. The author tells about his way in science lasting for 70 years. He has not been broken by GULAG as he was imprisoned by false political denunciation in Kolyma in 1936. He continued his research work in GULAG, and the brightest pages of this book are devoted just to Kolyma.

His life confirms that a person can not only survive in the strictest and cruelest circumstances, but also be occupied with beloved work and thus stay human.

*Compilers: Alexey O. Maksimov, Galina B. Arbatskaya*  
Chief editor: Valentine A. Stonik, the Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Professor  
Editor-in-chief of the series: Peter G. Gorovoy, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor

© Максимов О.Б., 2002 г.  
© ТИБОХ ДВО РАН, 2002 г.

ISBN 5-7442-1314-7

## Вместо предисловия

Я просто потрясен страничками рукописи Олега Борисовича Максимова, его судьбой, человеческой стойкостью. Таких исповедей сынов России XX века написано множество, я читал и рукописные. Каждая по-своему замечательна, но эта выделяется (по крайней мере, для меня) и значительностью личности Олега Борисовича, и его талантом ученого-химика, и несомненным литературным даром.

Как роман, читаются даже химико-технологические описания, а уж меткость его характеристик людей просто поразительна. Сюжет о пуске батареи для коксования читается, как детектив, а о псалмопении на гулаговской буровой поведано с такой могучей притчевой лапидарностью, что пробирает даже после солженицынских и шаламовских откровений. Очень трогательна деликатная откровенность рассказов о личной жизни. Даже излишне подробные (для широкого читателя) «производственные» страницы просто необходимо напечатать, так увлеченно и понятно все изложено.

Прекрасный стиль, удивительные подробности, родные мне химические описания и, главное, — живые впечатления о Шаламове! Олег Борисович сам весьма незаурядно вырисовывается, и Шаламов, может быть, благодаря именно его заботе и выжил?

Мне кажется, что публикация этих воспоминаний будет культурным событием.

*А.А. ДУЛОВ,  
доктор химических наук,  
Институт органической химии  
им. Н.Д. Зелинского РАН*

**Э**ти записки я собирался начать много лет тому назад, но все никак не выкраивалось для этого времени. И вот теперь, когда я случайно натер кисть правой руки и не в состоянии почти ничего делать, а тем более бегло писать, наконец-то нашлась возможность приступить к этому давно откладываемому делу<sup>1</sup>.

Прежде всего хочу ответить себе на вопросы: о чем писать, для чего и для кого? Естественно, что собираюсь я писать о прожитой долгой жизни, которая протекала в эпоху невиданных общественных потрясений, продолжающихся и по сию пору как в России, так и во всем мире. Поскольку же события моей жизни во многом типичны для судеб достаточно широкой части поколения русских интеллигентов, появившихся на свет в канун крушения империи, то записанное мною (если попадет в надлежащие руки) может оказаться одной из крохотных песчинок, из которых складывается история жизни общества. Мне же как человеку, посвятившему большую часть жизни научной деятельности, импонирует перспектива внести хотя бы ничтожно малый вклад и в эту область человеческих знаний.

Кроме того, побуждает меня писать и желание как-то шире раскрыться перед сыновьями: хотя мне выпало счастье прожить вместе с ними почти сорок лет, многие причины, а также особенности наших характеров помешали рассказать им о некоторых значительных событиях моего детства и молодости.

<sup>1</sup> Несмотря на боль в руке, Олег Борисович напечатал эти воспоминания на своей старенькой печатной машинке. (Здесь и далее, если не оговорено иначе, примечания ответственного редактора В.А. Стоника.)

Итак, от кого я произошел? Так случилось, что, находясь в разлуке с матерью (а тем более с отцом) почти всю жизнь, кроме детских лет, когда генеалогия особого интереса не вызывает, я не смог узнать от нее и запомнить достаточно фактов и даже приблизительных сведений о своих предках. Отчасти этому причиной и угасающая память 82-летнего старика.

Несомненно, что этому также препятствовало и стремление матери если не утаить, то меньше касаться всего, что имело отношение к нашей принадлежности к русскому дворянству, столь криминальной в послереволюционные годы, да и достаточно чуждой ее мировоззрению, сформировавшемуся в среде революционно настроенной польской молодежи.

Род моего отца происходит из кубанского казачества. Дед, Петр Максимов (я даже отчество его забыл), был казачьим офицером средней руки: не то есаулом, не то сотником. У нас в семье хранились его георгиевские кресты, медали и ордена, полученные за турецкую кампанию 70-х годов. Он рано умер, да и как-то редко вспоминался бабушкой Софьей Зотовной, которая происходила из более знатного рода и на старости лет расценивала свой брак с дедом как некий мезальянс. Упоминала она о своем столбовом дворянстве и родовом гнезде — станице Загородной или Завгородней (не помню) где-то под Екатеринадаром.

Бабушка не ладила с моей матерью, называла ее «стриженой полячкой» и безбожницей, и эта семейная распря запомнилась мне с самых ранних лет. Отца я помню достаточно хорошо, хотя любимицей его была сестра Олечка, а ко мне он в те годы относился более прохладно. Отец, видимо после ранней смерти деда, был принят в кадетский корпус. Об учении там у него сохранились не слишком теплые воспоминания. Он, к неудовольствию мамы, иногда рассказывал довольно неприличные истории из времен учения в корпусе, например об ансамбле своих сверстников, которые умели «пускать газы» со звуком разной высоты и пытались таким путем исполнять гимн «Боже, царя храни»...

Упоминаю об этом, как о свидетельстве некоего «вольнодумства» отца, из-за которого он отказался от военной карьеры (бабушка до самой смерти не могла этого ему простить) и уехал учиться в Германию. До 30-х годов у матери хранилось свидетельство отца об окончании какого-то политехникума (не помню, какого). Для продолжения образования отец затем переехал в Льеж (Бельгия), где и состоялась его встреча с матерью.

Отец был темным шатеном высокого роста с кудрявой шевелюрой и синими глазами. У него отрастала рыжая борода, и он в шутку приписывал это тому, что где-то в дальнем роду у него была прабабушка-черкешенка. Упоминал он также о каких-то близких родовых связях с поэтом Ф. Тютчевым. Он профессионально играл на виолончели, и его частые упражнения составляют как бы звуковой фон моего раннего детства. Вторым моим дедом (со стороны матери) был поляк Адольф Краковский. Он, его жена Анна (русская) и многочисленные дети жили или в самой Лодзи,



или на ее окраине в собственном имении или хуторе. Забегая вперед, хочу упомянуть о первых в своей жизни воспоминаниях, связанных с этим имением, где мы с матерью и сестрой гостили летом 1914 года перед самой войной. Помню огромное (по моим тогдашним масштабам) клубничное поле, где мне разрешалось «пастьись». С этого поля после дождя я носил червей к птичнику, огороженному металлической сеткой, и с замиранием сердца бросал их индюкам, которые при этом дрались и пронзительно «болтали» на своем языке. Сильны, видимо, были эти впечатления, раз они остались в памяти трехлетнего ребенка. Заодно уж упомяну еще об одном инциденте тех лет: бабка намазала мне большой ломоть хлеба сметаной, и я его ел, стоя на высоком крыльце кухни. Там находилась громадная (масштаб!) бочка, в которую привозили воду. И вот, вскарабкавшись на табурет и заглядевшись на свое отражение в бочке, я уронил туда хлеб. Последовавшую за этим порку – первую в моей жизни – я запомнил до сей поры. Так жестоко меня позже никогда не наказывали.

Мама была темной шатенкой маленького роста с зеленоватыми глазами и мелкими правильными чертами лица. Она закончила русскую гимназию в Лодзи, увлеклась Мицкевичем<sup>1</sup> (его томик сопровождал ее всю жизнь) и, видимо, как-то приобщилась к участию в революционных кружках. Чтобы отвлечь от этих опасных увлечений, родители отправили ее учиться в Льежский университет на медицинский факультет (единственный доступный тогда для женщин).

Где мама выучила языки, не знаю, но по-французски она говорила как парижанка (это я многократно слышал от ее собеседников, посещавших наш дом), изъяснялась прилично и по-немецки. Ну, а русский и польский были ее родными языками.

В Льеже мама близко сошлась с несколькими еврейскими девушками-студентками, приехавшими учиться из Белоруссии, Украины и Польши, – Марией и Беллой Лазаревной Кнышинскими, Анной Давыдовной – будущей женой известного писателя-популяризатора Перельмана<sup>2</sup>. Среди знакомых отца и матери, тоже учившихся в Бельгии, помню Крыленко (Василия или Владимира?), брата будущего генерального прокурора СССР; Мишукова, мужа Марии Лазаревны, участника разработок плана ГОЭЛРО; физика Андреева и других.

Все эти знакомства продолжались и по возвращению в Россию, когда мы обосновались в Москве. Брак родителей состоялся в 1909 году, когда мама была на четвертом курсе. Она считалась католичкой, и ей пришлось креститься и изменить имя Регина на Евгению. Вскоре из-за беременности ей пришлось прервать занятия, и родители переехали во Владикавказ,

---

<sup>1</sup> Мицкевич Адам (1798-1855) – выдающийся польский поэт, друг А.С. Пушкина и декабристов.

<sup>2</sup> Перельман Яков Исидорович (1882-1942) – ученый и известный популяризатор науки. Написал свыше 100 книг, включая «Занимательную физику», «Межпланетные путешествия» и др.

где тогда проживала бабка Софья Зотовна. 5 (18) июня 1910 года родилась сестра. У нее были изумительные синие глаза какого-то особого сиреневого оттенка, и бабка приписывала это тому, что Олечка с первых дней жизни постоянно глядела на сверкающую вершину Казбека.

Родители не задержались во Владикавказе и вскоре обосновались в Москве, где 3 (16) сентября 1911 года появился на свет я. Это произошло в родильном доме где-то на Стромьнке, а жили мы последующие годы на улице Сокольническая Слободка (номер 4) в двухэтажном деревянном доме на первом этаже, но как-то приподнятом на цоколе над уровнем двора.

Отец работал в какой-то частной фирме, кажется бельгийской, называвшейся «Коксобензол», совмещая обязанности инженера, бухгалтера и администратора. У него был широкий круг знакомых среди музыкантов – профессионалов и любителей, художников и поэтов (отец и сам недурно писал маслом, и несколько его этюдов украшали стены нашей квартиры). Часто вечерами у нас собирались музыкальные ансамбли, постоянным участником которых был Николай Николаевич Андреев<sup>1</sup>, физик-акустик и мой крестный. Он играл на флейте, а на пианино аккомпанировала его первая жена Надежда Николаевна, полная, уже в годах женщина, много старше Николая Николаевича. Всегда с ними приезжала ее дочь Люба, девушка лет семнадцати.

Иногда собирались и у них дома, где произошло мое первое знакомство с электричеством (у нас на Сокольнической Слободке его не было, и квартира освещалась керосиновыми лампами): я сунул два пальца в розетку и навсегда понял, что повторять этого не следует.

Из литературных встреч отца сохранился в памяти рассказанный им эпизод: в середине какого-то поэтического застолья прибыл новый гость, который с бокалом в руке подошел к сидевшему за столом известному литератору и представился: «Балтрушайтис»<sup>2</sup>. Литератор, не поняв приглашающего жеста, ответил: «Да, знаете, я уже основательно набалтрушаился!»

С Андреевыми мы летом часто вместе выезжали на дачу. Где-то в Удельном, Тайнинке или Перловке запомнились пруды, в которых все купались и Люба учила меня плавать. Там у каких-то святых мест встречались уродцы-карлики с гигантскими подошвами ног, продававшие крестики с голубой эмалью. Этих карликов мы с Олечкой страшно боялись.

В отношении религии согласия у нас в семье не было. Мать была убежденной атеисткой, отец, видимо, тоже, а вот бабка Софья Зотовна усердно посещала церковь, была глубоко верующей и старалась всегда брать с собой меня и Олечку. Ближняя церковь возле входа в Сокольнический парк мне очень памятна. Особенно запомнилось пасхальное служение (вероятно, в 1917 году), когда мы пробыли в церкви почти всю

<sup>1</sup> Андреев Николай Николаевич (1880-1970) – физик, академик АН СССР, основатель Акустического института, который в настоящее время носит его имя.

<sup>2</sup> Балтрушайтис Юргис (1873-1944) – русский и литовский поэт-символист, в 1921-1939 годах полномочный представитель Литвы в СССР.

ночь, наблюдая освещение куличей и яиц у верующих, собравшихся во-круг церкви. Потом ранним весенним утром шли домой росистыми дорожками, и так хорошо и светло было на душе!

В доме у нас долгое время жила няня, ухаживавшая за Олечкой, а потом и за мной. К ней я был очень привязан, смутный образ ее порой является мне из бесконечно далекого прошлого. Говорили, что она катала как-то меня, закутанного подобно кокону, на санках по аллеям парка и так увлеклась беседой с приятелем-полицейским, что не заметила, как я соскользнул с санок в сугроб. Когда пропажа обнаружилась, няня страшно растерялась и не могла вспомнить пройденный путь. Долго шли поиски, и только коллеги ухажера меня обнаружили и доставили домой. После этого родители решили с няней расстаться.

Более зрелые воспоминания сохранились со времени революции. В ту пору подготовки к Учредительному собранию по улицам ходили агитаторы с прокламациями, какими-то билетами и кружками для сбора денег. Центром этой деятельности в нашем районе была площадка перед «синематографом» Тиволи (он как будто функционирует и по сей день). Мы, ребята, стайками носились возле агитаторов и порой выполняли их поручения. Помню обуявшую меня радость, когда мне доверили держать транспарант с призывом голосовать за пятый список (это чуть ли не большевики!). После Октябрьской революции юнкера заперлись в Кремле, и их обстреливала артиллерия, какие-то старушки в глубине нашего двора собирали детвору и вели молитвы за праведное воинство в надежде, что детская молитва скорее дойдет до небес.

Как-то, мы, возвращаясь со старшими мальчиками с рыбалки на Яузе, попали в уличную перестрелку. Выручили нас молоденькие липки, которыми была обсажена наша улица. Мы, как воробы, забились в круглую подстриженную крону деревьев и долго, до самого вечера, там просидели.

К тому же времени относится первое посещение театра — нас с сестрой сводили в Художественный театр на «Синюю птицу». Я был так потрясен увиденным, что и несколько лет спустя меня все еще посещали сны с участием персонажей этой гениальной пьесы.

Подшел 1918 год, начался голод. Отец потерял работу (фирма закрылась) и стал искать заработка. Помню, что он с приятелями организовал газосварочную мастерскую. Меня очень манил процесс сварки — снопы искр, таинственное голубое пламя горелок. Но дело не пошло — не было сжатых газов.

Андреевы, перебравшиеся к тому времени с каким-то вузом в Омск, звали нас в сытую Сибирь. Начались сборы. Квартиру, мебель и разную хозяйственную утварь решено было оставить соседям.

Отец был белобилетником по зрению и в армию никогда не призывался, но тут связался с полувоенной организацией «Центропленбеж», которая устраивала переезд эшелонов демобилизованных солдат и бывших военнопленных на родину в Сибирь. Мы быстро собрали довольно боль-

шой багаж и поездом отправились в Петроград. Там произошло окончательное формирование эшелона и началась наша одиссея.

Ехали очень медленно. Через Вологду и Вятку к августу добрались до Перми и остановились в здании, где незадолго до этого располагалась австрийская миссия Красного Креста. Этот большой деревянный дом с многочисленными службами (там расположился эшелон) принадлежал ранее кушцу Жирнову, имущество было разграблено, кроме молельни, где находился грандиозный иконостас в две стены, блиставший золотыми окладами икон. Это было удивительно: солдаты, озлобленный многолетним сидением в окопах и пленом народ, тащивший домой в деревню все, что попадалось под руку, не решались тронуть Божье хозяйство — так глубоко и сильна была религиозность сибирского мужика. Я со сверстниками шнырял по обширным подвалам дома и запасся увесистым мешочком с крестиками и медальонами с изображением Богородицы, отлитыми из какого-то тяжелого сплава и брошенными австрийцами. На них я потом с успехом обменивал рыболовные крючки у деревенских ребят и использовал в качестве грузил. Ничего святотатственного в этом я не видел, хотя по наставлению бабки каждое утро молился Богу.

Судьба эшелона осложнилась после восстания корпуса военнопленных славян (чехов, словаков и других), которых перед этим вооружили в надежде использовать их на фронте против немцев. Дорога на Екатеринбург оказалась перерезанной, откуда-то поступил приказ эшелону двигаться на север в городок Надеждинск (ныне Серов) и оттуда по рекам пробираться в Сибирь. В Надеждинске запомнилась насыпь узкоколейки, сложенная щебенкой с включениями блестящих рудных минералов. Большая часть собранной мною драгоценной коллекции камней была безжалостно выброшена матерью, к великому моему огорчению.

Как-то мы добрались до реки Сосьва<sup>1</sup>, погрузились на крохотный колесный пароходик «Удалый» и отправились в путь. Раза два в день пароход приставал к лесистому берегу, солдаты с пилами отправлялись на заготовку дров для топок парохода. Места были глухоманные, водились лоси, которых нещадно отстреливали, и они служили подспорьем для пропитания эшелона. На стоянках мы с Олечкой, конечно, тоже бродили по тайге, собирали клюкву и чернику, и я пытался ловить рыбу. Помню такой инцидент: мне нравилось наблюдать, как шлицы колес разбивают и пеняют воду, и я сползал с палубы на кожухи, покрывавшие колеса, и часами любовался их вращением. Не знаю, как это случилось, но вдруг я съехал по кожуху вниз и оказался в реке. По счастью, я упал не под колесо, а за ним, иначе этот рассказ некому было бы писать. Какой-то солдат-бородач заметил мое падение, поднял тревогу, бросился за мной

<sup>1</sup> Река Сосьва — приток реки Тавды, в свою очередь впадающей в реку Тобол.

в воду и выволок на берег. Я стал героем дня и терпеливо снес наложенное отцом наказание.

Вскоре мы приблизились к району, где власть принадлежала уже колчаковцам. Нас высадили в селе Пельмы<sup>1</sup> (когда-то в нем жил ссыльный Бирон), «Удальи» поплыл обратно. Здесь мне исполнилось семь лет, но день был испорчен тем, что я, прислонившись спиной к жарко натопленной голландке, опалил себе пальто и был оставлен без подарка и белых булочек, испеченных к моему празднику. Помню появление белых – карателей, командиром отряда которых был молодой офицер, князь Долгорукий, носивший ногайку с громадным красным бантом в знак того, кому она предназначена.

Я забыл упомянуть, что с нашим эшелоном от самого Петрограда путешествовал голландский консул Станг с женой. Это был высокий и полный старик с седой шевелюрой и красным, сурового вида лицом. Жена же его, веселая, разговорчивая женщина, постоянно болтала с мамой по-французски. Вообще, владение языками избавляло родителей от многих возможных неприятностей при пересечении фронтовой линии: офицеры отрядов белой гвардии встречали нас как беженцев из Совдепии. Станги пробирались в Томск, где находилась какая-то коммерческая фирма, занятая продажей шерстяных тканей, с которой глава семьи был связан. Это и заставило его выбрать такой кружной путь на родину.

Наше продвижение застопорилось, и эшелон начал разваливаться. Отцу постоянно приходилось выезжать вперед для обеспечения транспортом и ночевками. Мы утрами грузились в длинные и узкие лодки типа амурских батов и весь день сплавлялись по реке. Стоял сентябрь, утрами земля покрывалась инеем, и все мы основательно промерзли от неподвижного высиживания в лодке. При отправлении нам вручали по караваю ржаного хлеба и туеску с клюквой, но уже к середине дня оскомины от этой кислятины отбивала всякий аппетит.

Водное путешествие завершилось в большом селе Тавда. Дальше нужно было пробираться к железной дороге. Мы со Стангами остались одни, так как все военнопленные рассеялись по селам, которые мы проезжали. Пришлось доставать лошадей, а они уже были отпущены на вольное пропитание в тайгу и порядком успели одичать. Пробирались от села к селу по направлению к Туринску<sup>2</sup>. На одном из перегонов дорогу нам преградил медведь, лошади понесли, и нам громадного труда стоило удержаться на тряской телеге. При этом пострадал ящик с книгами, очень ценными, по позднейшим воспоминаниям матери; он развалился, и книги рассыпались по дороге. Нечего было и думать их собирать. От Туринска речным парходом мы добрались до Тюмени, а оттуда поездом до Омска, где остановились у Андреевых. К тому времени у Николая Николаевича появилась новая семья, и уже был крохотный сын Колюшка.

<sup>1</sup> Пельмы – село в Западной Сибири на реке Пельмы – притоке реки Тавды.

<sup>2</sup> Туринск – город в Екатеринбургской области.

Нашей же целью был Томск, где имелся медицинский факультет, и мама рассчитывала сдать государственные экзамены, получить диплом врача и право частной практики. Государственные больницы в ту пору остались без средств, и нечего было и думать устроиться там на работу.

Отец поехал в Томск подыскивать жилье, и вскоре мы выехали до станции Тайга, откуда отходила ветка на Томск. Тут нас должен был встретить отец, но с почтой что-то не заладилось, и мы чуть ли не неделю провели на полу вокзала холодной сибирской осенью. Что стоило матери нас прокормить и сберечь все добро в том диком и отчаявшемся человеческом потоке, который в ту пору двигался по Сибири с запада на восток, я и представить не могу. Вероятно, сохранились еще люди, не утратившие доброжелательства и сердечности, свойственных дореволюционному русскому народу, и все стремились помочь друг другу пережить те лихие години. Наконец, появился отец и увез нас в Томск.

Там мы прожили зиму 1918/19 года, я и сестра впервые пошли в школу. Я очень смутно представляю и сам город Томск, и условия нашей жизни там. Помню, что моей обязанностью было хождение на базар за молоком, которое продавали в замороженном виде эдакими кругляшками с аппетитной желтой корочкой сливок. Требовалась большая выдержка, чтобы по дороге домой ее не полизать.

Повсюду продавались лепешки жевательной серы – переваренной основой живицы. Все дети и взрослые усердно ее жевали, и она служила ребячьей валютой, за которую можно было выменять что угодно.

Подошло лето. Надежды родителей на устройство на работу и учебу не оправдались. Шла гражданская война, и фронт приближался к Томску. Станги уговорили отца податься с ними дальше на восток. Это были уже не те зависимые и заискивающие попутчики. Станг стал владельцем своим хозяином, а отец – рядовым служащим фирмы, которая ликвидировала свои дела и переселялась во Владивосток.

Опять отец отправился вперед устраиваться на новом месте, и связь с ним надолго прервалась. Кончалось лето. Как-то весь город в воскресный день по давней традиции уселся на подводы, долгуши и шарабаны<sup>1</sup> и отправился на сбор спелой черемухи в пригородные леса. Черемуха в виде ягод или муки была тогда важным подспорьем пищевого рациона томичей. Шаньги с черемухой! У меня и сейчас слюнки текут от воспоминания об этом сибирском лакомстве.

Наконец, от отца пришла весть – предстояло выбираться нам самим, так как отца в пути наверняка мобилизовали бы в войска всевозможных военных отрядов и банд, расположившихся вдоль сибирского железнодорожного пути.

Опять наступили сборы, упаковка сократившегося багажа, добывания всяческих пропусков и билетов. И все это мать проделывала в одиночку. Правда,

<sup>1</sup> Долгуша – длинный экипаж, линейка. Шарабан – двухколесный экипаж.

в ту пору люди как-то жались друг к другу и сбивались в кучки по взаимной приязни и доверию. Так, уже в пути по Сибири (а ехали мы в теплушках со сплошными двухэтажными нарами) мы сошлись с четой Бессоновых. Бессонов, летчик-топограф, вез с собой альбомы чудесных снимков Алтая и подарил нам один из них, со снимками Телецкого озера. Я видел этот альбом в семье сестры уже в 60-е годы, фотографии выглядели совсем свежими.

В Иркутске нам пришлось совершить пересадку на пассажирский поезд, который направлялся во Владивосток через Маньчжурию. Долго мы ждали его опять на полу иркутского вокзала, на ночь выделяли бодрствующих дежурных, так как в ворюгах недостатка не было.

Труднее было обороняться от воинства атамана Семенова – те, не стеснясь, грабили беззащитных путешественников в любое время суток. Наконец, подали состав, мы разместились в вагоне 4-го класса (были и такие, типа вагонов дачных поездов) и вскоре отправились в далекий путь. Байкал я тогда не увидел, так как проехали его ночью. Через два дня, к вечеру мы покинули пределы России и покатали по КВЖД. В ту пору эта дорога и прилегающая территория считались собственностью России, но вокруг был настоящий Китай. Осенью 1919 года в Маньчжурии свирепствовали чума и холера, поэтому выходить из вагонов пассажирам не рекомендовалось. Только в Харбине запрет был снят. Мы прибыли туда 3 сентября, и в этот день мне исполнилось 8 лет. Соседка-пассажирка подарила мне японскую монетку в 20 сен. Я улизнул из вагона (поезда простаивали тогда на станциях часами) и у китайца-лотошника купил очень аппетитные витые пампушки, обсыпанные сахарной пудрой. С торжеством принес их в купе, но мама была неумолима, и как только поезд тронулся, моя покупка отправилась в окно.

**Ч**рез день мы уже подъезжали к Владивостоку, я не отходил от окна: показалось море, затем миновали туннели, и поезд остановился. Увы, нас опять никто не встретил, хотя из Харбина отцу была отправлена телеграмма. Пришлось искать место на полу вокзала, до отъезда набитого беспризорными путешественниками. Только через два дня нас отыскал отец и перевез в гостиницу «Бристоль», расположенную в двух шагах от вокзала, на улице Первой Морской.

Это было весьма злачное место, день и ночь там шел пир, по коридорам слонялись пьяные, накрашенные женщины и еще более пьяные офицеры. Город был до крайности перенаселен, вся бухта Золотой Рог забита военными судами, вечерами на улицах постреливали.

На короткое время удалось поселить нас в квартире одной еврейской семьи. Эта квартира располагалась под аркой, ведущей во двор дома по Светланской улице, как раз против ее пересечения с Посьетской улицей. И дом, и окна этой квартиры сохранились и по сей день. Приютившая нас семья Коганов состояла из отца, мелкого коммерсанта, его жены – Фанни Борисовны и двух сыновей – Коли и Шай. Как раз в это время сыновья были где-то в отъ-

езде (с ними мы еще встретимся в данном рассказе). Вся квартира состояла из двух комнат, одна из которых была проходной. В ней мы с мамой разместились, отец же ночевал где-то на стороне. Это было временное пристанище, и вскоре (было еще тепло) отец снял на станции Океанская небольшую летнюю дачку, расположенную на громадном участке по 2-й улице, доходившем в глубине до Черной речки. Эта и соседняя дачи принадлежали старшему приказчику фирмы «Чурин» Бабинцеву. Ему же принадлежал громадный дом на углу Светланской и Алеутской улиц, где сейчас помещается музей им. Арсеньева, а раньше располагался ТИПРО, где я впоследствии работал и там же был арестован в декабре 1936 года.

**П**ереехав, мы сразу же занялись утеплительными работами: полы застлали солдатскими одеялами, откуда-то появились вторые рамы на окнах, и были установлены две чугунные печки-буржуйки.

Нужно было на что-то жить, отец метался в поисках любой работы или какой-нибудь коммерческой деятельности. Неделями его не бывало дома. Мама тоже часто выезжала в город за продовольствием и в поисках знакомств с местными врачами, от которых она надеялась получить платные поручения (перевязки, уколы и т. п.). Время от времени отцу удавалось добывать деньги, и немалые, потом они так же быстро исчезали. По случаю было приобретено за гроши очень приличное пианино с глуховатым, но приятным тембром. Мама стала с нами заниматься грамматикой и французским, а вот занятия по арифметике взял на себя Миша Будников, кончавший в тот год коммерческое училище. С ним мы познакомились в пригородном поезде, который плелся до Океанской добрый час. Обычно пассажиры, ездившие регулярно в город, быстро знакомились, усаживались в одно и то же купе. Появлялся ящик с мандаринами (стоил он тогда 50 сен), и за разговорами с его содержимым быстро разделялись. Миша был сыном начальника станции Океанская. С этой большой дружной семьей мы близко сошлись, и эта дружба протянулась на всю жизнь.

Отец Миши был высокий лысоватый брюнет с пышной бородой, я его очень стеснялся и даже побаивался. За старшим Мишей шла дочь Нюра, затем сын Павел и, наконец, Валюшка, моя ровесница. Нюра и Павел учились в железнодорожной школе. Мать их, худощавая высокая женщина, казалась суровой, но в душе была добрейшим человеком, и ей удалось отлично воспитать детей.

Дачи на Океанской зимой пустовали, и мы больше ни с кем не общались. Ну, а у Будниковых в просторном каменном доме (он стоит и по настоящее время) часто собиралась молодежь, устраивались игры и танцы под граммофон и даже читались стихи «собственного производства».

Несмотря на все старания, в нашей даче стоял жуткий холод, и эти вечера у Будниковых согревали и развлекали нас с Олечкой и всегда казались большим праздником. Ближе к весне на Океанскую обрушивались



обильные снегопады. Вторая улица в то время была прямой, ровной, без современных оврагов и деревьев. По воскресениям с самого утра появлялись группы людей с длинными санями, на которые усаживалось по пять-семь человек. Сидящий сзади держал под мышкой дерево с обрубленными ветвями наподобие большой метлы, которое служило рулем. С визгом и гиканьем такой экипаж несся с вершины сопки со все возрастающей скоростью и доезжал до самой железной дороги. Занятие это было азартное и далеко не безопасное. Мы с Будниковыми были обязательными участниками этого старинного бобслея.

Приближалась весна 1920 года. Я все чаще уходил в громадный парк, с интересом наблюдал, как талые воды пробивали себе дорожки к ближайшему оврагу, устраивал запруды и другие гидротехнические сооружения. Это была целая школа, приобщавшая городского мальчика, каким я был тогда, к природе. Наконец, вскрылась Черная речка и туда устремились массы нерестующей корюшки. Я вместе с Павликом Будниковым и другими мальчишками с увлечением занялся рыбалкой. На конце 2–2,5-метровой палки укреплялись две перекрещивающиеся дужки, к концам которых крепились углы квадратной сетки. Эта снасть («флажок») была очень добычлива. Стоя на берегу, рыбак погружал сетку на дно и через несколько минут рывком поднимал ее на воздух. В худшем случае там прыгали пять-десять рыбешек, а бывали забросы, когда я своими детскими руками был не в состоянии поднять флажок от обилия попавшейся рыбы. Мы подсаживали улов и разбрасывали его на крыше дачи для провяливания. Эта весенняя ловля корюшки на всю жизнь сделала меня страстным рыболовом.

Детские забавы были внезапно нарушены политическими событиями. В апреле 1920 года японские войска оккупировали Приморье. Я и до настоящего времени не представляю себе ясно политические взгляды своего отца. Мать до конца жизни сохраняла веру в идеалы социализма, наваянную еще в школьные годы романтикой кружковщины, нелегальными сходками и подогреваемую острой ненавистью польского общества к русскому царизму. Что же касается отца, то я не припоминаю ни одной его реплики на политическую тему. По натуре и складу характера ему куда ближе были интересы искусства, чем политики. Он был увлекающимся и не очень практичным человеком, потому ему так трудно было обеспечить семью в том водовороте спекуляций и грабительства, которые царили в оккупированном Владивостоке. Почему и как он оказался втянутым в политику, не знаю, но хорошо помню ту таинственность, которая сопровождала его внезапный отъезд в Харбин, — он явно опасался, что будет арестован японским военным командованием. Видеть его с тех пор мне так и не пришлось.

Первый год от него приходили скромные переводы — он устроился виолончелистом в каком-то ресторане, потом они стали более редкими и, наконец, прекратились, равно как и письма. Семья распалась, жить нам стало совсем трудно, мать металась по случайным заработкам, а ей нужно было прокормить кроме нас еще и бабу, совсем одряхлевшую Софью Зотовну.

Хотя мама никогда не высказывала при нас с Олей упреков в адрес отца, я уже тогда отлично понимал, чья безответственность принесла нам столько бед и испытаний.

Летом 1920 года соседняя с нашей дача была заселена множеством самого разношерстного люда. Жила там семья богатого уральского купца Стахеева и несколько семей военных. Дети Стахеевых отличались удивительной испорченностью, сами пытались курить (за отсутствием табака — чай) и заставляли пробовать меня, занимались и худшими развлечениями, которые я по своей малости и наивности не понимал. Осенью эта семья исчезла. Мать понимала, что оставаться на вторую зиму в холодной даче — это рисковать здоровьем детей. Да и учиться нам надо было по-настоящему. И вот как-то мама радостная приехала из города и сообщила, что мы переезжаем. Нам сдали крохотную комнатку в домике спасательной станции, расположенную в городе на берегу Амурского залива возле мыса Бурного. Этот мыс — вдающаяся в море скала — ныне целиком снесен, и там установлены купальни. Ближе к Эгершельду располагался корейский поселок, сейчас это территория завода «Металлист».

Нашими хозяевами были эстонцы: дядюшка Саар, начальник спасательной станции и его жена. На лето нанимались еще гребцы на спасательный бот, которые тут же и жили. Ну а с осени помещение пустовало. Кроме выполнения своих сезонных обязанностей, дядюшка Саар занимался рыболовством — у него и компаньонов-эстонцев была небольшая шхуна, и меня не раз брали с собой в море. Как-то во время осеннего шторма волна бросила меня на фальшборт с такой силой, что я сломал себе хрящ в переносице. Больше мама меня в море не отпускала, но и эти поездки закрепили мою страсть к любому виду рыболовства.

Я забыл упомянуть, что бабушку мама устроила по соседству у старушки, располагавшей свободным местом в квартире. В нашей комнатке вчетвером улечься спать было негде.

Мы с Олечкой поступили в реальное училище, которое находилось недалеко на Посьетской улице. Прежде чем рассказывать о начавшейся школьной жизни, закончу описание нашего пребывания у спасателей. Я с интересом наблюдал за бытом корейцев в примыкавшем к станции поселке, в частности за ловом трепангов корейскими женщинами. Их на шаланде развозили вдоль берега и спускали в воду вместе с большими поплавками — герметически закрытыми ящиками из оцинкованного железа с подвешенной снизу сеткой. Корейки ныряли за трепангами, складывали их в сетку и снова ныряли. Через час-полтора за ними приезжала шаланда и забирала на борт вместе с уловом. И это в холодной сентябрьской воде!

Помнится, как по весне корейцами на берегу устанавливались вешала для вяления сельди, а на песке расстилали циновки и сушили икру и молоки. Мы,

мальчишки, тайком лакомились этими деликатесами, так как постоянно были голодны.

Теперь о нашем реальном училище. Это было небольшое, но прекрасно организованное училище. Директором его был Илья Борисович Розин, еврей, которого терпели на этом посту городские власти только благодаря его большому педагогическому опыту и таланту. У меня в памяти сохранились имена далеко не всех учителей. Нужно сказать, что подбор их был совершенно необычным. Революция и разруха стронули с места широчайшие слои университетской интеллигенции России от Казани до Иркутска. Эта масса людей, докатившаяся, подобно нашей семье, до Тихого океана, разделилась тут на две категории. Первая – люди зажиточные, консервативные, порой с высокими дворянскими титулами, не задумываясь, пересекли границу в страхе перед красной чумой и осели в Маньчжурии, Японии, США и даже Австралии. Другая категория – наиболее прогрессивные и талантливые, считающаяся на то, что их знания будут должным образом оценены любым политическим режимом, задержались в дальневосточных городах и Харбине. Но отсутствие на Дальнем Востоке высшей школы (первый Государственный дальневосточный университет – ГДУ – был создан во Владивостоке лишь в 1919 году и влачил жалкое существование) и необходимость как-то зарабатывать на жизнь вынудила эту массу высокообразованных профессоров, доцентов и просто опытных педагогов пойти преподавать в школы, в том числе и начальные. Этим был обусловлен высокий уровень преподавания, который поддерживался в реальном училище и особенно впоследствии в техникуме, куда я позднее перешел.

Моими сверстниками были дети, вышедшие из самых различных слоев городского населения. Тут был и Толя Король, сын владельца большой типографии, с двоюродной сестрой Беллой Клейнер, и Радин, сын хозяина большого имения, расположенного на полуострове Де Фриз, Наташа Полевая – дочь известного геолога, исследователя севера Дальнего Востока. Был и Старухин, отец которого держал скобяную лавку на Семеновском базаре. Володя Филонов из семьи каких-то высоких чиновников – то ли банковских, то ли железнодорожных. Люся Любарская, дочь профессора университета. Но было много мальчиков из плохо обеспеченных семей (я сужу об этом по тому, как они были одеты) – Ключанов, Лобанов, кореец Ким и другие. Я явно относился к последней группе, и часто штопаные колени моих чулок (я еще не носил длинные штаны) вгоняли меня в краску и воспитывали какую-то предвзятость к детям богачей. В этом если и был, то самый малый элемент зависти, поскольку я в общем лучше их учился, больше читал и знал, да и физически был крепким и обычно побеждал в мирных схватках на переменах. А боролись мы все постоянно и в этом находили разрядку после часового сидения на уроке.

Возвращусь к нашим педагогам. Любимцем класса был Николай Семенович Смирнов, наш классный руководитель, преподававший русский язык, а позднее литературу. Это был человек средних лет, слегка прихрамывавший после ранения на германском фронте, ходил он всегда в полувоенном кителе

с университетским «поплавком» на груди. Он был и строг (его побаивались), и справедлив, часто вступал в защиту шалунов перед директором. Позднее, уже после советизации (то есть в школе второй ступени), тот же предмет стал вести Василий Иванович Лебедев. Уроки он проводил, пожалуй, более квалифицированно, но той сердечности, какая существовала в отношениях Николая Семеновича с учениками, тут и в помине не было, и это порождало формальное отношение учеников к выполнению заданий и утрату живого интереса к предмету.

Первые два года (до осени 1922 года) нам преподавали Закон Божий. Наш законоучитель принадлежал к худшему типу подобного рода учителей. Злобный, раздражительный, прибегавший постоянно к «мерам физического воздействия», короче – тычкам в затылок, рывкам за уши и постоянным угрозам Божьими карами, он сделал все, чтобы воспитать нас убежденными атеистами. Учитель арифметики был сух, равнодушен и нагонял такую тоску, что за первый класс я получил годовую тройку. Но стоило затем смениться педагогу, как я увлекся всеми разделами математики и уверенно вышел по этому предмету в первые ученики.

Из учителей, пришедших в более старшие классы, хотелось бы вспомнить географа Лопатина, крупного ученого, автора большой монографии «Гольды» и многих других работ. На всю жизнь я полюбил этот предмет после его увлекательных уроков, которые по праву можно было назвать лекциями. Очень славный и чуть комичный ботаник Иван Кузьмич Шишкин (его исследования во многом дополнили сведения о своеобразной дальневосточной флоре) порой так увлекался предметом, что совсем забывал, что его слушают мальчишки и девчонки, а не коллеги-ботаники. С чьей-то легкой руки к нему пристали первые строчки из памфлета Демьяна Бедного: «У Кузьмича сел чирей на зад», и эта тема нами обыгрывалась на разные лады.

Английский язык преподавал сначала нудный баптист Богданов, а позже мистер Гаррис, маленький чопорный человечек, дочерна сожженный тропическим солнцем, которого судьба как-то забросила в кипящий котел революционной России. С ним я позже встретился в техникуме.

С любовью и признательностью вспоминаю математичку Антонину Кислову, впоследствии заслуженную учительницу республики. Занятия в реальном училище занимали у меня и моих сверстников не все время. Чем же мы были заняты в свободные часы?

Зимой все мы, мальчишки и девчонки, катались на коньках. В бухте Золотой Рог устраивался каждый год прекрасный каток с теплой раздевалкой. Лед там был расчищен до блеска, и вечерами каток освещался гирляндами электрических лампочек. Но за вход туда нужно было платить, и я мог себе позволить это удовольствие только по воскресеньям. В остальные, дни, если было не слишком холодно, я прямо из дома, нацепив коньки, спускался на лед Амурского залива и катался на продутых ветром плешинах, где не было снега, до полного мрака.

Пристрастие к конькам я сохранил лет до 15, когда другие интересы (музыка, радиолобительство) отвлекли меня от этого занятия. В ту пору у нынешнего 36-го причала стоял американский крейсер «Бруклин». Рядом на пристани располагались громадные пакгаузы из волнистого железа. Один из них американцы утеплили и приспособили под кинозал. Каждый вечер там крутили немые ковбойские боевики под аккомпанемент рояля. Вход для детей был свободный, но перед сеансами выступал либо священник баптист с короткой проповедью на ломаном русском языке, либо представитель Союза Христианских Молодых Людей, на все лады расхваливавший движение скаутов.

Увлечение ковбойской тематикой, да и вся военизированная обстановка в городе порождали непереборимую тягу мальчишек к оружию. А возможность приобретения его была полная. Ружья и пистолетики «монтекристо» продавались совершенно свободно во многих магазинах. Дело было за деньгами. Нам с Олей мама ежедневно давала по пять сен (в ходу были японские деньги) на «липучки», китайское лакомство, представлявшее собой небольшие батончики из застывшей сахарной пены, обсыпанные кунжутным семенем, липучками лакомились все школьники. Я взялся экономить эти деньги, но долго бы мне пришлось копить нужную сумму, если бы не случайная находка на улице банкноты в 10 иен с головой бородатого японского императора. Это было счастье! Половину этой суммы я отдал маме, а на вторую с ее согласия купил однозарядный пистолетик. К нему продавались патрончики в половину современных патрончиков к «мелкашкам». Итак, я был вооружен. Это увлечение оружием не было только игрой. Между учебными заведениями города существовала непримиримая вражда. «Реалисты» и «коммерсанты» вели беспощадную борьбу с чванливыми гимназистами, среди которых преобладали дети очень состоятельных родителей и высшего офицерства.

Если реалист, возвращаясь с катка или рыбалки, попадался группе гимназистов, взбучка «до крови» ему была обеспечена. Вот тут-то и выручал «монтекристо» — стоило его вынуть из кармана, как приставалы тут же улетучивались. До стрельбы дело доходило лишь между учащимися старших классов.

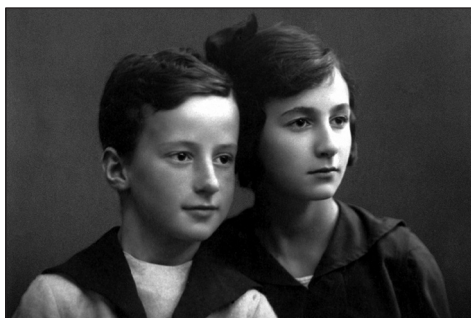
В относительно теплое время года (весной и осенью) по воскресеньям я весь день проводил на рыбалке. Это было не столько развлечение, сколько добыча продовольствия. В бухте Золотой Рог вода была чистойшая, несмотря на множество стоявших в ней военных судов. Я обычно ловил рыбу в том месте, где ныне расположен морской вокзал. В основном ловилась молодь скумбрии и красноперка (ловил я на поплавокную удочку), очень досаждали ерши разных оттенков — от ярко-желтых до оранжево-красных. Уже под вечер возвращался я домой со связкой рыбы, волочившейся по земле. Я гордился в эти минуты своей ролью кормильца-мужчины, и мама очень тактично укрепляла во мне эти чувства.



Оля и Олег Максимовы. Москва, до революции.



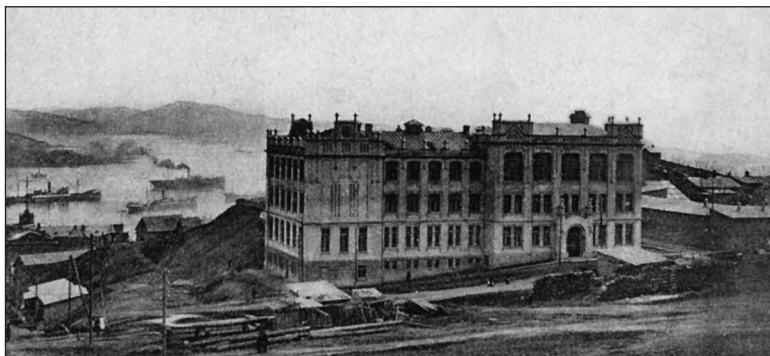
Единственный сохранившийся снимок Бориса Петровича Максимова с детьми Олей и Олегом. Владивосток, июнь, 1920 год.



Олег и Оля Максимовы. Владивосток, 5 декабря, 1921 год.



Общая фотография студентов Промышленно-экономического техникума.  
Владивосток, май, 1927 год.  
Олег Борисович третий слева в последнем ряду.



Коммерческое училище (ныне корпус Дальневосточного государственного университета).  
Фотография из архива В. Лебедевой – дочери Г.С. Андрушкевич.

Однако главным занятием, заполнявшим мой досуг, было, конечно, чтение. Я глубоко благодарен Мише Будникову за то, что он всячески помогал этому моему пристрастию, регулярно поставляя мне книги из своей немалой библиотеки, а потом и библиотеки городской. Брет Гарт, Фенимор Купер, Майн Рид, Луи Буссенар, Луи Жаколио, Жюль Верн, Густав Эмар, Райдер Хаггард – все, что напечатано из их произведений на русском языке, и было доступно во Владивостоке, прочитано мною за первые три зимы учения в реальном училище. Из русских писателей и поэтов мне почему-то особенно полюбился Буковский. Его романтическая поэзия находила живой отклик в моей душе. Но одновременно были прочитаны его переводы «Одиссеи» и «Иллиады», и я заболел эллинизмом и вообще историей древних. Правда, в подлинниках античная литература мне была не доступна (мы, реалисты, древних языков не изучали), но то, что в переводах имелось в местных библиотеках, было прочитано иногда по многу раз.

**Н**о вернусь к описанию нашей семейной жизни. В конце зимы 1921/22 года скончалась моя бабка. Втроем мы сопровождали телегу с гробом в район, где ныне начинается Морской городок – там было кладбище для бедных...

Подошла весна, и нам нужно было освобождать комнату на спасательной станции. После долгих поисков мама сняла веранду с крохотной комнаткой в одиноком домике возле берега Амурского залива, в полукилометре от нынешней грязелечебницы в сторону станции Океанской. Район был в те годы совершенно пустынный, и немногочисленные дачки разделял нетронутый лес. Нашим хозяином был еще не старый отставной боцман дядя Митя, поселившийся здесь с женой и маленькой дочкой.

До пригородного поезда ходьбы было минут 40–45, и этот путь маме и нам до начала каникул приходилось ежедневно проделывать в оба конца. Позже мы с Олечкой целые дни были предоставлены самим себе. Все наши занятия были направлены на раздобывание пропитания. В ту пору в Амурском заливе вдоль берега под камнями обитало множество крабов с панцирем размером в ладонь. Встав на рассвете, я с ведром и специальным проволочным сачком, укрепленным на палке, отправлялся на их ловлю. Сачком я переворачивал камень под водой и выволакивал удиравшего краба в ведро. Стоило пройти метров 300–500 – и ведро наполнялось кишашей и щиплющей массой. Я разводил костер и тут же на берегу варил крабов в морской воде. Нужно было спешить, чтобы накормить маму завтраком до отъезда в город. Затем мы отправлялись с Олей на сбор «овощей». Мы собирали молодой дудник, листья одуванчика, молодые белесые листья липы, отраставшие на пнях, и еще с десяток разных травок. Ошпаривали сборы кипятком и шинковали, как капусту. После короткой варки сливали воду, солили и заправляли полученное пюре каплей соевого масла. Этой кухней занималась Олечка, а я обычно опять шел на берег и с камней пытался ловить рыбу. Моя снасть была нуку-



дышной, и не всегда ловля была успешной. Моими врагами были так называемые собаки-рыбы (Сфероидес бореалис), которые откусывали дефицитнейшие крочки своими крепкими челюстями.

Вобщем в те годы в Амурском заливе водилось множество видов самых разнообразных рыб, которые впоследствии исчезли. Дважды в неделю к нашему дому подъезжал фургон продавца хлеба. Мы покупали драгоценный каравай и редко когда могли удержаться и не общипать «слепушки» — отслоившиеся ломтики по его бокам. Берег возле нашего дома был обрывистым и вдавался в море несколькими мысками, сложенными конгломератом, волны вымыли в них глубокие гроты, и они напоминали нам пещеры — прибежища капитана Немо и его «Наутилуса». (За прошедшие с той поры 70 лет от этих обрывистых сооружений ничего не осталось.) Мы окрестили наибольший грот пещерой святого Еноха и подолгу просиживали в нем при отливах, наблюдая жизнь разной прибрежной мелкоты.

Вскоре начались грибы, и дел у нас прибавилось. Какая масса боровиков и обабков родилась тогда в прибрежных дубовых рощах, и какая радость была находить их гигантские шляпы, да и разных уродцев самой фантастической формы!

Часто нас посещал Миша Будников и порой приносил четверть парного молока — подарок его матери. Лето близилось к концу, поспевали разные ягоды. Как-то наш хозяин повез нас на своей лодке на Де Фриз (тогда почему-то его называли мысом Гольденштедт) собирать дикие груши падалки. Мы набрали их несколько ведер и упросили дядю Митю разрешить нам еще раз съездить туда же уже одним. Мы провели с Олечкой там целый день. Посчастливилось поймать с лодки несколько крупных красноперок, ныряли за устрицами и гребешками, набрали целый мешок груш. Дикий виноград еще не поспел, но мы до оскомины грызли его чуть побуревшие гроздья. Обратный путь, однако, оказался нелегким: подул южный ветер, с Богатой Гривы сполз туман, и мы до мозолей натрудили руки, чтобы преодолеть неширокий пролив. Этой радостной прогулкой и завершилось то голодное, но счастливое лето.

После почти двухлетних поисков работы маме, наконец, удалось устроиться лаборанткой Пастеровской станции, располагавшейся в глубине большого двора, засаженного газоном и деревьями, на Посьетской улице. Зады этого двора выходили к тыловой части гостиницы Версаль. Сейчас вся эта территория застроена. Пастеровская станция с клинической лабораторией занимала большую половину деревянного двухэтажного дома, во второй этаж квартира главного врача, латыша Локха. Во дворе располагалась небольшая хибара, поделенная на две части с отдельными выходами. В одной половине проживала сотрудница станции врач Ковалева, а вторую отдали нам. Там же, во дворе, были здания крольчатника и сарай для животных — баранов, овец и одного-единственного, но очень драчливого козла.

Мы справили новоселье и с небольшим опозданием стали посещать училище. Я уже упоминал о том, что в период финансовой удачи отец приобрел

пианино фирмы «Оффенбахер» с хорошим, чуть глуховатым чистым звуком. Когда отец исчез, пришлось отдать пианино в наем богатым дачевладельцам Шишляйниковым на станции Океанская. Они жалели возить собственный инструмент из города по безобразной проселочной дороге. Мы получали за аренду 20 рублей в месяц и эта сумма обеспечивала нам приобретение хлеба.

Обосновавшись, наконец, в собственной «квартире», мы перевезли туда пианино, и Оля стала брать бесплатные уроки музыки у Бронштейна, родственника Шишляйниковых. За это мама оказывала его семье какие-то медицинские услуги.

При Пастеровской станции работала клиническая и химико-бактериологическая лаборатория, где производились токсикологические анализы и различные венерологические исследования. Для этого и нужны были различные животные (морские свинки, бараны). Я впервые получил возможность побывать в химической лаборатории, и после ее посещения судьба моя была решена на всю жизнь — я заболел химией.

Началось составление собственной домашней лаборатории. Из перегоревших электроламп я наловчился делать неплохие колбы, чинил на примусе выброшенные в лаборатории пробирки. В аптеках тогда можно было приобрести, и недорого, многие химикалии, кое-что приносила мне мама. Откуда-то мне досталась толстенная «Органическая химия» Меншуткина, и я стал ее усиленно штудировать, не имея еще достаточной подготовки по общей химии. В те годы еще свежа была память об ужасах химической войны 1915-1918 годов, и химию среди обывателей понимали прежде всего как науку о ядовитых газах. Мои интересы, естественно, обратились к этой теме, вернее, к вонючим веществам.

Этот выбор имел свою подоплеку. Как-то, возвращаясь с экскурсии в краеведческий музей (он тогда располагался на улице Петра Великого, нынешней Первого Мая), мои одноклассники и я задержались у витрины магазина Кунста и Альбертса, где был выставлен какой-то любопытный рекламный трюк. Мы сгрудились толпой, мешая солидным покупателям лицезреть рекламу. Тут на нас обрушился магазинный приказчик и стал грубыми толчками отгонять от витрины. Это было смертельным оскорблением (прохожие посмеивались), которое нельзя было оставить неотомщенным. Мне поручили изготовить какую-нибудь вонючую гадость (мое увлечение химией было хорошо известно). Я долго копался в книге Меншуткина, соразмеряя возможное и желательное. Наконец, план созрел: железные опилки я спек в пробирке с серой и получил сернистое железо, в магазине приобрел флакончик с ацетоном, в паяльной мастерской достал склянку соляной кислоты. Из этих несложных компонентов было создано нечто отвратительное — тиоацетон, о котором Меншуткин писал, что его запах за минуты распространяется на целые кварталы города. Рано утром наши отважные мстители вылили склянку этого зелья у витрины лучшего городского магазина. Эффект был потрясаю-

щий! Людской поток из-за невозможной вони сворачивал у магазина на проезжую часть Светланской, народ на все лады поругивал немцев-владельцев за то, что и тут они «развели эту проклятую химию»! Мы были отмщенны, и мой рейтинг у ребят подскочил на много пунктов вверх.

Приближался 1922 год. Политическая и военная обстановка в городе становилась все тревожнее: к Дальнему Востоку подходила Красная Армия. У нас в комнатухе стали появляться какие-то неизвестные личности (домик был расположен очень удобно для конспирации). Их обычно приводил Миша Будников, иногда они ночевали. Чаще других нас посещал Костя Супрун, машинист миноносца, братья Коганы – Коля и Шая, студенты ГДУ Виноцкий и Г.А. Ушаков<sup>1</sup>. Ушаков впоследствии стал известным путешественником, осваивал остров Врангеля, открыл острова Северной Земли и долгое время возглавлял гидрометеослужбу страны. Порой все они надолго исчезали, после чего являлись обросшие, в таежном одеянии, и в разговоре нет-нет, да и слышалось слово «партизаны».

Изредка появляясь в городе, заходил чрезвычайно любопытный, уже старый человек с блестящей лысой головой в форме «редьки хвостом вниз», черной бородкой и живыми молодыми глазами. Звали его Нахман Вульфович Прихожан, был он бездомным бобылем, захваченным одной идеей – получением соли из морской воды с использованием озера Тальми, что на юге Приморья. Он рассчитывал, что зимой в озере будет вымораживаться пресный лед, а под ним собираться соляные рассолы, которые окажется рентабельно выпаривать. Инженер-химик по образованию (учился во Франции), анархист по убеждениям, он никогда не имел семьи и, дожив до седых волос, оставался девственником. С нами, детьми, он держался просто, с добрым юмором вышучивая наши самолюбивые претензии. Он готов был часами говорить с мамой по-французски и, думается, ради этих бесед и появлялся у нас. Много позже, в конце войны, уже после переезда в Москву, мама с Олей приютили его, совсем дряхлого, и вскоре похоронили.

Конечно, все эти визиты мало знакомых людей в нашу квартиру были делом в высшей степени рискованным. Меркуловская контрразведка старательно разыскивала связи городских революционеров с партизанами и тем более с военным флотом. Тот факт, что мама шла на этот риск как в отношении себя, так и своих детей, говорит о ее высокой принципиальности и убежденности в правоте таких действий. Укажу при этом на то, что мама никогда не пыталась впоследствии как-то использовать эти свои заслуги перед революцией, вступить в партию большевиков и отклоняла многочисленные предложения такого рода. Она сохраняла демократические идеалы лучшей части дореволюционной русской эмиграции и решительно отвергала насильственную политику большевизма.

<sup>1</sup> Ушаков Георгий Александрович (1901-1963 гг.).

Миновало лето 1922 года, которое мы провели в городе. Вновь начались занятия в училище, но нам было не до занятий. Все население города ожидало окончания гражданской войны, исход которой был очевиден. Всем виделась близкая перспектива мирной жизни, за линией фронта лежала вся громадная Россия, а в руках местных властей оставался лишь кусочек Приморья. Правда, опасались серьезного противодействия со стороны японских властей, которые могли бросить против красных всю мощь своей армии. Но клубок противоречивых интересов интервентов всех мастей не мог не противодействовать этому.

С рейда исчезали перегруженные пассажирские суда, шла лихорадочная распродажа имущества и владений, перестали появляться в училище многие педагоги и ученики.

22 октября все мы, оставив классы, как воробьи облепили подходы к вокзальной площади — во Владивосток вступали войска командарма Уборевича. В первые последовавшие за этим дни мало что изменилось в жизни города. Открылись все магазины в Семеновском ковше, к берегу приставали корейские и китайские шаланды, привозившие в город продовольствие, по-прежнему шумел многонациональный базар. Но исчезли иностранные военные моряки, заполнявшие раньше тротуары вечерней Светланской — их всех держали на кораблях. Прошли недели. Стали покидать рейд и сами корабли. Последними ушли два японские броненосца.

До самой весны 1923 года мы учились по старым программам. Отменена была только утренняя молитва в школьном зале и уроки Закона Божьего. Все педагоги оставались на своих местах, и в их отношении к нам ничего не изменилось. Вообще в моей памяти не удержалось ни одного значительного события из той зимы, которые бы знаменовали приход новой жизни.

Мама еще реже бывала дома, появился профсоюз — Медсантруд, и она стала его делегаткой. Мишу Будникова вскоре мобилизовали в армию и отправили служить в Грузию, откуда он изредка слал письма и ноты для Олечки. Исчезли Веницкий и Ушаков, и по-прежнему регулярно нас посещал только Костя Супрун. Это был простецкий парень, которого к революционной работе привлек брат, профессиональный революционер. Этого брата позже по линии Коминтерна направили в Шанхай, где он угодил в тюрьму. Просидев два года, большой туберкулезом, он возвратился во Владивосток и вскоре умер. А Костя, оставшись на берегу, когда угоняли в Японию российские корабли, вскоре поступил на первый военный корабль советского Тихоокеанского флота «Красный вымпел». На нем он вместе с Ушаковым в 1924 году совершил трудное плавание на остров Врангеля, за что получил красочную памятную медаль. Позднее он женился, уехал зрителем на один из маяков, и я потерял его из вида.

Наступило лето 1923 года. Врач Полина Абрамовна Галка, которой мама помогала во время частного приема на протяжении ряда лет, предложила нам комнату в своем дачном пансионате. Весьма практичная женщина, она, кроме услуг мамы, возложила за это на меня ряд нелегких обязанностей:

во-первых, я должен был ухаживать за пони (кормить, чистить и купать в море) и дважды в неделю возить в шарabanчике ее дочку Мусю на уроки музыки на Седанку. Во-вторых, я должен был ежедневно участвовать в сборе ягод, когда они поспевали, в ее громадном саду. Это, на первый взгляд, завидное для мальчишки занятие, мне до чертиков надоело, и я иногда на целый день удирал на море со сверстниками. Правда, я лишился при этом обеда, но мы, ребята, пополняли наш рацион вареными крабами, чилимами (креветками). Наконец, в-третьих, мне приходилось дважды в неделю в пять-шесть ездов на том же пони привозить в большом баке морскую воду для ванн. Это была уже совсем не детская работа, но, к счастью, бак вскоре прохудился, и эта обязанность отпала.

Дворником, садовником и истопником при даче служил старик-китаец. Ворчливый, плохо говоривший по-русски, он частенько конфликтовал с прислугой, но нас с ним объединяла пролетарская солидарность, и жили мы с ним вполне мирно.

Среди дачных мальчиков прошел слух, что при местном кожевенном заводе, что расположен на берегу речки Лянчихэ, организован из детей какой-то «пионерский отряд», и что это очень интересно. Я отправился как-то туда с соседскими мальчишками и вскоре был зачислен в пионеры. Честно говоря, никто из тогдашних руководителей отряда толком не знал, что с нами делать. Кроме выслушивания назидательных бесед о классовой борьбе и близкой мировой революции и партизанской героике, нас обучали петь хором революционные песни, устраивали соревнования по эстафетному бегу и другим видам спорта. Через месяц я давал так называемое торжественное обещание и мне был вручен красный галстук.

Лето закончилось и начались школьные занятия. Реальное училище было расформировано, и мы стали учениками школы второй ступени. Из-за необходимости капитального ремонта здания нас перевели в другое помещение. На Пушкинской улице против гимназии располагался дом, где до советизации помещалось Собрание приказчиков, что-то вроде делового клуба с культурной программой. Теперь его превратили в Клуб советслужащих, а на дневное время предоставили нам. Мы оказались по соседству со своими врагами – гимназистами, но и их вскоре расформировали, детей разместили по городским школам, а здание предоставили университету.

Я был обязан посещать сборы школьного пионерского отряда, но это стало для меня тяжелой обузой. Я был развитым, начитанным мальчиком (как-никак уже двенадцати лет!), и тот примитив, который выдавался за пионерскую работу, был мне скучен и стеснителен.

Ко мне пришло новое увлечение: Миша Будников выписал для меня и Оли журнал «Смена». На последней странице одного из номеров я прочел короткую заметку о том, как самому сделать детекторный радиоприемник. Это стало началом многолетних занятий радиолобительством,

отвлечшим меня на время от химии, спорта и других мальчишеских увлечений. Я рыскал по разному рода свалкам металлолома, заброшенным предприятиям в поисках электропроводов и различных деталей для изготовления радиоприемников.

Как-то мой соученик Виталий Валуев, родители которого жили на станции Угольная, рассказал мне о заброшенных угольных шахтах, принадлежавших ранее купцу Линдгольму, где имелась масса бездействующих электромеханизмов. Копи располагались километрах в трех-четырёх от станции, и мы в одно из воскресений отправились туда в надежде на богатую добычу.

Действительно, все так и оказалось. Мы набрали кучу медных деталей, проводов, а напоследок решили запастись толстым проводом для антенн и стали разматывать какую-то катушку. Тут нас и захватил сторож, суровый старик, которого ничем не удалось разжалобить. Он поездом доставил нас на станцию 19-й километр<sup>1</sup>, где располагалась милиция. Ночь провели в пустовавшем КПЗ, а утром в сопровождении милиционера меня повезли в город (к Виталию вызвали родителей с Угольной). Стыда я набрался на всю жизнь. Мама забрала меня из вокзальной милиции и, чувствуя мое горе и раскаяние, ни словом меня не упрекнула. Так состоялся мой первый «привод». Судьба, видимо, сделала себе зарубку на память после этого происшествия, следуя непреложному закону: «кто хоть раз отведал тюремной похлебки»...

Я уже говорил, что вместе с нашей школой в здании на Пушкинской уживался также Клуб совторгслужащих. Я узнал, что при нем создан радиокружок, и не замедлил туда явиться. Участниками кружка были люди самых разных профессий и возрастов: Торопов – прораб-строитель, который позже поступил учиться на строительный факультет ДВПИ вместе с моей сестрой, Плотников – средних лет горбатый человечек, физик по образованию, служивший в горстатбюро, Г.Г. Кириллов, в то время студент, с которым впоследствии, я много лет проработал в одной лаборатории, и еще человек пять-шесть. Несмотря на возраст и красный галстук, на равных общался с такими разными взрослыми людьми, и это очень способствовало моему общему развитию, не говоря уже об успехах в радиоделах. Я собирал множество типов детекторных и ламповых приемников, а иногда занимался установкой их у знакомых, за что получал солидную по тем временам компенсацию. Наловчился лазать по крышам и проводить такелажные работы по установке антенн, порой связанные с большим риском. Позже я стал обладателем самодельного коротковолнового радиопередатчика и проводил бессонные ночи, устанавливая с помощью азбуки Морзе и условного кода связь с отечественными и зарубежными коротковолновиками. Моим рекордом была связь с любителем из Южной Африки.

В конце 1925 года клуб получил из Англии приемную аппаратуру и мощные репродукторы. Это были многоламповые приемники со сложной

---

<sup>1</sup> Ныне станция Санаторная.

гетеродинной системой настройки. Обращение с ними я освоил в совершенстве, причем первым из членов радиокружка, и мне доверяли проводить вечерние сеансы радиопередач (платных!) в большом зале клуба. Тогда это было новинкой, и сотни людей приходили послушать заунывное пение из Японии или фокстроты из Манилы. Это занятие не только льстило моему самолюбию, но и приносило небольшой доход в наш тощий семейный кошелек.

Тем временем наша школа возвратилась в родные стены, и учение продолжалось. Учиться было интересно благодаря талантливым педагогам, и я по успеваемости шел одним из первых, несмотря на множество отвлекающих дел.

Лето 1924 года мы опять проводили на прежних условиях в пансионате Полины Абрамовны. К тому времени она выписала во Владивосток целую кучу родственников, и мне было интересно наблюдать жизнь и своеобразные взаимоотношения большой семьи одесских евреев. Старуха мать взяла на себя руководство кухней, под ее же наблюдением находились двое внучат: Шурочка, тихая девочка двух лет, и шкода и проказник Ромка лет 5-6. Его аппетит был неутолим. То и дело слышалось: «Бабушка, кукухузы!» И в ответ тоже картавое: «Хомка, лайдак, не лижи сковородку».

Мать этих детей, сестра Полины Абрамовны, Гутя была крикливой, молодой еще женщиной, большую часть времени проводившую в походах по магазинам города. Уже седеющий брат Соля (Соломон) был феноменально ленив. Он считался студентом-медиком, временно прервавшим учение, но ни о каких занятиях не помышлял и, устроившись на шезлонге в тени деревьев, мог продремать от завтрака до обеда и от обеда до ужина. Что он делал по ночам — ума не приложу. Вскоре появилась из США старшая сестра Полины Абрамовны, Юля, которую бросил там муж американец. Она считала себя обойденной судьбой и глубоко несчастной. Ко всему, что ее окружало, относилась с брезгливым презрением, что не мешало ей за обеденным столом обнаруживать рекордный аппетит. Все семейство имело обыкновение разговаривать громкими голосами, подчас одновременно, и этот шумный звуковой фон нашего дачного бытия часто вынуждал меня надолго уходить в лес или на море. Вместе с тем все это семейство, разве что кроме Юли, состояло из добродушных и доброжелательных людей, любивших и ценивших хорошую шутку, отзывчивых к чужой беде, но... лишь в известных материальных границах! Близкое знакомство с ними помогло мне в дальнейшем с большим пониманием и объективностью относиться к проблеме еврейства, которая среди моих сверстников-соотечественников часто трансформировалась в отъявленный антисемитизм. В дальнейшем мне еще не раз и надолго пришлось встретиться с семейством Полины Абрамовны.

В то лето вместе с нами в пансионате жил японец, корреспондент газеты «Асахи». Мы его звали Хироока-сан. Очень сердечно, как и все японцы, относившийся к детям, Хироока-сан сосредоточил свои симпатии на мне

и взялся познакомить меня с японским бытом и культурой. Он иногда забирал меня на свою городскую квартиру, водил в японский театр, ресторан, баню. Все это было для меня ново и интересно, и я старался, чем мог, отплачивать ему за эти поучительные развлечения: учил его напевать и подыгрывать себе на пианино мотив «Интернационала», рассказывал о русской литературе, истории. Интересно было бы узнать, в какой мере все эти беседы с 13-летним мальчишкой пошли ему на пользу?

Осенью того же года в жизни нашей семьи произошло важное событие: нам предоставили две комнаты в квартире на первом этаже в кирпичном двухэтажном доме по улице Жертв Революции (8/6). В третьей комнате этой же квартиры проживала бездетная пожилая пара. Муж был временами запивавшим бухгалтером, а жена – полная, добродушная Ульяна Павловна – домашней хозяйкой. Мы прожили с ними года два в мирном согласии, после чего они уехали из Владивостока, и вся квартира перешла к нам. Это было в высшей степени неблагоустроенное жилье: длинный коридор отгорожен от комнаты дощатой некрашеной перегородкой, которую мы так и не собрались заштукатурить. В глубине квартиры за мощной каменной стеной располагалось обширное темное помещение, соединявшееся с соседней квартирой. В нем помещались два выносных туалета, а также черный ход. Из него же дверь вела в нашу кухню с громадной плитой и полутемным оконцем. Водопровод отсутствовал, и каждое утро воду привозил китаец-водовоз в большущей бочке на телеге, которую везли два мула.

В соседней квартире первого этажа обитало большое семейство латышей Плуksне. Глава семьи – профессиональный рыбак, его жена – хлопотливая, милейшая старушка, четыре дочери. Старшая была уже замужем за русским капитаном Дудником, который впоследствии осваивал китобойный промысел на судне «Алеут».

На втором этаже над нашей квартирой жил Константин Семенович Киселев с женой Татьяной Михайловной и дочкой Аллочкой. Работал он бухгалтером в городском аптекоуправлении. Он и его брат Михаил, педагог-методист, – дети русского крестьянина, ушедшего из деревни на строительство Транссибирской железной дороги и Владивостокской крепости, были высокоодаренными самородками-музыкантами. Никогда не обучавшиеся музыке, они играли на любых инструментах, хотя Константин предпочитал всем остальным скрипку, а Михаил – виолончель. Заслышав гаммы и этюды, которые разучивала Олечка, Константин Семенович как-то зашел к нам и предложил собираться иногда по вечерам и разучивать скрипично-фортепианные пьесы трио. С этого началась наша многолетняя дружба, а также серьезное увлечение музыкой. Я с малолетства брэнчал на пианино, но за множественных других увлечений и обязанностей серьезно музыкой не занимался. Но после знакомства с Киселевыми все изменилось: мне страстно захотелось учиться играть на скрипке, хотя начинать это дело в 14 лет было несколько поздно. Но только в 1926 годом появилась возможность приобрести скрипку и нашлись средства на оплату уроков.



Учебная зима 1924/25 года запомнилась мне, кроме заметного изменения стиля преподавания (причем далеко не в лучшую сторону), начавшейся дифференциацией в среде соучеников. Раньше материальное положение родителей практически не отражалось на наших взаимоотношениях — определяющими были личные симпатии и антипатии. Теперь же под явным влиянием некоторых педагогов и новой дирекции (Розинов перешел в техникум) к детям «нэпманов» стала формироваться определенная настороженность. Несмотря на мой красный галстук, я интуитивно противился этим накачиваемым «свыше» тенденциям.

Моими добрыми друзьями оставались и Стасик Сенкевич, сын владельца писчебумажного магазина и особняка на Пушкинской улице, и ранее упоминавшийся Толя Короть, и Белла Клейнер, которая выделялась среди всех нас несомненным большим литературным дарованием, и Алла Наперсткова, уезжавшая на каникулы к родным в Харбин и рисовавшая в альбомах всяческую флотскую символику с трехцветными русскими флагами.

**И**менно в этот период зародилось в моей душе двойственное отношение к советской действительности, которое впоследствии перешло в полное ее неприятие. С одной стороны, в моем сознании прочно жили воспринятые от матери и навеянные знакомством с русской литературой представления о несправедливости ушедшего в прошлое монархического строя, враждебное отношение к белогвардейщине, возникшее от близкого общения с «нелегалами», а также к интервентам, лишившим меня отца. Да и живой пример того, как эксплуатировали маму ее «покровители» — врачичастники, как тяжело было нам прирабатывать гроши у лавочника-китайца (мы готовили и расфасовывали по баночкам горчицу и сдавали ему за кредит). Все это было очевидно и наглядно. С другой стороны, мне уже тогда, в 12-13 лет, претила та политическая примитивщина, которую вбивали нам в головы в пионерском отряде полуграмотные «вожатые». Поносительство всего дореволюционного, национального, переполнявшее новые учебники истории и литературы, приходило в конфликт с той любовью и уважением к русским писателям и русской дворянской культуре Тургенева, Гончарова, Толстого (особенно последнего), которые сумел заложить в наши души талантливый педагог Н.С. Смирнов. Не последнюю роль в этой раздвоенности сыграло и то, что мне и Оле строго-настроено было наказано мамой, чтобы мы никогда и нигде не упоминали о дворянстве нашего отца. Смутно было в мальчишеской душе, когда я задумывался над всем этим.

Неудовлетворенность школьной программой, желание поскорее стать помощником маме, да и упрочившееся со временем пристрастие к химии привели меня к решению уйти из школы и поступить в техникум. В то время во Владивостоке в великолепном здании бывшего Коммерческого училища был создан Промышленно-экономический техникум — ПЭТ (позднее ВИТ — Владивостокский индустриальный техникум). Оля туда поступила на экономическое отде-

ление. Кроме него, там были горное, химическое, землеустроительное, а позже — электротехническое отделения.

Однако в техникум принимали только по окончании семилетки, а я заканчивал только шестой класс (один год был потерян, когда зиму жили на Океанской). Пришлось летом посидеть за учебниками и перед началом занятий пройти экзамен по четырём основным предметам. По химии со мной долго беседовал заведующий химическим отделением Василий Каллиникович Малинин, который в последующие четыре года был вершителем наших судеб. За экзамен он мне поставил ВУД (т. е. весьма удовлетворительно — тогдашняя пятерка).

Большинство учеников нашего класса пришли из разных школ города, и лишь несколько человек прозанимались в подготовительном отделении техникума и знали друг друга. Но в том счастливом возрасте знакомства завязываются быстро, и уже к новому 1926 году у меня в классе оказалось несколько приятелей. С Борькой Прусевичем, сыном зубного врача, меня сблизило увлечение радиотехникой. Мы обменивались радиодетальями, новостями, почерпнутыми из журналов. У него, как и у меня, позже завелся коротковолновый радиопередатчик, и мы соревновались в числе связей, за каждую из которых получали так называемые КВ-ЭС-ЭЛЬ-карточки (QSL), которыми обменивались радиолюбители, вступившие в радиосвязь.

Учился Борька скверно, часто пасовал у доски. В этих случаях я старался ему помогать следующим своеобразным способом: мне удавалось, напрягая кожу на голове, двигать прической вверх и вниз. Производя такие движения коротко и замедленно, я мог имитировать азбуку Морзе, и иногда удавалось таким способом подсказать Борьке нужное слово. Но вот однажды наш англичанин мистер Гаррис заметил нашу «радиосвязь» и на ломаном русском окликнул меня: «Прекратите вашу шевелюру!» — объединив в этом слове и существительное, и глагол.

С другим одноклассником, Шуркой Радомышельским (сыном бывшего владельца самой роскошной гостиницы Владивостока — отеля «Версаль») я сблизился за пределами техникума, у учителя музыки Добросмыслова. Шурка незадолго перед этим вернулся из Шанхая, где учился в английском колледже. Он уже прилично играл на виолончели и имел несомненное музыкальное дарование, правда лентяем он был порядочным и у Добросмыслова расположением не пользовался. Благодаря существовавшим еще либеральным в ту пору порядкам нэпа Шурку приняли в техникум, и он успел его закончить до начала решающих чисток учебных заведений. К химии он особого пристрастия не испытывал, особенно к экспериментальной, и ему предстояла иная карьера. Бывая довольно часто у него дома, я там познакомился с Витей Фроловым, который тоже занимался у Добросмыслова и примерно так же плохо играл на скрипке, как и я. Мы с ним стали часто встречаться, играли целыми вечерами скрипичные дуэты, а летом вместе посещали теннисный корт. С отцом Вити, страстным охотником, у меня нашлось много общих интересов. Так возникла дружба, длившаяся до самой смерти Вити.

С Шурой Манакиной, тоже моей соученицей, я стал встречаться уже весной, рано-рано по утрам, еще до начала занятий в техникуме, на тенистом частном корте (чуть выше нынешнего цирка). В эти часы с нас не брали плату. В начале 70-х годов я навестил Шуру, уже полуслепую старушку, будучи в командировке в Ленинграде.

В техникум и обратно одной дорогой я ходил с Женей Клейе. Он был в ту пору тихим, застенчивым и слабым мальчиком, и мне импонировало выступать в роли его наставника и защитника. Его отец рано умер от алкоголизма, Женя с матерью очень бедствовали, и это тоже нас сблизило. К сожалению, Женю постигла судьба отца, до этого мы с ним успели ряд лет вместе поработать в ТИПРО, но к этому я еще вернусь.

Юра Лазаренко, балагур и шутник, и Костя Лукаш, единственный у нас комсомолец, не выделялись какими-либо особыми способностями, учились средне, и в те годы я относился к ним несколько покровительственно, частенько давая им списывать сделанные уроки. Оба они, по-видимому, погибли в войну.

Тамара Лавриненко, Леля Захарова и Валя Гилевич также были просто славными девушками. Тамара впоследствии всю жизнь прожила в Ленинграде, имела большую семью, а дни свои кончила в одиночестве и притом на костылях. Зина Подоба долгое время считалась у нас «маленькой». Небольшого роста, с широким лунообразным личиком, она действительно производила впечатления малого ребенка. Но вот уже на третьем курсе все в ее облике начало вдруг меняться: появилась какая-то мягкая, кошачья грация, она стала свысока, чуть пренебрежительно, отвечать на вопросы товарищей и подруг, как бы осознав вдруг высокую ценность пробудившейся в ней личности. Нечто подобное происходило и с другими нашими соученицами, но метаморфоза Зины мне особенно запомнилась, может быть потому, что Шурка Радомышельский тут же в нее влюбился, и мне приходилось выслушивать его бесконечные исповеди.

Галя Андрушкевич, ближайшая подруга Зины, отличалась высоким ростом, и эта парочка первое время производила несколько комичное впечатление, потом различия в росте как-то сгладились или перестали обращать на себя внимание. Галя, с ее всегда широко раскрытыми голубыми глазами и пухлыми щечками, немножко смахивала на большого пупса. Она была не то что наивна, а просто очень неиспорченна и честна. Любая грубость и несправедливость вызывали у нее бурную ответную реакцию — она багрово краснела, в глазах показывались слезы, и в эти минуты Галя могла наговорить дерзостей кому угодно. Мне еще придется много о ней рассказывать. С ее дочерью Вероникой я продолжаю переписываться и по настоящий день.

Рассказывая о своих соучениках по техникуму, я ограничусь лишь теми из них, кто проучился со мной все четыре года. От группы в сорок с лишним человек, принятых на первый курс, закончили со мной техникум только четырнадцать человек, семь парней и семь девушек. Вениамин

Гамаюнов был у нас непереизбранным старостой и первым учеником класса. Очень уравновешенный и «законопослушный» он, не блистая выдающимися способностями, всегда аккуратнейшим образом выполнял домашние занятия, был внимателен на уроках и пользовался заслуженным уважением как товарищей, так и учителей. У меня явно так не выходило, были любимые и нелюбимые предметы, получавшие и соответствующую меру моего усердия. По некоторым дисциплинам (например, органической химии) я шел далеко впереди класса, тогда как другие (особенно политические) вытягивал лишь на четверки. Поэтому к Вене у меня сложилось не то чуть завистливое, не то ироническое отношение. Мне с ним было скучновато, и я заранее мог предсказать его мнение по любому вопросу.

Валька Синел – немец по происхождению, заросший уже в те годы щетиной по самые глаза, учился средне, увлекался киноделом и был доверенным лицом у дирекции по кинопередвижке техникума. Он каждое лето уезжал к родным в Тетюхе, туда же распределялся по окончании техникума, и одним из первых сгинул в кровавые 37-39-е годы. Где-то он разыскал и прочел книгу Макса Штирнера «Единственный и его достояние» и добродушно дразнил наших девиц сентенциями этого женоненавистника. Все мальчишки охотно восприняли эту игру, но, начавшись с шуток, она как-то сразу обострилась, девочки по-серьезному обиделись, и в классе возник раскол, длившийся с половины третьего курса до самого конца учения в техникуме. В качестве «идеологической платформы» мы восприняли тогда слова князя Андрея из шестой главы первого тома «Войны и мира», которыми тот убеждал Пьера никогда не жениться. Со своей стороны, я подогревал эту распрю, начитавшись в ту пору Ницше и наших декадентов.

Итак, из всех тринадцати товарищей и подруг, с которыми я вышел из техникума в большую жизнь, мне осталось рассказать о Лиде Вакулук и сделать это мне не легко. Еще на первом курсе я обратил внимание на зеленоглазую скуластенькую девочку, неулыбчивую и очень застенчивую. Мы никогда с ней подолгу не разговаривали, мало друг о друге знали, но ее присутствие в классе мною всегда как-то особо ощущалось. Если я чем-либо заслуживал похвалу учителей, то первой мыслью всегда было: а Лида это слышит? Когда с легкой руки Вальки Синела мы, вначале шуточно, а потом задирчиво, стали проповедовать пренебрежительное отношение к женскому интеллекту и уму, Лида была возмущена этим более других. И, хотя я был среди зачинщиков этой долгой ссоры, мне всегда казалось, что протяни я Лиде руку и скажи несколько извинительных слов – во всем классе воцарились бы мир и дружба. Но что-то долго удерживало меня от этого шага, и уже под самый конец нашей учебы, после защиты дипломных проектов, я, наконец, решился предложить ребятам объявить мировую. Все с облегчением вздохнули, точно сбросили с себя тяжкие, давно изношенные одежды, и тут же вступили в переговоры с девочками об организации выпускного вечера. Этот вечер памятен мне в мельчайших деталях. Все были совершенно счастливы, много танцевали и дурачились, и ночь промелькнула молниеносно. Я пошел провожать

Лиду домой, и мы до восхода солнца бродили по улицам города, а наше прощание завершилось поцелуем, первым в моей жизни, отданным девушке.

Заниматься в техникуме было трудно, но интересно. Я уже говорил о высоком уровне преподавания в ту пору в школах Владивостока. В техникуме этот уровень был еще выше, а программы значительно обширнее. Так, по математике мы не только прошли основательно решение дифференциальных уравнений, но и отдельные главы матричного исчисления и высшей алгебры. Хуже обстояло дело с общественными дисциплинами и историей. Так, хотя политэкономия нам и читал Шитов, впоследствии ректор университета, но лекции его были сухими, начетническими, и мало что из них отложилось в нашей памяти. Говоря о наших педагогах, должен в первую очередь с глубочайшей признательностью и уважением вспомнить В.К. Малинина. Это был уже пожилой человек, носивший небольшую бородку, совсем поседевший за годы нашего учения. Говорил он высоким голосом, сильно окая (сказывался в нем казанец!), но речь его была жива и богата — настоящая хорошая русская речь — и мы невольно вбирали ее колорит. В то же время на уроках химии материал он преподносил несколько суховато, без ярких примеров и оживляющих лекции отступлений. Поэтому многих ребят его уроки утомляли. Он же читал нам на втором и третьем курсах качественный и количественный анализ куда более живо и интересно. По химии я был подготовлен домашними занятиями значительно глубже учебного курса, Малинин это оценил и часто привлекал меня к роли ассистента в демонстрационных опытах.

Химические кабинеты техникума были оборудованы великолепно — не пожалело денег владивостокское купечество на коммерческое училище! Подъемные доски, вытяжные шкафы, богатый набор великолепной посуды и реактивов от Кальбаума.

Органическую химию нам читал Юлий Владимирович Бранке, заведующий кафедрой университета. Он был, видимо, прибалтийским немцем, но вполне обрусевшим. В его манере держаться и походке проглядывала офицерская выучка. С нами он был всегда подчеркнуто вежлив и холодноват. Предмет читал великолепно и заставил всех его понять, запомнить и полюбить. С Юлием Владимировичем впоследствии я сошелся очень близко, бывал в его семье на вечеринках, и там он открылся как широко образованный, остроумный и веселый человек.

Не могу не вспомнить нашего математика Владимира Афанасьевича Иванова. Великолепный педагог — строгий, требовательный и справедливый, он во многом был для нас загадкой. Ходил он в бессменном зеленоватом френче, в брюках галифе и кожаных крагах осенью, зимой и весной — все четыре года, что я провел в техникуме. Заросшие седоватой щетиной лицо и лысоватая голова производили впечатление неухоженности и даже небрежности. За ним от поколения к поколению учеников передавалась

кличка «сопочник», т. е. человек, пришедший из тайги, сопок, иными словами партизан, хотя к большевистской политике он относился с явным неодобрением, сквозившим в сдерживаемых репликах. По-видимому, на его плечах лежала забота о большой семье: он набирал множество уроков на всех отделениях техникума и, очевидно, сильно уставал. Но уроки его были четки и блестящи, и тот, кто желал, получал от них математическую зарядку на всю жизнь.

Из неудачных педагогов вспоминается физик Сафонов – древний-древний старик, засыпавший на уроках, и Докукин, прочитавший нам курс физической и коллоидной химии. Он был великим поклонником Д.И. Менделеева, старался привить и нам такое же почитание, и вместо систематических уроков часами зачитывал нам выдержки из «Основ химии». Также бесталанно он прочитал и курс технологии неорганических веществ.

Курс экономической географии нам читал Пелль. В прошлом военный моряк (он и ходил всегда в морском кителе), Пелль вызывал у нас интерес тем, что после советизации просидел длительное время в тюрьме. С его сыном, учившимся на землеустроительном отделении техникума, мальчиком странным, шизофреничным, я встречался в 60-е годы во Владивостоке. Он так и оставался бобылем, вскоре перебрался на Камчатку и там скончался.

Сергей Анатольевич Данилов прочел нам обширный курс сопротивления материалов. Университетский педагог и большой ученый, он умел обходить трудности, связанные с нашей недостаточной математической подготовкой, и вложил в наши головы немалый объем знаний, которые, увы, мало кому из нас впоследствии пригодились. Только много лет спустя, когда на Кольме я был занят проектированием полукорковой установки, мне потребовалось перевооружить остатки знаний, заложенных лекциями Данилова.

На третьем и четвертом курсах мы прослушали целый букет курсов разного рода проектирований: механического, строительного, технологического. По существу, это были курсы строительной механики, материаловедения и элементов конструкций и аппаратов. Их преподавали знающие крупные инженеры города: Гавзик, Хорынский, Гречкин. Эти лекции очень расширили рамки нашего образования и способствовали превращению школяров в специалистов, уверенных в своей компетенции, т. е. техников широкого профиля. Начиная с третьего курса нас разбили на группы по трем специальностям: лесохимической, кожевенной и жировой. Я выбрал последнюю: технологию жиров и масел. Спецкурс по ней вел И.В. Пастушени, доцент университетской кафедры сельскохозяйственной и лесной химической технологии. Не сумел он как-то внушить к себе уважение, хотя был весьма компетентен в своем предмете и уроки его отложились у меня в памяти на всю жизнь. Очень застенчивый человек, он часто смущался от сторонних вопросов наших уже великовозрастных девиц. В эти минуты мне становилось его жаль и я старался обуздать своих насмешничавших товарищей. Не

знаю, почувствовал ли это Пастушени, но он проникся ко мне явной симпатией и как-то в середине третьего курса обратился с предложением прийти в университетскую лабораторию вечерами, а летом там же пройти практику. Первой частью его предложения я воспользоваться не мог, так как был предельно загружен и уроками музыки, и преподаванием (об этом ниже), а вот летнюю практику я действительно провел в лаборатории университета, и там состоялась встреча с человеком, определившим весь мой дальнейший жизненный путь ученого, — с Евгением Ивановичем Любарским. Е.И. был питомцем казанского университета, сотрудником и другом академика А.Е. Арбузова. Широко, на европейском уровне образованный химик, он избрал практическую лесохимию предметом своей активной деятельности, много разъезжал по Сибири и Уралу. Из нескольких изданных им книг мне запомнилась одна: «Живой и мертвый терпентин», ссылки на которую я встречал много лет спустя. С дочерью Любарского Люсей я учился в средней школе, но в ту пору ничего не знал о ее отце.

В первую мою химическую практику (а ей за год до того предшествовала так называемая рабочая практика, которую я провел на винокурном заводе) мне было поручено исследовать состав местного макового масла (напомню, химия и технология жиров и масел — выбранная мною специальность в техникуме). В процессе этой работы мне предстояло освоить методы определения химических констант масла — коэффициентов кислотности, омыления, йодные числа и других основ жирового анализа того времени. С этой работой я как будто справился удовлетворительно, потому что был далее допущен к участию в главных исследованиях кафедры — работах по сопряженной гидрогенизации. Идея этой работы была проста: нужно было подобрать пару веществ, из которых одно было бы богато водородом и способно его отщеплять в присутствии катализатора при температуре реакции, а второе — в тех же условиях его присоединять. Такой каталитический перенос водорода должен был приводить к получению веществ более ценных, нежели исходные. В качестве акцептора водорода Евгений Иванович избрал растительные масла. Известно, что продукция жидких растительных масел значительно превосходит продукцию твердых жиров (в основном животных), и в последних постоянно ощущается недостаток. При насыщении водородом жидкие масла превращаются в твердые (гидрированные). Вторым компонентом были выбраны спирты. Они должны были превращаться в альдегиды, высокорреакционные вещества, расходуемые в больших количествах при производстве искусственных смол (например, бакелитов). Е.И. стремился привлечь к разработке множества вариантов этой реакции молодежь. Беседы с ним, его рассказы о казанской школе химиков были очень поучительны и способствовали нашему увлечению исследовательской работой. Остановлюсь подробнее на описании са-

мой лаборатории Евгения Ивановича и работавших в ней сотрудниках, хотя при этом придется захватить период времени вплоть до 1929 года.

В числе других лабораторий университета она располагалась в тот период в здании бывших Шефнеровских казарм, недалеко от главного входа в Дальзавод. Большой зал с асфальтированным полом и несколькими вспомогательными помещениями и кабинетом Любарского составляли территорию лаборатории. По одну сторону зала были установлены рабочие химические столы для практических работ студентов, по другую – оставался проход в соседнее помещение. При лаборатории (и кафедре того же названия) постоянно жил служитель Самуил, личность весьма примечательная. Пожилой украинец, маленького роста, но очень плотный, со свинными глазками и огромным ртом, он говорил с сильным «хохлацким» акцентом, был очень хозяйственный и преданный Е.И. Что-то их связывало в прошлом, но когда в 1929 году Е.И. уехал из Владивостока, Самуил решил остаться при лаборатории.

Эта «верная Личарда» постоянно шпионила за всеми сотрудниками и считала своей главной обязанностью наушничать на нас Е.И. Случайно я как-то подслушал один из таких «докладов» Самуила и был счастлив тем, что Е.И. только громко рассмеялся и спросил, когда Самуилу наскучит вести за нами это постоянное наблюдение. Но и после этого доклады, очевидно, продолжались вплоть до одного происшествия, в результате которого Самуил оказался у меня «на крючке».

Как-то зайдя в лабораторию в воскресный день, я, еще поднимаясь по лестнице, услышал сильный звон бьющейся посуды. У входа в лабораторию на стене висел большой щит с колышками для сушки крупногабаритной посуды. Войдя, я увидел совершенно пьяного Самуила, который, сняв очередную пятилитровую колбу и замахнувшись ею, как битой при игре в городки, запустил ее вдоль прохода через зал, уже сплошь покрытого осколками стекла. Он прислушался – и довольная улыбка появилась на его лице. От меня он отпрянул, как от злого привидения и, сразу отрезвев, дико оглянулся, понял непоправимость содеянного, плюхнулся на стул и вдруг заголосил тонким бабьим голосом. Я тихо вышел из лаборатории и никому ничего не рассказал. Благодарный Самуил был покорен.

В лаборатории постоянно работали несколько студентов-дипломников, переведенных во Владивосток из Читы после закрытия там педагогического института. Среди них помню Качияни, ставшего затем видным почвоведом в Хабаровском крае; Всеволода Тихоновича Быкова, будущего создателя Дальневосточного университета и филиала Академии наук. Он делал диплом у профессора Пентегова, неорганика и физика-химика, чья лаборатория была этажом ниже, и часто по разным надобностям заходил к нам. Среди дипломников оказался и Г.Г. Кириллов – его я знал еще по радиокружку, а в дальнейшем нам довелось вместе работать в ТИПРО, пройти через следствие, суд и каторгу.



Из нашего техникума у Любарского более или менее постоянно работал Александр Сокольников и Михаил Белопольский, учившиеся в классе на год старше меня. Сокольников — умница и остроумник, порой слишком часто и навязчиво демонстрировал свой юмор и потому быстро утомлял собеседника. Был он очень начитан, но в работе нетерпелив и часто бросал начатое дело. Его неумный характер, поиски острых ощущений сослужили ему недобрую службу: начал он нюхать эфир и так пристрастился к этому наркотику, что пришлось расстаться с работой в лаборатории. По окончании техникума Сокольников короткое время проработал в ТИПРО (тогда — ТИРХе), ходил в рейсы на его судах, потом уехал в Хабаровск, где поступил на работу вольнонаемным в лабораторию какой-то военной авиачасти. К следствию по делу ТИПРО был привлечен и, конечно, осужден, затем попал на Колыму и погиб.

С Михаилом Белопольским судьба меня связала на многие десятилетия. Он оказал значительное влияние на формирование моих политических взглядов, литературных вкусов и научных пристрастий, поэтому расскажу о нем подробнее.

Отец его, потомственный дворянин, работал до советизации товарищем директора местного Госбанка. Зажиточная, беззаботная жизнь с преферансом, охотой и сторонними романами кончилась в 1922 году, и он подвизался на каких-то очень мелких должностях, дававших мизерный доход. Это крушение благополучия, несомненно, сказалось на формировании политических взглядов сына. Миша в ту пору был высоким, очень худым юношей, с крупными правильными чертами лица. В его облике было что-то блоковское, и все наши девичьи на него тайком засматривались. С товарищами он держался внешне просто, но стоило узнать его ближе, и становилось очевидным, что он всегда ощущает себя как бы стоящим на ступеньку выше собеседника. Он был очень широко начитан, особенно в области русской литературы, причем вкусы его были весьма консервативны, и «Очарованного странника» Лескова он ценил много выше романов Тургенева. Никогда в детстве он не занимался спортом и не увлекался обычными мальчишечьими поделками. В любой аудитории он чувствовал себя и изъяснялся достаточно свободно, и в этом я ему очень завидовал, так как постоянно «тушевался» перед малознакомыми людьми. В течение первого времени нашей совместной работы у Любарского ко мне он относился, как и все старшие школьники к младшим. Позже, уже при работе в ТИПРО, наши отношения выровнялись, и в них соблюдался строгий паритет, а когда речь шла об умении что-либо сделать руками, выполнить точный анализ, мое превосходство им молчаливо признавалось.

Мне предстоит еще часто возвращаться к описанию нашей с ним совместной работы. Но теперь я хотел бы вернуться к событиям, связанным с учением в техникуме.

Летом 1926 года я и мои соученики были разосланы на так называемую рабочую практику. Меня направили на завод по производству спирта, который располагался в тихой в ту пору Голубиной пади, на пересечении нынешней Гоголевской улицы и проспекта Красного Знамени. До семидесятых годов в здании этого завода продолжал функционировать Агаровый завод, потом его закрыли и здание снесли.

В летнюю пору из-за отсутствия сырья (зерно, картофель) производство спирта обычно приостанавливали, и весь персонал занимался ремонтными работами. Вот и меня направили подручным слесаря в группу, отремонтировавшую котельную установку. Впервые я общался с настоящим рабочим классом и убедился, что он так же пестр по характерам и интересам, как и другие, более знакомые мне слои общества. Я был исполнительным парнем и, как бы теперь сказали, не сачковал. Конечно, над моей наивностью и неопытностью частенько подсмеивались и заставляли делать то, что мне было вовсе не положено делать, но за проведенное здесь время я приобрел много практических навыков и большой жизненный опыт.

Практику в 1927 году я провел в лаборатории при университете, а вот в 1928 году мне вместе с Зиной Подобой предложили поработать в только что созданной химической лаборатории Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС)<sup>1</sup>. Ее организаторами были Евгений Федорович Курнаев и Юрий Николаевич Ментов, выпускники МГУ, уже успевшие выполнить на Дальнем Востоке большое и оригинальное исследование (результаты его были опубликованы отдельной книжкой «Физико-химическая характеристика нерестово-миграционного голодания кеты»). Впоследствии судьба надолго связала меня с этими людьми, и я позволю себе их подробно описать.

**Е**вгений Федорович – худощавый выше среднего роста – уже тогда имел большую лысину, и от этого его высокий лоб казался еще более значительным. При разговоре он имел привычку смотреть собеседнику прямо в глаза своими живыми карими глазами, и это как-то сразу настраивало беседу на доверительный и доброжелательный лад. Очень трудолюбивый сам, он и в сотрудниках ценил это качество и не терпел лентяев. Обычно серьезный и сдержанный, он временами как-то расслаблялся, весело хохотал, и в такие минуты в нем появлялось что-то мальчишеское. Е.Ф. пользовался неограниченным авторитетом и уважением не только среди сотрудников лаборатории, но и у директоров института, часто сменявших друг друга. Никому из сотрудников не приходило в голову оспаривать его решения.

Перед его отъездом с Дальнего Востока (1935 год) Михаил и я близко, товарищески с ним сошлись, ходили вместе на футбол, подолгу задерживались

---

<sup>1</sup> Подробное интервью Г. Арбатской с О.Б. Максимовым о его работе в ТОНС и ТИПРО опубликовано в книге «ТИПРО – 75 лет (от ТОНС до ТИПРО-Центра)» / Ред. В.П. Шунтов. – Владивосток, 2000. – С. 314-317.

вечерами в лаборатории. С нами он был не столь сдержан и осторожен в разговорах и откровенно возмущался начавшимися после убийства Кирова политическими процессами и диктаторской политикой Сталина. Увы, при этом присутствовал еще один человек, вскоре умерший, который, по всей видимости, был сотрудником НКВД. Но об этом речь впереди.

Ю.Н. Ментов во многом был несхож с Е.Ф. Курнаевым, и это, вероятно, их даже сближало. Высокий брюнет с вьющейся шевелюрой, надвинувшейся на лоб, и глубоко посаженными глазами, он был по характеру очень увлекающимся человеком. За ним водились какие-то грешки, связанные с участием в эсеровских студенческих кружках в МГУ.

Я не помню, чтобы Ю.Н. долго и систематично был занят в лаборатории какой-либо исследовательской работой. Чаще он бывал в экспедициях и разъездах по дальневосточному побережью и занимался выколачиванием оборудования и финансов в Москве. Вскоре он после женитьбы на Лиде Вакулюк перевелся в центр и далее работал в Мурманске в Полярном институте рыбного хозяйства. В 30-е годы его отношения с Михаилом и мною были вполне товарищескими.

В общем, наша практика 1928 года в лаборатории ТОНС привела к тому, что Зина сразу же по окончании техникума, а я год спустя пришли в это преобразованное уже в институт учреждение как «старые» сотрудники.

В заключение рассказа о событиях лета 1928 года мне хотелось бы упомянуть о встрече с Эмеритой Владимировной Книпович, женой известного профессора Книповича<sup>1</sup>, биолога и рыбоводоведом. Тогда, в период становления рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке, директор ТОНС профессор Дерюгин<sup>2</sup> привлекал к участию в экспедициях на Тихом океане многих ленинградских ученых; Эмерита Владимировна, гидрохимик по специальности, была одной из них. Так случилось, что ей потребовалась помощь лаборанта-химика, и Курнаев на время «уступил» меня ей. Впервые в эти дни я постиг непреложные требования, которым должен отвечать настоящий химик-аналитик: величайшая собранность, аккуратность и честность. У аналитика не должно возникать и мысли об утаивании неудач или выдаче ошибочных результатов за истинные. Эти столпы аналитической культуры были мне в тактичной форме преподаны Эмеритой Владимировной, и я навек ей за это признателен.

Рассказывая о разных сторонах моей жизни в годы обучения в техникуме, мне приходится по отдельным аспектам далеко забегать вперед, чтобы логически завершать изложение событий и давать характеристику задействованным в них людям. Чтобы окончательно подвести черту под событиями тех

<sup>1</sup> Книпович Николай Михайлович (1862-1939) – известный зоолог и организатор научно-промышленного дела.

<sup>2</sup> Дерюгин Константин Михайлович (1878-1938) – организатор ТОНС, руководитель многих экспедиций по изучению биологических ресурсов тихоокеанских морей.

лет, связанными в большей или меньшей степени с ученичеством, мне остается рассказать о той огромной, но малозаметной работе, которая заполняла каждую свободную минуту моего времени. Я всегда много, хотя и бессистемно читал, но уже с начала второго курса меня повлекло к серьезному самообразованию. Удивительно богатой была библиотека техникума, в то время еще не тронутая последующими изъятиями. Я стал ее завсегдатаем и, заслужив доверие заведующей, забирался в фонды библиотеки и просиживал там многие неинтересные уроки. В противовес начетнической политграмоте я всерьез занялся философией, начиная от греков и кончая Махом, Шпенглером и, конечно, Ницше. После прозрачной ясности Марка Аврелия, Декарт и Спиноза показались мне путаниками, а Лейбница, да и Канта я, разумеется, вообще не понял. Следующим заходом я взялся за Канта, Шопенгауэра и Фейербаха, но опять потерпел фиаско на Гегеле.

«Так говорит Заратустра» поразил меня своей страстностью и поэтичностью, и я проштудировал все изданные Ницше книги, но в памяти моей ныне сохранились одни их названия: «По ту сторону добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое», «Эссе хомо». Конечно, это чтение не могло дать глубоких знаний 14-16-летнему парню, но оно явно побудило искать ответы на занимавшие меня вопросы в художественной литературе. Именно тогда я открыл для себя Ибсена, Гамсуна, англичан Киплинга, Уайльда и, разумеется, Достоевского.

Мне нужно было где-то переваривать этот хлынувший на меня поток идей и знаний. Я всегда любил бродить, а тут прогулки в одиночестве стали моим пристрастием и потребностью. Как только спадали зимние морозы, я по воскресениям стал уходить в далекие походы к мысу Басаргина, к Трем Камням, а в дачном районе — по сопкам Богатой Гривы.

Но было бы несвойственно моему возрасту оставаться при этом равнодушным к изумительным природным красотам этих мест, в ту пору совершенно еще не тронутым человеком. Постепенно и цель моих походов трансформировалась. От философских мудрствований я отвлекался на рыбную ловлю, охоту, коллекционирование растений. Охота особенно меня привлекала.

Ради нее я стал иногда приглашать с собой Доната Шаманаева, с которым учился ранее в школе, в ту пору он занимался на электротехническом отделении техникума. Его отец, директор мореходного училища, имел двустольное ружье редкостного десятого калибра и разрешал нам брать эту пушку в свои походы. В легкую пору мы охотились на бакланов, в великом множестве населявших скалистые выступы побережья Уссурийского залива. Добытые птицы обмазывались глиной и запекались под жарким костром. С закаменевшей глиной удалялись все перо и пахнувший рыбой подкожный жир, и мы с великим аппетитом закусывали своей добычей. Да чего только не заставляли отвеживать веч-

но голодные наши юношеские желудки! Я как-то решился попробовать запеченного в костре полоза и нашел его весьма вкусным.

Летом 1928 года Олечка вместе со студентами-строителями была направлена на так называемую геодезическую практику, т. е. обучение работе с теодолитом, мензулой и другими инструментами. Послали их в глухое село Ново-Хатуничи в верховьях речки Майхэ (ныне снесенное и затопленное водохранилищем). Мы с Донатом решили ее проведать. Выйдя как-то утром со станции Океанская, мы по долине реки Лянчихэ<sup>1</sup> перевалили полуостров и берегом Уссурийского залива вышли к железной дороге, доходившей в те годы лишь до станции Кангауз<sup>2</sup>. Поздно вечером добравшись до Шкотово, заночевали в «доме крестьянина». Увы, утром нас разбудил солдат-погранчник и отвел в погранотряд. В ту пору Шкотово входило в погранзону с пропускной системой въезда. Ничего этого мы не знали, иначе заночевали бы где-нибудь у костра. Наш обескураженный вид, да и мальчишеский возраст смягчили сурового начальника заставы, и он отпустил нас, наказав возвращаться поездом во Владивосток. Но стоило нам миновать границы поселка, как прежнее намерение возоблагодало над страхом перед стражами границы. Проселочной дорогой мы направились вверх по течению реки Майхэ и, миновав села Многоудобное и Харитоновку, к концу дня подошли к Ново-Хатуничам. Неудобная городская обувь так натерла мне ноги, что я еле передвигался. Тем более радостно было встретиться в этой глуши с Олечкой. Она и ее подруги стали заботливо за нами ухаживать. Хозяин хатки, где жили девушки, пристроил нас на своем сеновале и вдобавок сплел мне отличные лапти. В них я проходил те дни, пока заживали мои «раны», и проделал обратный путь до станции Топоза, откуда поездом мы возвратились во Владивосток.

Владивостокский городской комитет профсоюза «Медсантруд» за активную профсоюзную работу решил выделить маме стипендию и послать в Москву, чтобы, доучившись на пятом курсе и сдав госэкзамен, она смогла бы получить, наконец, диплом врача. Увы, о какой-либо материальной помощи семье и речи не шло. Но осенью 1927 года мы с Олечкой были уже достаточно самостоятельны, и после семейного совета решено было использовать эту возможность. Поскольку ни в школах, ни в техникумах стипендии тогда не выплачивались, нам предстояло найти какие-то заработки. С помощью знакомых удалось достать уроки. Оля учила музыку несколько малышей, а на мою долю выпало репетиторство по математике и физике. Уроки я давал преимущественно вне дома, и они забирали кучу столь драгоценного времени. Был и еще один вид заработка, о котором я уже упоминал.

---

<sup>1</sup> Ныне – Богатинская.

<sup>2</sup> Ныне – станция Анисимовка.

Недалеко от нашего дома, на Пушкинской улице, помещалась маленькая китайская лавочка, торговавшая всяческой снедью. Как-то ее хозяин, толстый китаец-купеза, знавший наше стесненное положение, предложил нам заработок. Он выдавал нам сухую горчицу, соль, сахар, уксус, а также маленькие баночки, этикетки и сургуч. Мы должны были по специальной рецептуре разводить горчицу, заливать ею баночки, наклеивать этикетки, закрывать горлышки картонными кружками и заливать их сургучом. Много слез было нами пролито за этой работой, но зато нам был открыт кредит, и уж чем-чем, а хлебом мы были обеспечены.

Несмотря на все наши старания, жилось нам трудно, не хватало денег на оплату квартиры, электричества, а о покупке одежды и думать не приходилось. Но миновала зима, возвратилась мама – дипломированным врачом! – и все было забыто.

Дома у нас воцарилось известное благополучие. Оля поступила на первый курс строительного факультета ДВПИ и получила стипендию, во время практики мне также платили небольшую сумму, да и мама, оставив Пастеровскую станцию, перешла работать заведующей клинической лабораторией краевой больницы и стала получать приличный оклад.

Чаще стали к нам приходиться по субботам братья Киселевы, и до поздней ночи из нашей квартиры раздавалась настоящая хорошая музыка. Мой учитель Добросмыслов к тому времени умер, и я продолжал свое музыкальное образование самостоятельно. Сначала робко, а потом все смелее я стал подсаживаться к нашим музыкантам, и, наконец, наступил день, когда Константин Семенович предложил создать струнный квартет и мне взять на себя партию второй скрипки. Альтистом был приглашен доцент-японцевед университета Онуфриев, партию первой скрипки исполнял Константин Семенович, а виолончели – Михаил Семенович. Трудно было с нотами – их доставали по знакомым, и когда в наши руки попадали квинтеты, к нам присоединялась Олечка. Этот период – до лета 1929 года – был у меня заполнен множеством дел и развлечений: теннис, коньки, долгие экскурсии совмещались с упорной работой над дипломным проектом, а последний – с ночными бдениями у радиопередатчика. И я еще успевал проглатывать множество книг художественной литературы. Да, в 82 года все это представляется невероятным.

Наконец, наступил знаменательный день: перед очень солидной комиссией мы защищали итоги своих трудов. Мой проект именовался: «Завод по производству олиф и лаков» и был ориентирован на использование местных материалов. Объяснительная записка начиналась с изложения химии процессов окисления ненасыщенных глицеридов, ведущих к образованию защитных покрытий, т. е. линоксина. Затем рассматривались местные источники сырья, излагались технологические процессы, и описывалась основная аппаратура. Главную же часть составляли рас-

четы технологические, теплотехнические, строительные и даже экономические. За всю мою долгую жизнь лишь однажды, правда в решающий час, мне реально понадобился весь запас этих знаний. Защита прошла успешно, и мы, счастливые, сердечно попрощались с нашими педагогами.

В те годы существовала жесткая система распределения молодых специалистов. Как это ни покажется удивительным в наше время, но на троих из нас пришел запрос из Москвы: Галю Андрушкевич, Лиду Вакулук и на меня. До начала работы всем выпускникам полагался двухмесячный отпуск. Мы несколько раз встречались с Лидой после выпускного вечера в дальних экскурсиях с соучениками, но остаться вдвоем нам так и не удавалось. Я и ждал, и страшился подобной встречи. Лида была очень хороша в то время, и вспыхнувшее чувство, несомненно, далеко бы нас завело. Но что-то в моей душе противилось подобному развитию наших отношений.

Передо мной раскрывалась огромная жизнь, и только от меня зависело прожить ее достойно. Я рвался к знаниям, творческой научной деятельности, а она, как мне тогда казалось, требовала некой жертвенности, аскетического образа жизни. Мысль о том, что с созданием семьи все это должно будет отодвинуться на второй план, была для меня нетерпима. Подобная нерешительность и рассудочность в неполные 18 лет, как я теперь понимаю, свидетельствовали лишь о том, что мое чувство к Лиде не было достаточно глубоким, но в те дни я испытывал болезненную душевную борьбу. Жизнь сама разрешила мои колебания.

Нас, выпускников техникума, премировали дальней экскурсией по городам России с развитой химической промышленностью. Не все приняли в ней участие, но Лида была среди них. А позже, еще до ее возвращения, я должен был отправиться на работу в Москву. За этот короткий промежуток времени произошла встреча, которая окончательно убедила меня в том, что мне еще рано спешить с выбором «сердечного друга». Расскажу о ней подробно.

У мамы была приятельница, врач Трипольская, ее муж инженер-строитель Васильченко иногда снабжал Олю платной чертежной работой. Васильченко был страстным туристом и неизменно принимал с сыном участие в вылазках за город (в район Линды на побережье Уссурийского залива), которые в те годы по воскресеньям устраивались для горожан на пароходах и катерах. Васильченко уговорил нас с Олей также отправиться в одну из таких поездок. Вместе с ним был и его сослуживец, тоже инженер-строитель Малюшицкий с женой Юлией Георгиевной. Малюшицкий оказался человеком хотя еще и молодым, лет так 30, но страшно надутым, не по годам самоуверенным и отъявленным эгоистом. Юлия Георгиевна во всем составляла ему противоположность: худенькая, с пышной шевелюрой, очень молчаливая и грустная, она явно тяготилась участием в окружавшей ее веселящейся компании. Как-то так

само собой получилось, что мы с ней вдвоем остались на стоянке, когда остальные участники экскурсии отправились купаться на морской берег. Сначала с взаимной неловкостью, потом все доверчивее и доверчивее стали беседовать; почему-то разговор коснулся живописи, и тут в ее душе точно отворилась какая-то дверца — она с увлечением стала рассказывать про свое детство, как она ребенком часами фантазировала перед домашними полотнами (видимо, в их семье был художник), как потом пропадала в картинных галереях Киева. Видимо, очень не сложилась ее семейная жизнь, тоскливо было на чужбине, и так изболелось все в душе, что она столь доверчиво и с радостью ушла в дорогие воспоминания перед малознакомым юношей.

Возвращаясь на пароходе во Владивосток, мы остались с ней на палубе. Заходящее солнце за Амурским заливом создавало на небе такую феерию меняющихся красок, что любоваться ею можно было бесконечно. Нам обоим было жаль расставаться, когда пароход ошвартовался у набережной Владивостока. Через неделю поездка повторилась. Снова мы много гуляли вдвоем и, возвращаясь, также прощались с заходящим солнцем. Потом... Потом я уехал в Москву и даже адреса Юлии Георгиевны у меня не осталось. Всю последующую зиму я через адресную службу почты разыскивал Ю.Г. (мне Оля сообщила, что Малюшицкие уехали из Владивостока) по разным городам Союза, но безуспешно; память об этих днях я сохранил на всю жизнь.

**И**так, в августе 1929 года я сел в поезд и отправился в самостоятельную жизнь. В ту пору поезда тащились до Москва почти две недели, а в том году они еще более задерживались из-за советско-китайского конфликта на территории Маньчжурии. За это время пассажиры успевали очень сдружиться со своими соседями, и это, пожалуй, очень русская черта. Опытные путешественники наставляли новичков, на каких станциях что следует приобретать на роскошных базарах, протянувшихся вдоль девяти тысяч километрового пути. Так, станция Боготол славилась медом, Татарская — сливочным маслом, Омск — чудесным хлебом, Ишим — курами, Шарья и Свеча — корзинами свежих яиц. Дежурным же блюдом, продававшимся везде, была вареная картошка с зеленым луком и укропом, заправленная сметаной.

Позже мне приходилось многократно преодолевать этот великий сибирский путь, время путешествия постепенно сокращалось, романтика первой поездки ее уже не оживляла, все через неделю осточертевало и конец пути ожидался с великим нетерпением. А тогда, в 1929 году, я всю дорогу простоял в коридоре у окна вагона и, укладываясь спать, мечтал, чем встретит меня утро. Но вот, наконец, я высадился на громадной площади трех



вокзалов, сел, по наставлению мамы, в трамвай № 34 и отправился устраиваться с жильем.

П.А. Галка, о которой я много уже писал, перебралась к тому времени в Москву, почувствовав, что ее, частнопрактикующего врача и владельца небольшого санатория, во Владивостоке ждут налоговые гонения со стороны фининспекторов (нэп уже завершался). Она со своим немалым семейством сумела обзавестись тремя комнатами в большой коммунальной квартире, которая располагалась в Девяткином переулке, начинавшимся с Покровки и позволявшим через другие переулки попадать на Мясницкую улицу. В этой квартире, в коридорчике под вешалкой мне согласились на время отвести место для проживания. Дочери П.А. учились: Зоя – на медфаке, Муся – в школе, а вечно недовольная Юля, завладев отдельной комнатой, ничего не делала и только всем надоедала своими наставлениями.

Все в Москве было для меня новым и интересным. Первые дни я до ночи бродил по городу, посетил свое «родовое гнездо» – квартиру по улице Сокольническая Слободка. Но там жили чужие люди, ничего не знавшие о судьбе брошенного нами в 1918 году имущества или просто не желавшие со мной разговаривать на эту тему.

Близилась дата, когда я должен был приступить к работе. Я был распределен в Государственный электротехнический трест, мне было известно, что я должен направиться в распоряжение Павла Васильевича Оленина, заведующего лабораторией диэлектриков этого треста, которая располагалась на территории фарфорового завода «Изолятор» на тогдашней окраине Москвы в селе Всехсвятском. Ныне этот оживленный участок Ленинградского проспекта называют Соколом. Изучив карту трамвайных маршрутов, я убедился, что могу добраться туда двумя путями: либо с Мясницкой до Петровского парка номером 6, а дальше либо номером 13, либо 25, или же с Красной площади прямо 25. До Красной площади требовалось добираться пешком по Маросейке и Ильинке, но что значила такая прогулка для парня в 18 лет? Я и дальше варьировал оба эти маршрута. Но прежде чем явиться к Оленину, я по совету, полученному еще во Владивостоке от мамы, посетил семью старинных ее и отца друзей – Мишуковых. Сам Мишуков (увы, имени его не могу припомнить), работал в ВСНХ по электротехнической промышленности, мог оказаться в курсе задач, стоящих перед лабораторией Оленина.

В нескольких словах я должен рассказать о семье Мишуковых. Женой его была Мария Лазаревна, врач, мамина соученица по Льежу. У нее было две девочки: Лена лет десяти и вторая дочь, совсем маленькая. С ними в одной квартире жила сестра Марии Лазаревны Белла Лазаревна Кнышинская, тоже врач, только зубной. Между сестрами существовала давняя вражда – они никогда не разговаривали, раздельно питались. Причина ссоры, как я потом узнал, была конкуренция при замужестве. Почему они продолжали жить одной семьей, так и осталось для меня тайной.

Зина Подоба.  
Фотография из архива В. Лебедевой.



Галина Андрушкевич  
(слева) и Лида Вакулук.  
Фотография из архива  
В. Лебедевой.



Общая фотография студентов Промышленно-экономического техникума.  
28 апреля, 1928 год. В центре Василий Каллиникович Малинин, за ним  
стоят Олег Борисович, Шура Манакина (первая слева), Зина Подоба  
(третья справа), Галина Андрушкевич между ней и Малининым.

*Фотография из архива В. Лебедевой.*



Олег Борисович. Предположительно 1929 год.



Яков Лазаревич Шугал с работниками центральной заводской лаборатории завода «Изолит». Москва. Я.Л. Шугал – крайний слева, крайняя справа – Галина Александровна Андрушкевич.

*Фотография из архива В. Лебедевой.*

Белла была очень привязана к девочкам и тайком всячески их баловала. Эту семью я, бывая в Москве, часто посещал, хотя сам Мишуков рано погиб в нелепой уличной катастрофе. А в то первое посещение в 1929 году мне удалось узнать от Мишукова много любопытного о биографии Оленина.

Будучи по образованию геологом, Павел Васильевич за какие-то политические грешки был сослан еще до революции в Сибирь и прожил там долгую жизнь, причем временами предпринимал какие-то крупные дела и разворачивал бурную деятельность. Оказывается, адмирал Колчак в своих дневниках упоминал об Оленине и называл его авантюристом от науки. За ним до старости сохранилась репутация прожектера, и к нынешней его деятельности Мишуков отнесся с некоторой предубежденностью.

Обласканный в этой приветливой, глубоко интеллигентной семье, я вернулся под свою вешалку и долго в тот вечер не мог уснуть, представляя на разные лады свою встречу с Олениным. Но прошла она довольно буднично. Я явился к проходной завода, и меня сейчас же пропустили, указав, где я смогу отыскать П.В. По первому впечатлению, которое оставил заводской двор и встреченные рабочие, у меня создалось представление, что я попал на мельницу: все — земля, люди, оборудование — было покрыто слоем белой пыли. Эта каолиновая и фарфоровая пыль потом преследовала меня в лаборатории, и борьба с ней была безуспешной.

В небольшом строении в глубине двора, возле которого гудела нефтяными форсунками странного вида круглая печь, мне навстречу вышел старичок среднего роста, с плешью и седой козлиной бородкой. Это был Оленин, Он оказался много старше, вернее дряхлее того образа, который я себе мысленно составил. Непрерывно дымя папиросой, он долго меня расспрашивал об учебе и практическом опыте; видимо, ответы мои его вполне устроили, и он стал рассказывать о предстоящей мне работе. Вот, вкратце, что я от него узнал.

**Н**аша страна в ту пору страшно отстала по производству различных изоляционных материалов и покрытий, особенно таких, которые получают из синтетических смол. Фактически единственным заводом, вырабатывающим такую продукцию, был завод «Карболит» в Орехово-Зуево под Москвой, выпускавший поделки из материала того же названия. Самыми дефицитными были так называемые бакелитовые изделия — продукты взаимодействия простейших фенолов (карболовой кислоты) с формалином (формальдегидом). Образующийся на первых стадиях реакции смолистый продукт (резол) легко плавился и растворялся в спирте и других растворителях. При дальнейшем нагревании он превращался в нерастворимый и неплавкий продукт (резит). Если пропитать бумагу или ткань резольной смолой и в виде многослойных пачек нагревать их в прессах, то получались очень прочные плиты, обладавшие высокими изоляционными свойствами: из

бумаги – гетинакс (от Госэлектрореста), из ткани – текстолит. Завод по производству этих материалов строился на окраине Москвы (в Черкизово) и вскоре должен был вступить в строй.

Лаборатории было поручено собрать информацию, а там, где нужно, доработать по химическим и электрическим методам испытаний таких материалов, пригодным для контроля производства. Поскольку большинство подобных методов уже применялись в зарубежной практике, предстояло собрать всю эту информацию из периодических журналов и монографий, а также проверить применительно к нашим материалам. И вся эта громадная работа, которая по плечу целым нынешним институтам, возлагалась на плечи двух исполнителей: электротехнические – на сотрудника лаборатории инженера Якова Лазаревича Шугала, а химические – на меня. Правда, после планируемого переезда на новый завод («Изолит») предполагалось подключение к этой работе большого коллектива участников, но начинать дело нужно было нам.

Кроме Павла Васильевича, Якова Лазаревича и меня, в лаборатории были еще два инженера – Борухин и Пимштейн (оба выпускники университета им. Шанявского, за три года «выпекавшего» инженеров из квалифицированных рабочих).

Работа, которой был увлечен сам Павел Васильевич и в которой ему помогали упомянутые сотрудники, состояла в следующем: если подвергнуть расплавлению некоторые изверженные горные породы (андезиты, базальты), то их можно отливать в формы и получать изделия любой конфигурации. Правда, по застыванию они образовывали черные хрупкие «стекла», но если их далее долгое время выдерживать при высокой (около 900 градусов) температуре, то стекла закристаллизовывались и получался прочный материал с текстурой исходной горной породы. Исполнители мечтали таким путем получать дешевые высоковольтные изоляторы (вместо фарфоровых), футеровочные плитки для химической аппаратуры и всяческие другие изделия.

Борухин, улыбатый, очень картавый, всегда с небритой рыжей щетиной, был, что называется, тудягой и сутками не отходил от своего детища – плавильной печи. Пимштейн – хитроватый дипломат с большой лендой, предпочитал целыми днями пропадать в городе по поручениям Оленина.

С Яковом Лазаревичем мы быстро сошлись. Он был лет на десять старше меня, успел обзавестись семьей, но работал с увлечением и очень добросовестно. Наша часть лаборатории состояла из двух комнат в помещении заводской испытательной станции. Соседство это было в высшей степени неприятным. Рядом нами в большом зале были установлены квадратные ванны из оцинкованного железа, залитые водой. В них представляли готовые тарельчатые фарфоровые изоляторы, к ним медными штангами подводили электрический ток, постепенно повышая напряжение (до 220 киловольт), испытывая таким образом на пробой. При этом

искры, как маленькие молнии, опоясывали изоляторы, и воздух бурел от образования двуокиси азота. Шум при этом стоял, подобный канонаде.

Вначале обстановка казалась вовсе не рабочей, но потом мы обвыклись и стали работать, не обращая внимания на шум и удушливые газы. Каждое утро по морозцу я совершал длительное трамвайное путешествие, умудряясь, как и все москвичи, использовать его для чтения (до Всехсвятского добираться удавалось за час с лишним). Обедал в заводской столовой, а вечером перед уходом закусывал выдаваемым нам из-за вредных условий пастеризованным молоком (очень вкусным, вроде ряженки). Обратный путь я всегда совершал на трамвае номер 25, который шел через Красную площадь и далее по Пятницкой. С площади по Варварке выходил на площадь Ногина. Там размещалась библиотека Наркомтяжпрома, самая подходящая для меня по набору получаемых зарубежных журналов, быстроте обслуживания и близости к месту моего обитания. В библиотеке я обычно просиживал до закрытия, то есть до 10 часов вечера, а затем, усталый, добирался до своей койки и засыпал мертвым сном.

Если с английским текстом журналов я справлялся достаточно успешно (спасибо за то мистеру Гаррису), то с немецким было много сложнее. Как назло, основной журнал нужного мне направления («Ди Кунстшоффе») выходил как раз на немецком. По выходным дням (а тогда работали по пятидневкам с одним выходным) скапливалось множество неотложных дел: баня, стрижка, починка одежды, стирка мелочей. Кроме того, я регулярно ходил по музеям и различным выставкам, изредка удавалось бывать в театрах («Принцесса Турандот» у Вахтангова, «Дни Турбиных» во МХАТе и др.). Но самым любимым развлечением в дни отдыха было посещение букинистов у Китайской стены. Каждую сбереженную копейку я тратил на книги или ноты (а получал я целых 125 рублей!). Особенной удачей, правда, надолго меня разорившей, была покупка прекрасно переплетенных 82 квартетов Гайдна. Ходил я и в кино, но очень редко. Чаще выбирался на весь выходной на лыжах, обычно от лыжной базы при стадионе юных пионеров и далее по Хорошовскому шоссе с выходом на Покровско-Стрешнево. Места были в те годы совсем еще не тронутые, так, кое-где стояли одинокие дачки. Со своими хозяевами семьей Гапки я почти не общался, старался не обременять их присутствием в доме постороннего человека.

Главной задачей, которую я пытался решить в лаборатории, была разработка методики определения свободного (т. е. не вступившего в реакцию) фенола в изоляционных изделиях из гетинакса и текстолита. Наличие свободного фенола резко повышало так называемый тангенс диэлектрических потерь, то есть ухудшало качество изделия. После долгих, тщательно проведенных экспериментов я остановился на процедуре, дававшей хорошо воспроизводимые результаты: отгонке из навески измельченного материала фенола с помощью толуольно-водного азеотропа и с последующим

количественным титрованием бромид-броматным реагентом. Завершил я эту работу к апрелю 1930 года. Каково же было мое огорчение, когда в свежеполученной книге Шрайбера (кажется, так) я нашел описание процедуры того же анализа, во многом совпадавшей с разработанной мною!

Позже я стал по-иному расценивать это происшествие: раз ученые немцы не смогли создать ничего более удобного и точного, чем то, что удалось мне, желторотому школяру, значит, я на что-то гожеус!

Павел Васильевич постоянно водил Шугала и меня на всяческие совещания по диэлектрикам, особенно в ГЭТ и на кафедру диэлектриков Плехановского института, которой руководил наш шеф профессор Головкин. Потом нам нужно было каждому по своей части комментировать дискуссии, и это, видимо, компенсировало отсутствие у Павла Васильевича конкретных знаний. На одном из таких совещаний мне довелось поводить и выслушать выступление профессора В. Флоренского.

В ту пору большой бум среди физиков и электриков вызвала проблема так называемых тонкослойных изоляторов. Суть ее, грубо говоря, заключалась в том, что электрический пробой многослойного блока требовал более высокого напряжения, чем монолитного. Занимавшаяся этой проблемой группа физиков Ленинградского физико-технического института (руководимого академиком А.Ф. Иоффе) располагала разнообразной аппаратурой для испытания образцов, поэтому П.В. решил послать меня и Шугала в Ленинград для ознакомления с ее работой.

В конце декабря 1929 года мы прибыли в Ленинград. Это была моя первая встреча с великим городом. Остановились мы в какой-то гостинице возле Московского вокзала. С утра отправлялись обычно на завод «Электросила», уже тогда громадное предприятие со многими лабораториями. Оттуда к обеду выбирались в Лесной, где располагался институт Иоффе. Путешествия эти были не особенно приятны, так как стояли необычные для Ленинграда морозы. Мне очень запомнилось посещение Физтеха. Вначале нас принял И.В. Курчатов, тогда еще совсем молодой. Мне запомнился яркий, красновато-синий джемпер, который был на нем. Он свел нас с группой физиков, занятых теорией пробоя диэлектриков тонкослойной изоляцией и тому подобными вопросами. Помню фамилии: Синельников, Вальтер и женщины — Инге. Основные вопросы мы решали с Александром Филипповичем Вальтером, моложавым человеком среднего роста. Мы были у него несколько раз и всегда находили любезный деловой прием.

Знаю, что часть этой группы как-то разошлась с А.Ф. Иоффе (Лейпунский, Синельников, Ант. Вальтер, брат А.Ф. Вальтера и др.), переехала в Харьков и создала там знаменитый впоследствии украинский Физико-технический институт. Завод «Электросила» поразил меня своими масштабами. В лабораториях именно этого завода мы получили наиболее ценную информацию по интересовавшим нас вопросам.

Во время первого же посещения Лесного я разыскал там квартиру Н.Н. Андреева, в ту пору еще не академика, но руководителя большого отдела по технической и музыкальной акустике в институте Иоффе. Он и его жена встретили меня ласково, много расспрашивали о наших сибирских странствованиях, об отце, учении и вообще о нашей жизни во Владивостоке. Ознакомившись с моей специальностью и выполняемой работой, Николай Николаевич сделал мне очень заманчивое предложение: он давно уже лелеял мысль заняться расшифровкой природы лаков, которыми знаменитые итальянские мастера средневековья – Страдивари, Амати, Гварнери – покрывали изготавливавшиеся ими скрипки и виолончели. По мнению Николая Николаевича, именно эти лаки придавали звучанию этих инструментов тот благородный оттенок, за который они так ценились. Увы, если у меня к тому времени еще теплилась надежда получить жилплощадь в Москве, то в Ленинграде никакой возможности устроиться с жильем не было. В другой вечер я посетил старинную мамину приятельницу (еще по Льежу) – Анну Давыдовну, жену известного физика-популяризатора Перельмана. Тут тоже меня ожидала очень сердечная встреча с теми же бесконечными расспросами. У них был единственный сын, болезненный мальчик лет шести. Вся эта славная семья впоследствии погибла при блокаде города.

Нам с Яковом Лазаревичем Шугалом еще оставалось завершить кое-какую работу в Ленинграде, но у нас кончились деньги. Отложив нужную сумму на оплату гостиницы и обратные билеты, мы убедились, что питаться нам не на что. Самолюбие не позволило мне обратиться за помощью к знакомым, и нам пришлось пропоститься дня два. И вот, выскребая последние копейки из бумажника, я вдруг обнаружил две доллара, заботливо спрятанные под подкладку. Это, конечно, был мамин сюрприз! Тут же мы отправились в Госбанк и получили взамен что-то около четырех рублей. В первом же попавшемся ресторанчике на Садовой мы отпраздновали эту неожиданную находку дежурным блюдом – телячьим языком с зеленым горошком многодневной давности.

По возвращении в Москву Яков Лазаревич занялся монтажом рентгеновской дефектоскопической установки. В этой работе я деятельно ему помогал – сказывалось радиолюбительское прошлое. Ни он, ни я и понятия не имели о том реальном риске, который связан с экспериментированием с жестким рентгеновским излучением, и наша установка не выдерживала никакой критики с точки зрения техники безопасности. Это не замедлило сказаться: у Якова Лазаревича появились изъязвления на надбровных дугах и внешней части фаланг пальцев, ну а у меня случилось еще худшее: при очередном посещении бани вся моя чудесная шевелюра выпала и я остался с совершенно лысой головой. Облысеть в 20 лет – это было настоящей трагедией. Якова Лазаревича поместили в больницу, ну а меня врачи несколько успокоили. Действительно, через некоторое время волосы у меня стали



отрастать, но это было уже совершенно не то! Я ходил стриженным под машинку, совершенно убитый своим несчастьем. Тут подошли и другие неприятности: мне как молодому специалисту должны были предоставить жилплощадь, но этим ведали районные инстанции, так называемые рыжие скоты – РЖСКТ. Поскольку же наша лаборатория не являлась районным учреждением и нам предстоял переезд в Сокольнический район, вопрос со мной никак не решался. Трест тоже рассчитывал вскоре сбыть нас заводу и никакой помощи не оказывал. Я вдоволь набродился тогда по различным инстанциям, и когда приходится сейчас слышать о распространении коррупции в годы перестройки, я отношусь к этому скептически: взяточничество на Руси пребывало от века, и я еще в те давние времена живо с этим столкнулся. Оставаться далее у Галок я был не в состоянии, и П.А. Галка мне об этом прозрачно намекала. В это же время я получил от Главпрфобра, учреждения, ведавшего вопросами поступления в высшие учебные заведения, отказ в разрешении мне поступать в вуз до конца трехлетней практической работы по окончании техникума. Под влиянием всех этих обстоятельств я решил возвратиться во Владивосток. Однако я считал себя обязанным чем-то отплатить Оленину за хлопоты, правда безрезультатные.

И вот я стал уговаривать Гаю Андрушкевич, работавшую на московском газовом заводе, перейти в нашу лабораторию на мое место. За прошедшую зиму мы с Галей почти не встречались – у каждого была своя жизнь. Но тут мы вместе съездили на завод «Изолит». Это крупное достраивавшееся предприятие (отдельные цеха уже работали) выглядело очень эффектно, среди инженеров чувствовался пусковой подъем, это Гаю увлекло, и она согласилась на переход. Всю последующую жизнь до своей кончины Галя провела на этом предприятии, там же вышла замуж за инженера Мурашева. В 60-70-е годы я заезжал к ней несколько раз, познакомился с мужем (он вскоре скончался) и ее милой дочерью Вероникой.

Незадолго до отъезда во Владивосток ко мне обратился главный инженер завода «Изолятор» с просьбой помочь их беде. При покрытии глазурью тарельчатых высоковольтных изоляторов на их нижней стороне остается кольцевая полоска, не защищенная глазурью, на которую они опираются при обжиге. Через этот незащищенный участок в глубь фарфорового тела проникает атмосферная влага и при многократном замерзании и оттаивании создает зону с нарушенной текстурой, через которую часто происходит электрический пробой. Нужно было подобрать дешевый доступный состав для покрытия этой уязвимой части изоляторов. После недельных экспериментов я предложил рецептуру смеси, состоявшей из церезина<sup>1</sup>, канифоли и технического вазелина, которая после нанесения в горячем виде на изолятор прочно к нему приставала и при смене температур от -40 до +40 не отслаивалась. Как-то будучи в Москве в 1959 году, я зашел на завод и у нового главного

---

<sup>1</sup> Церезин – смесь длинноцепных предельных углеводородов – получают из озокерита (горного воска).

инженера узнал, что моим рецептом продолжают пользоваться, хотя никто уже не помнил, откуда он появился. Так проходит слава в веках!

Обратная дорога во Владивосток вначале была не столь радостной, как первое путешествие. Хотя я соскучился по маме и Оле, да и просто по домашнему уюту, все же я возвращался «со щитом», а не «на щите», и покорить Москву мне не удалось. Но постепенно прелести сибирской весны меня отвлекли от грустных мыслей. Дорогой я, кроме того, был занят составлением отчета о первом годе работы. Тогда существовал порядок: выпускники индустриальных техникумов имели право представлять в квалификационную комиссию техникума отчеты и отзывы предприятий, и на основании этих данных им присуждалось звание либо техника, либо инженера узкой специальности. Забегая вперед, хочу сказать, что с похвалой прошел эту комиссию и получил документ об инженерском звании, правда, сгинувший в архивах НКВД после ареста.

Встречи с родными и приятелями были очень радостными, а Владивосток после холодной и равнодушной Москвы показался таким красочным и родным, что я твердо решил никогда более с ним не расставаться. При посещении ТИРХа (так была переименована ТОНС, а позднее было добавлено слово «океанография» и институт стал ТИНРО) получил от Евгения Федоровича Курнаева предложение поступить на работу в химический отдел, которым он руководил. Предполагалось, что я займусь исследованием морских жиров, и это меня вполне устраивало, так как на русском языке к тому времени не было ни одной публикации по химическому составу этих продуктов. Но перед новой работой следовало немного отдохнуть и закончить дела с техникумом.

Витя Фролов мне по секрету рассказал, что Шурка Радомышльский нелегально перебрался в Маньчжурию, а к его родителям приехала старшая сестра Ирина из Ленинграда, ее исключили из университета за участие в политических студенческих кружках. Мы как-то отправились к ним с Витей на дачу и были тепло встречены, провели целый день и близко сошлись с Ирой. Потом я стал бывать у них довольно часто, мы играли с Ирой в крокет и теннис, гуляли и купались в море и по-настоящему подружились. Она была немногим старше меня, но как-то значительно взрослее, мы много спорили о политике, причем я уже тогда критически относился к начавшимся политическим процессам, а Ира (как это не парадоксально для дочери энпмана) слепо верила в мировую революцию и восторгалась Троцким. Уже ближе к осени, но теплым вечером, мы решили забраться с ней на Орлиную сопку и полюбоваться оттуда вечерними огнями города. Вид был чудесный, и мы долго засиделись на скалистой вершине. Поднялся легкий ветерок, я снял пиджак и набросил на Ирины плечи. Она благодарно склонилась к моему плечу и вдруг поцеловала меня в щеку. Это меня страшно смутило. Я не испытывал к ней решительно никаких романтических чувств и просто перенес на нее дружескую симпа-

тию, которую всегда испытывал к Шурке. Невольно я отстранился, поспешно закурил и стал что-то твердить про поздний час, далекую дорогу и т. д. Ира, конечно, сразу же все поняла, оживленно заговорила о каких-то пустаках, и мы отправились по домам. Проводив ее, я долго бродил по ночному городу и обдумывал свое поведение. В конце концов, я решил, что вести себя иначе с Ирой я не должен, хотя все между нами было тогда возможно. Больше с Ирой я не встречался и вскоре узнал, что вся их семья ушла в Маньчжурию. Вот как все могло измениться в моей жизни!

**Н**ачалась моя работа в ТИРХе. Подходящего места мне не нашлось (лаборатория, располагавшаяся в тех же комнатах, что и в 1928 году, была очень перегружена, но все это терпели в ожидании предстоящего переселения). Пришлось приспособивать закуток в противоположной от лаборатории части здания. Дел было много, а двух рук для этого было явно недостаточно. Вся зима 1930/31 года ушла на обследование реактивами, посудой и оборудование моего закутка. Я выполнял разовые поручения Курнаева, например по рафинации<sup>1</sup> ивасевого жира, занимался и аналитической работой, а также много читал. Уже тогда в моей голове составилась план предстоящих исследований, который далее был осуществлен совместно с М. Белопольским.

В эту же пору в ТИРХе уже сотрудничал А. Сокольников, но только не у Курнаева. Он принимал участие в экспедициях на моторной яхте «Россиантэ», собирал какие-то образцы для гидрохимических исследований. Что же касается Михаила, то ему, проработавшему к тому времени уже три года при кафедре Любарского, какими-то правдами или неправдами удалось быть зачисленным на первый курс химфака университета. Но к весне 1931 года он был исключен как «чуждый элемент» по требованию комсомольской организации. Я никогда впоследствии не расспрашивал его о подоплеке этого неприятного дела. Так или иначе, но он остался без всяких средств к существованию, и я решил поговорить с Курнаевым о возможности его устройства в ТИРХе. Дело быстро сладилось, и с этого дня вплоть до ареста в 1936 году мы с ним проработали вместе почти шесть лет.

В ту пору основным объектом рыбного промысла в Приморье была сардина иваси. По всему побережью были созданы рыбные промыслы, выстроен ряд консервных заводов с установками, перерабатывавшими отходы на жир и тук. Поскольку иваси была совершенно новым объектом промысла, отсутствовали какие-либо сведения о ее химическом составе и невозможно было судить о пищевой и технологической ценности продуктов ее переработки. На нашу долю выпала задача установить химические показатели жира из разных частей этой рыбы (голова, тушки, внутренности). Нужно было заготовить представительные серии проб на

<sup>1</sup> Рафинация — очистка от примесей.

протяжении всего промыслового сезона. Кроме того, от нас требовали провести технологическое обследование работы утилизационной установки для сокращения потерь и улучшения качества жира.

В ТИРХе была сформирована группа сотрудников, в нее вошли и мы с Михаилом, которую направили на рыбный промысел, расположенный на острове Путятин. Работа по опытным посолом была поручена незадолго до того поступившему в институт Кириллу Александровичу Башкирову. Человек он был любопытный. Оказавшись во время войны 1914-1918 годов в экспедиционном корпусе во Франции, после войны возвратился в Россию. Судьба его, видимо, много потрепала в предшествующие годы, и он провел их в полуссылке по разным рыбным промыслам Дальнего Востока, попутно приобретая немалый опыт в обработке рыбы. Это был высокий, худой человек средних лет, очень экспансивный и подвижный. У него была манера как бы слегка подшучивать над собеседником и задавать провокационные вопросы. В таком же духе он позволял себе высказываться и на политические темы, что тогда было великой крамолой. С нами был всегда доверителен, и мы с ним отлично ладили.

Вместе с сотрудниками ТИРХа на Путятине в то лето проходила практику группа студентов-первогодников из незадолго до того созданного Дальрыбвтуза. Среди них было несколько талантливых молодых людей, впоследствии крупных ученых и организаторов науки. По возрасту они в ту пору были моими сверстниками, и у нас установились добрые товарищеские отношения. Через год мне довелось вести у них курс органической химии, и стоило большого труда воссоздать необходимую дистанцию. Но об этом позже.

Остров Путятин очень живописен, и в свободные часы я частенько уходил в отдаленные бухты или взбирался на окружающие поселок сопки. В одну из таких прогулок у меня состоялась интересная встреча. Поднявшись на сопку Крестовую, я присел чуть отдохнуть и отдышаться. Закурив папиросу, стал осматриваться вокруг, и в это время из кустов вышел просто одетый старичок, подсел ко мне и мы как-то очень непринужденно разговорились. Расспросив о том, кто я и чем здесь занят, он стал интересоваться планами на будущее. Потом, спохватившись, заторопился, пожелал всяческих успехов и направился в поселок. Позже я узнал, что это был Михаил Пришвин, который в то лето объезжал Приморье.

Мне приходилось несколько раз выходить в море на ночь на рыболовных ботах (кавасаки), чтобы при выборке сетей отбирать различные виды рыб, попадавшие в виде прилова. После того как с вечера невода были расставлены, можно было, растянувшись на палубе, спокойно коротать ночь на мерно покачивающемся судне. Влажный туман, набегавший, как правило, к утру, заставлял кутаться в брезентовый плащ. Но с первыми признаками рассвета все принимались выбирать сети, и тут наступало азартное ожидание

большого улова, а также различных сюрпризов, которые дарило море. Пару раз в сети попадалась крупная, почти двухметровая сельдевая акула (Лямна корнубика), и это было бедствием для рыбаков, так как она в клочья рвала сети. Чаще же сети приносили колючую акулу (Сквалус акантиус), а также анчоусов, молодь скумбрии и, главное, огромные массы иваси. Бывал такой улов, что часть сетей приходилось оставлять в море, чтобы не слишком перегружать утлое суденышко и приходиться за ними повторно.

Недалеко от поселка на острове Путятин расположено небольшое озеро, заросшее лотосом. Говорили, что лотос был завезен сюда бывшим владельцем острова купцом Шевелевым. Когда лотос зацвел, мы часто приходили к этому озеру полюбоваться его мощной красотой. Как-то раз перед короткой отлучкой в город я попытался добраться до него, чтобы привезти хотя бы один цветок для мамы и Оли, при этом я весь в кровь исцарапался о его колючие стебли, надежно защищавшие это чудо дальневосточной природы. Но все это было лишь романтическим обрамлением моего тогдашнего быта, а основа его – тягостная отвратительная работа на утилизационной установке, перерабатывавшей мгновенно загнивавшие в летнюю жару головы и рыбы кишки. Я настолько пропитался «ароматом» рыбьего жира, что мои соседи по комнате всерьез советовали мне переселиться на чердак.

К тому же мастер утильустановки меня невзлюбил, всячески пытался мешать работе, вообразив своей глупой головой, что я претендую на его место. Вероятно, мне следовало распить с ним бутылку и договориться о «сферах влияния», но тогда мальчишеская задиристость и мысли об этом не допускала. Несмотря на все его ухищрения, мне удалось выявить основные причины происходивших потерь и предложить способы их устранения. Разумеется, все было принято в штыки, и это стало для меня первым опытом внедрения науки в практику, который в дальнейшем пополнялся подобными же примерами.

Приблизился сентябрь. Мы упаковали многочисленные собранные образцы на кавасаки и отплыли в город. В Золотой Рог вошли уже затемно. Еще на рейде до нас донеслись городские ароматы, которые обычно не замечаешь, но для наших отвыкших носов они оказались первыми вестниками приобщения к привычной жизни.

Поздней осенью 1931 года в ТИНРО появился Владимир Григорьевич Рудаков. Мне были знакомы несколько тощеньких учебников этого автора по разным вопросам технологии жиров, изданных где-то в Чите или Улан-Удэ. Они были целиком списаны с различных монографий, причем безграмотно, тяжелым неуклюжим языком. Образцом их стиля может послужить фраза «говяжий жир дает мыло мало мялкое». Оказалось, что Рудакову удалось где-то заполучить профессорское звание, теперь он принял кафедру Любарского и собирается читать лекции студентам ДВПИ, а также



Парусно-моторная шхуна «Россинантэ».  
Советская Гавань, 1931 год.



Общая фотография студентов техникума. Июнь, 1930 год.  
Лена Лаговская в первом ряду в матросском костюмчике.

Лена Лаговская.



Лена Лаговская в жировой лаборатории.  
Весна, 1932 год.



Семейная фотография Лаговских.  
На переднем плане – Алексей Михайлович и Анна Савельевна Лаговские.

намеревается сотрудничать в ТИНРО. Как Курнаев, с его чутьем ко всякой непопорядочности, согласился на его сотрудничество, до сих пор понять не могу. Так или иначе, но Рудаков был назначен заведующим жировой лабораторией, а мы с Мишей оказались в числе его сотрудников. Очень скоро стало ясно, что Рудакова интересуют только должность и зарплата, что же касается работы, то он не попытался даже в нее вникнуть.

Развернуть надлежащим образом исследование рыбьих жиров на том закутке, который я для себя оборудовал, было невозможно. Рудаков предложил нам перебраться в помещение кафедры, т. е. на родную уже нам «шефнеровку». К нам прикомандировали двух выпускниц техникума. Одну из них я уже хорошо знал. Это была Лена Лаговская, дочь врача техникума Алексея Михайловича Лаговского. Когда я еще учился на последнем курсе техникума, ко мне на перемене как-то подошла худенькая кареглазая девушка с темной косой, одетая в синий матросский костюмчик, и попросила дать ей на время некоторые учебники. Позже уже по своему усмотрению я добавил к ним еще несколько книг. Все они были мне потом возвращены с благодарностью, и так завязалось знакомство.

Но нашей группе с работой так и не повезло. В здании «шефнеровки» отключено паровое отопление, был отключен водопровод, и в лаборатории воцарилась Арктика. Мы все сбились в одну комнатушку, где стояла старинная печь для элементного анализа по Дюма, состоявшая из большого бензинового бака и ряда горелок, обогревавших трубку для сожжения. Чередуясь, мы приходили за пару часов до работы, запускали эту печь, и в комнатке держалась температура 8-10 градусов. Такая температура отчасти нам благоприятствовала, так как мы были заняты бромированием жирных кислот при отрицательной температуре, но вот весы в этих условиях вели себя весьма своеобразно. Помню, с какой неохотой покидали мы этот теплый уголок, чтобы сходить за нужным реактивом в большой замороженный зал. Чаше Лена сама вызывалась сходить туда, так как мы досаждали ей курением и изрядно-таки вольными разговорами. За эту ее готовность мы прозвали ее «In das kalte Zimmer das laufende Madchen» (девушка, вбегающая в холодную комнату).

Я не могу восстановить в памяти дату, когда состоялся переезд ТИРХа в новое прекрасное здание на углу Алеутской и Светланской улиц. Но наша первая публикация в 11-12 номерах журнала «Маслобойно-жировое дело» (1932) подготовилась к отправке в редакцию уже в новом помещении.

**К**ак бы я не стремился в этих записках избежать освещения специальных вопросов, здесь мне все же придется сказать несколько слов о существовании наших химических исследований. Жиры – это сложные эфиры глицерина и различных жирных кислот (глицериды). Среди последних встречаются насыщенные (пальмитиновая, стеариновая и др.), моноеновые (ен – символ ненасыщенной двойной связи, – например, олеиновая), диеновые, содержащие две



двойные связи (линолевая), триеновые (линоленовая), тетра-, пента-, гексеновые. В жирах наземных животных, растительных маслах содержатся преимущественно кислоты с 0-3 двойными связями. При анализе их разделению производилось путем перевода в бромиды (бромированием), т. е. присоединением брома к двойным связям.

Бромиды различались растворимостью в органических растворителях (так, тетрабромиды не растворялись в петролейном эфире, гексабромиды – в этиловом эфире), а также содержанием брома. С помощью этой методики удавалось характеризовать состав жирных кислот наземных жиров. У водных животных жиры содержат в больших количествах и более ненасыщенные жирные кислоты с 4-5-6 двойными связями, причем в преобладающих количествах; эти кислоты дают бромиды с высоким содержанием брома, и этот признак был единственным, по которому устанавливалась примесь, например рыбьих жиров, к растительным маслам.

Главной новинкой нашего первого сообщения был тот факт, что бромирование жирных кислот жира иваси как в этиловом, так и в петролейном эфире давало бромиды с содержанием брома около 70%, т. е. производные кислот с 4-6 двойными связями. При этом выход нерастворимых бромидов из петролейного эфира вдвое превышал таковой, полученный в этиловом эфире. Следовательно, действительное содержание высоконенасыщенных жирных кислот (с 4-5-6 двойными связями) в типичном рыбьем жире (иваси) оказывалось вдвое выше того, которое оценивалось так называемой октобромидной пробой; часть (половина!) этих кислот образовывали бромиды, растворимые в этиловом, но нерастворимые в петролейном эфире. Я так подробно останавливаюсь на на этих результатах потому, что обнаруженные факты послужили далее основанием для серии работ, проливших новый свет на особенности состава жиров рыб и морских животных. Наше сообщение в журнале было замечено и впоследствии многие десятилетия цитировалось в монографиях по химии жиров<sup>1</sup>.

Мы с Михаилом старались все совместные работы публиковать вместе, но, поскольку инициатива постановки опытов бромирования в разных растворителях принадлежала мне, а одно время встречала даже его противодействие, мы согласились, что специальную работу по полибромидам выполняю и опубликую я один. Михаилу же в порядке компенсации была предоставлена возможность отдельно опубликовать интересные результаты по исследованию жира охотского бурого медведя. В летнее время, когда в реки Приохотья заходят последовательно практически все виды дальневосточных лососевых, медведи питаются преимущественно рыбой, и их собственный жир становится по составу близким жирам лососевых.

---

<sup>1</sup> В самом деле это было важное открытие. Сейчас полиненасыщенные морские жирные кислоты считаются важными кардиопротекторными компонентами пищи.

Итак, начало большой серии работ было положено и выход последующих сообщений лимитировался во времени только возможностями их публикации, в ту пору очень ограниченными. Несмотря на все старания вспомнить важное событие того времени, которое далее фигурировало в нашем деле в НКВД, мне так и не удается уточнить год и более точную дату исчезновения Рудакова из нашей лаборатории, то есть момент его ухода в Маньчжурию. Просто он перестал показываться в лаборатории, и мы шепотком стали между собой строить предположения на этот счет, радуясь в душе снятию с нас этой ненужной опеки. При прочтении перед судом нашего группового «дела» я, помнится, с удивлением узнал, что Рудаков уходил чуть ли не из квартиры Курнаева, но, вероятнее всего, это была такая же «липа», как и прочие «факты», выбитые из нас следователями. Словом, событие это миновало, и мы о нем почти забыли; Курнаев тогда же предложил нам между собой решить вопрос с заведованием лабораторией. У меня не было никакого стремления к административным делам, и я сразу отказался в пользу Михаила. Правда, долго заведовать Михаилу тогда не пришлось, так как в ТИРХ-ТИНРО прибыли из Москвы (ВНИРО) два инженера, и один из них – Иван Афанасьевич Денисов (член ВКПб) сразу же был назначен нашим завом, хотя это не было согласовано даже с Курнаевым, – такие тогда были порядки! На новой территории лаборатория расширилась, к нам перешел Григорий Григорьевич Кириллов, а также однокурсница Лены Лаговской – тоже Лена, но Калетина.

Иван Афанасьевич был человеком крайне замкнутым, необщительным и, несмотря на мое искреннее намерение с ним ближе сойтись, ничего из этого не вышло. Мне думается, что Иван Афанасьевич был тогда настроен против нас «органами», хотя впоследствии выяснилось, что он просто психически большой человек. Занимался он тогда в лаборатории приготовлением так называемого пата – серебристого вещества рыбьей чешуи, который стали использовать для подделки жемчуга. В институте пищевого профиля в условиях голодной страны тема эта отнюдь не блистала «актуальностью», но для «партай-геноссе» и это годилось. Как химик Денисов был весьма слабоват, но был достаточно умен, чтобы сознавать это. Словом, период его пребывания в лаборатории (в общем непродолжительный – он заболел и уехал) ничем существенным отмечен не был.

Теперь мне пора рассказать о Кириллове, или Гри-Гри, как его все называли. Это был человек лет 35. Успел он побывать, видимо неокончившим курс студентом, на войне, в чины не вышел, но не был и рядовым. Владел французским, менее немецким и чуть-чуть латынью, то есть явно был выходцем из интеллигентной семьи и получил гимназическое образование. Во Владивосток (вместе с В.Т. Быковым) он попал из Читы вместе с естественным отделением пединститута, переведенного на Дальний Восток. Дипломную работу делал в лаборатории Любарского.

С ним было интересно побеседовать на литературные темы, был он начитан, но химию явно не любил и работой тяготился. Уже будучи сотрудником лаборатории женился на женщине с сильным характером, быстро попал ей под каблучок и превратился в «домашнего хозяина», то есть только и помышлял о добывании денег и пропитания. Он постоянно казался невыспавшимся и крайне утомленным, дремал за рабочим столом и науку «двигал» весьма слабо и без какого-либо интереса. Мы, беззаботные холостяки, с иронией и известным пренебрежением относились к его постоянным «тайным» отлучкам в магазины и прочим хозяйственным хлопотам. Словом, Гри-Гри был в лаборатории в роли доброго дядушки, над которым все слегка подшучивали, но, увы, его научная деятельность была впоследствии оценена «органами» как саботаж.

Перед нашей лабораторией в тот период была поставлена новая и трудная задача. Жировой дефицит в стране, а также зарождающийся китобойный промысел, суливший стать источником новой жировой продукции, естественно, привели к необходимости использования в пищу морских жиров. Чтобы лишить их специфического запаха и превратить в твердый продукт, необходимо было присоединить водород к двойным связям их жирных кислот, то есть прогидрировать. В городе Уссурийске (тогда – Ворошилов-Уссурийский) незадолго до того был пущен гидрогенизационный завод, перерабатывавший жидкие растительные масла (подсолнечное, соевое) в «саломас» – твердое растительное сало. Первые попытки гидрирования ивасевого жира, предпринятые заводом, были неудачны. Нам с Михаилом было поручено разобраться в причине этих неудач.

Мы отправились в Уссурийск и поселились у пожилой вдовы, дети которой разлетелись по свету (нас рекомендовал кто-то из сотрудников ТИПРО). Нам отвели комнату в большом пустующем доме, и мы поочередно по 12 часов стали вести наблюдения за процессом гидрирования. После напряженной недели стало посвободнее, и мы не знали, как использовать досуг в чужом городе. Тут наша хозяйка стала обучать нас игре в преферанс, и этому занятию подчас отводились целые дни. Помню вечерние чаепития, когда наша заботливая кормилица потчевала нас свежим вишневым вареньем, приготовленном по особому рецепту. Уссурийск в ту пору никакого интереса не вызывал, был он большой пыльной деревней, окружавшей группу кирпичных военных казарм. Наконец-то затянувшиеся не по нашей вине опыты были завершены, и мы возвратились во Владивосток, тепло простившись с нашей хозяйкой.

Началась аналитическая обработка того материала, который был собран в период экспериментов по гидрированию. Времени отняла она у нас страшно много, а результаты, во всяком случае важные производственникам, оказались скудными. Было ясно, что исходный жир следует хорошенько очистить, прежде чем пускать его в столь тонкую и прихотливую обработку, какой является каталитическое гидрирование. Это мы отчасти предвидели еще до начала опытов, но попробуй тогда возразить

против данной команды свыше! Увы, такова была в ту пору судьба многих научных начинаний, когда здоровая и перспективная инициатива превращалась в нелепость от понуканий и угроз высокого начальства, спешившего нажать себе политический капитал.

В это время работа в лаборатории занимала все мое время. Трудный вопрос с питанием решался просто: в ТИПРО функционировала столовая, которая кормила регулярно, хотя и, бог знает, чем (дежурное блюдо – пшенная бабка с морской капустой!). Впрочем, я всегда был сторонником примитивной кухни и вполне удовлетворялся ее обедами. Когда все расходилось из лаборатории, мы варили чай и часто закусывали остатками рыбных консервов, которые постоянно присылались нам на анализ. Ежедневно мы засиживались до позднего вечера, но зато работа развивалась очень успешно.

В зиму 1932/33 года мне впервые пришлось выступить в роли педагога (частные уроки я не считаю). И вот как это случилось. В том же здании, где помещался ТИПРО, сумели разместить недавно созданный во Владивостоке Дальрыбвтуз. На третьем курсе студентов разделили на три факультета. Один из них близко соответствовал биологическому факультету университета, но с узким промысловым уклоном. На нем собрался очень сильный контингент студентов. Назову тех, кого сохранила память. Петр Алексеевич Моисеев, конечно, был самым преуспевающим: ему предстояло в будущем стать директором ТИПРО (в 1951-1955 годах), заместителем директора ВНИРО и, наконец, заместителем министра рыбной промышленности СССР. Толя Таранец, бывший мой соученик по техникуму (он учился на землеустроительном отделении), впоследствии один из талантливейших ученых-биологов ТИПРО, к сожалению, рано погиб на войне. Доктор биологических наук Никулин, специализировавшийся по морским млекопитающим, много работал с американскими учеными по сохранению тихоокеанского стада ластоногих. Зенкович – с первых дней участвовал в освоении китобойного промысла и сделал на этом быструю карьеру. Из женской половины курса помню Люсю Микулич, Демидову, Науменко, видных ученых-биологов, всю свою жизнь посвятивших проблемам дальневосточного рыбного хозяйства.

И вот такая талантливая и любознательная группа молодежи неожиданно стала моими слушателями. Произошло это так: курс органической химии им начал читать профессор Бранке. После первого семестра он сильно заболел, и замена ему не находилась. Пользуясь либеральным отношением в те годы к цензовому уровню преподавателей вузов, Бранке рекомендовал дирекции Дальрыбвтуза поручить мне завершение лекционной программы в должности ассистента. В то время я уже завершал сдачу экстерном экзаменов за курс химфака ДВГУ. Но формально я был всего-то инженером узкой специальности, и был мне от роду лишь 21 год. Правда, органическую химию в объеме предстоящего к прочтению курса я знал отлично – не прошли

даром двухлетнее посещение лаборатории Любарского, московские вечера, проведенные в библиотеках в 1929-1930 годах, да и постоянную работу с литературой по химии я никогда не прекращал. Но никакого педагогического опыта у меня, конечно, не было. К тому же моими будущими студентами оказались те самые ребята и девчата, с которыми мы порой просиживали вечера у костра на острове Путятин летом 1931 года. И все же я решился за это дело взяться. Если бы я только мог предвидеть, какую организованную кампанию затеют эти славные, но беспощадные девчата! Задействовано было все: и глазки на лекциях мне строили, и непрерывные сторонние вопросы задавали, и записки с назначением свидания в карманы мне попадали! В конце концов я побеседовал с Толей Таранцом и Петей Моисеевым, они своим авторитетом смогли унять расхоронившихся девчат, и занятия пошли нормальным руслом. К сдаче зачетов Юлий Владимирович поправился и в общем оценил знания моих подопечных достаточно высоко.

Я уже упомянул, что был зачислен экстерном на химфак университета. От сдачи некоторых общеобразовательных предметов меня освободили, поскольку, например, курс аналитической геометрии, прослушанный мною в техникуме у В.А. Иванова, был много шире того, что предлагался студентам-химикам университета. Помню свою долгую беседу с профессором Туранским, астрономом и заведующим кафедрой математики университета. Расспросив меня основательно о том объеме и уровне математических знаний, который нам был преподан в техникуме, Туранский взял у меня зачетку и поставил свои подписи по всем математическим дисциплинам. Примерно та же история повторилась у профессора Луговкина, читавшего курсы аналитической химии. Ко времени сдачи зачета у меня уже были собственные методические разработки и публикации, поэтому процедура сдачи зачета превращалась в почти товарищескую беседу. Хуже было с курсами так называемых общественных наук. Сколько времени я бесполезно затратил на зубрежку всяческих дат, а также формулировок, отступление от которых считалось великим криминалом! Скоро возникло и другое затруднение: в деканате университета еще не было программ и преподавателей по дисциплинам старших курсов, а я уже обогнал старшую очную группу студентов по сданным зачетам. Пришлось брать разовые направления к профессуре ДВПИ, каждый раз упрашивая их найти время для приема зачета. Все это оттягивало момент получения диплома.

Летом 1932 года Владивосток посетил Владимир Леонтьевич Комаров для организации Дальневосточного филиала Академии наук. Он кропотливо обследовал все имевшиеся тогда во Владивостоке учебные и исследовательские институты, чтобы ознакомиться с «кадровым потенциалом» местных ученых и присмотреть кандидатуры для привлечения к работе в филиале. Посетил он и ТИПРО и особенно подробно беседовал со мной и Михаилом. Был он тогда подвижен и отнюдь не

дрякл. Его чуть прищуренный взгляд загорался живым интересом и воодушевлял нас, его желторотых собеседников. На левой руке он носил черную лайковую перчатку, которую временами тайком почесывал – его донимала какая-то трудноизлечимая экзема.

Очень заинтересовался нашими идеями и работами, посвященными различиям состава жиров наземной и водной фауны и флоры, а также нашим намерением со временем вернуться к работам по сопряженной гидрогенизации. Через несколько дней мы получили от него предложение принять участие в качестве совместителей в работе Филиала. Посоветовавшись с Евгением Федоровичем, мы дали такое согласие и назвали темы, по которым намеревались начать работу. С этой минуты вся моя научная деятельность, кроме периода колымской ссылки, была связана с дальневосточной академической наукой. Подобные совместительства тогда широко практиковались из-за нехватки кадров ученых, врачей и инженеров.

Поскольку никакой своей экспериментальной базы у Филиала в ту пору не было, Комаров договорился с Курнаевым и директором ТИПРО В.Д. Болховитяновым о том, что мы начнем работу в жировой лаборатории ТИПРО. Забегая несколько вперед, хочу отметить, что за два года работы совместителями мы выполнили два исследования, посвященных гидрированию морских жиров, и их результаты были опубликованы в «Вестнике ДВ филиала» («Гидрирование твердой фракции («стеарина») жира иваси») и «О действии кизельгура на жиры при высоких температурах»).

**Ч**тобы закончить описание событий того периода моей жизни, расскажу о наших семейных делах. Олечка в 1932 году закончила строительный факультет ДВПИ и была направлена на строительство первого в городе хлебозавода, который продолжает функционировать и по сей день. За год до этого Оля была на практике в Москве и участвовала в разборке взорванного храма Христа Спасителя. Мама продолжала работать в лаборатории краевой больницы, увлекалась проблемами переливания крови, выписывала журнал «Клинише Вохеншриффт» (тогда врачи и ученые имели право на небольшие валютные литературные приобретения). В ту зиму мы, как никогда ранее часто, собирались с братьями Киселевыми. Обычно начинали вечером в субботу и музицировали всю ночь до воскресного утра. В тот период мне пришлось переквалифицироваться в альтиста, так как наш прошлый компаньон Онуфриев куда-то исчез. Полагаю, что он был уже тогда арестован. Партию второй скрипки стал осваивать Витя Фролов.

В это же время очень неблагоприятная история произошла в семье Михаила Белопольского. У Бранке в университетской лаборатории работала выпускница техникума и соученица Лены Лаговской – Шура Курбацкая, веселая своенравная девушка. С ней у Михаила завязался роман, и в результате появился ребенок – сын Алексей. Так вот, мать Михаила, Полина Афанасьевна, наотрез отказалась принять внука и золовку в свой дом. Вероятно,

и Михаил не проявлял при этом особой настойчивости. Бедная Шура кочевала с ребенком по случайным квартирам, и лишь лето 1934 года, я помню, они провели вместе с Мишей на даче. Все знакомые Михаила, а особенно женщины, глубоко возмущались бессердечием этой старухи и ее эгоизмом. В дальнейшем семейная жизнь Шуры с Михаилом так и не сложилась, и Шура впоследствии вышла замуж за ассистента Бранке – Ф.Ф. Попова.

Весной 1933 года я побывал в командировке в Москве и Ленинграде. Мне удалось присутствовать на очередной конференции по кинетике и катализу, которая проходила при Карповском институте. Она была немногочисленной (человек 70-90), но на ней собрался весь цвет советской науки (Рогинский, Фрумкин, Дубинин, Дерягин<sup>1</sup> и др.), а также зарубежные гости (Поляни и Айринг). Меня интересовали вопросы механизма гидрогенизационного катализа, и я очень много получил от этого посещения. Побывал я в Ленинграде в лаборатории академика В.Н. Ипатьева<sup>2</sup> (его, правда, в СССР уже не было). Лабораторией руководил тогда А.Д. Петров, и при его поддержке я пытался заказать механику лаборатории Дурасову изготовление автоклавов высокого давления, необходимых мне для работ по сопряженной гидрогенизации. К сожалению, из-за отсутствия нужной (легированной) стали осуществить это так и не удалось. Лаборатория показалась мне совсем маленькой и, сколько помню, помещалась в обычном доме с частными квартирами где-то на одной из первых линий Васильевского острова. Для получения практических навыков в работе с аппаратурой высокого давления я провел несколько операций гидрирования на автоклавах лаборатории. Мой непосредственный наставник в этих делах Илья Захарович Иванов подробно расспрашивал меня о Дальнем Востоке, Камчатке. Он собирался переехать во вновь открываемую вулканологическую станцию на Камчатке. Как мне стало потом известно, это его решение было вызвано надеждой на новом месте избавиться от пристрастия к алкоголю. Увы, это ему не помогло. Был я в ту поездку и в ГИВД (Государственном институте высоких давлений), располагавшемся вместе с институтом прикладной химии на Ватном острове. Большое впечатление оставил автоклавный зал: длинный коридор из бетона с комнатками-клетушками, в каждой из которых стоял автоклав. Задняя стена этих клетушек была деревянной, при взрыве автоклава ее просто выносило в Неву, и других поврежденных взрыв не приносил. Очень полезными были беседы с сотрудниками ГИВДа Немцовым и Молдавским, будущими узниками ГУЛАГа.

<sup>1</sup> Рогинский Симон Залманович (1900-1970) – физико-химик, член-корреспондент АН СССР; Фрумкин Александр Наумович (1895-1976) – академик, электрохимик; Дубинин Михаил Михайлович (1900-1993) – академик, специалист по адсорбции; Дерягин Борис Владимирович (1902-1994) – член-корреспондент АН СССР, физико-химик.

<sup>2</sup> Ипатьев Владимир Николаевич (1867-1952) – знаменитый химик-органик, академик с 1916 года, умер в эмиграции в Чикаго.

Я, конечно, посетил и Николая Николаевича Андреева, но, к сожалению, он был в отъезде. Чтобы не обременять знакомых, я останавливался в гостинице ЦЕКУБУ (Центральной комиссии улучшения быта ученых), которая располагалась в бывшем дворце возле Эрмитажа. Это было очень удобно, да и кормили там неплохо.

(Я прочитал написанное. Оно отражает почти треть того, что я вообще собирался написать. И меня поразило одно: как часто я возвращаюсь к проблеме питания, его наличия и способам добывания. Вот уж воистину голодный век мне достался!)

Полный впечатлений и планов на будущее, возвращался я во Владивосток. Но сразу взяться за дела не удалось: всех основных сотрудников технохимического отдела расслали в экспедиции и на рыбные промыслы. Это называлась «помощью науки производству». Мне пришлось отправиться на опытный промысел ТИПРО, который располагался в небольшой деревушке Кошка в бухте Ольги и километрах в пяти от районного центра того же названия. Туда же парходом должны были подъехать Михаил, Лена Лаговская и кто-то еще из сотрудников.

Я же выехал вместе с экспедиционным грузом на маленьком катере (марки «Ж»), который к тому же вез на буксире большую шаланду с грузом серной кислоты для йодового завода, расположенного в бухте Владимира, чуть севернее Ольги. Я был единственным пассажиром, но и мне едва нашлось место в крохотном кубрике катера. На шаланде рулевым ехал китаец, он панически боялся груза, который сопровождал (стеклянные бутылки в плетеных корзинах). Чуть крепчал ветер и поднималась качка, он начинал махать руками и что-то выкрикивать по-китайски. С погодой нам не везло. Стоило пересечь Уссурийский залив и добраться до мыса Поворотный, как крепко заштормило, пришлось на ночь прятаться в маленькую бухточку (вероятно, Малая Тазгоу). К утру ветер стих, но уже через час после отплытия нам в корму ударил форменный шквал. Опять пришлось зайти в устье реки Судзухэ<sup>1</sup> и простоять там остаток дня и ночь. Помню, я там отлично порыбачил и кроме кучи красноперки вытащил солидного тайменя (Хуго перри). Команда катера, состоявшая из трех человек, отнюдь не тяготилась происшедшими задержками. Кроме старшины, человека лет тридцати, это были почти мальчишки моего возраста.

Чуть свет отправились дальше. День разгулялся; расположившись на крыше кубрика, я с живейшим вниманием наблюдал за уходившими назад обрывистыми скалами, всплесками каких-то крупных рыб или дельфинов, напуганных шумом нашего движка. Время от времени нам встречались кавасаки, возвращавшиеся с ночного промысла с сетями, полными иваси, ближе к полудню обогнал какой-то обшарпанный ржавый парходик. Но погода опять стала портиться, небо затянулось мглой, поднялся сильный юго-восточный ветер. Нас стало бросать с борта на борт, и китаец на шаланде кричал уже

<sup>1</sup> Ныне река Киевка.



бесперывно. Закапризничал движок, временами он глох, потом вдруг начал колотить со страшной силой, когда волна поднимала корму над поверхностью и обнажался винт. Наконец, движок заглох совсем, и нас вместе с буксируемой шаландой понесло к берегу. Мы в это время находились прямо против устья реки Пфусунг<sup>1</sup>, но чтобы зайти туда, нужно было пройти участок против ветра. Моторист и матрос корчились от морской болезни, и старшина попросил меня помочь завести двигатель. Эти паршивые дизеля с запальными свечами, сделанными из фильтровальной бумаги, пропитанной селитрой, были ужасно капризны, и наши старания ни к чему не привели. Положение становилось угрожающим. В это время из устья речки выскочил малюсенький катерок, который, подойдя к нам, принял конец и стал из всех сил подтягивать нас к устью. Как он ни пыжился, но мы практически оставались на месте. Прекратилась только бортовая качка, и сразу же завелся движок. Мы лихо обогнули песчаную косу, вошли в речку и пришвартовались к небольшой деревянной пристани. Мы не знали, как и благодарить наших спасателей, однако флажка с лабораторным спиртом была ими принята с восторгом — две недели им не завозили водку.

Все были вымотаны, но чувство избавления от опасности позволило быстро справиться с усталостью, и я решил побродить в окрестностях поселка. Чуть ли не из каждой бровки польничка, разделявшего поля, с шумом и клубами пыли вылетали выводки фазанов, причем птенцы, несмотря на начало лета, тоже пытались подняться на крыло. Число этих красавцев-птиц было просто фантастическим, точно я забрел в специально культивируемый фазанарий. Но человек безоглядно эгоистичен. Мне довелось побывать в тех же местах осенью 1988 года. Сколько ни бродили мы со спаниелем вдоль полей, ни одна птица не поднялась, несмотря на отличную работу собаки...

Наутро рано покинули гостеприимный Пфусунг и в густейшем тумане вышли в море. До Ольги оставался один переход, и все прошло благополучно. Солнце уже клонилось к горизонту, когда, миновав по правому борту скалистый островок Чихачева, мы вошли в широкую спокойную бухту Ольги. В сумерках ошвартовались у маленького пирса поселка Кошка. Нас приветствовал К.А. Башкиров, исполнявший обязанности начальника промысла, организовал выгрузку снаряжения и повел меня на отдых в небольшой домик, которому предстояло стать и лабораторией, и нашим жильем. Земля еще долго ходила ходуном под ногами после почти пятидневного плавания. Лена Лаговская, оказывается, уже приехала пароходом, но ее поселили отдельно на частной квартире. На следующий день тоже пароходом прибыл Михаил с остальными сотрудниками. Нам предстояло периодически проводить анализ разных частей иваси (влага, зола, жир, азот, фосфор) и заготавливать образцы жиров для последующего детального анализа. Бухта Ольги представляла для этого прекрасные возможности, так как кроме морских рыб здесь в реке Авакумовке можно было добывать и многих представителей пресноводных

<sup>1</sup> Ныне река Маргаритовка.

рыб. У меня, кроме того, было еще одно неприятнейшее «персональное» задание. Кто-то из руководства дальневосточной рыбной промышленностью вычитал в популярном журнале ссылку на статью канадского ученого, рассказывающую о том, что им подобран такой вид личинок насекомых, которые, поедая рыбные отходы, синтезируют жир, вполне пригодный для пищевых целей. Дефицит пищевых жиров у нас в те годы был чрезвычайный, и заметка произвела на этого командира промышленности определенное впечатление. И вот последовал приказ: ТИПРО заняться изучением жира «червей», поедающих отходы иваси. Забегая вперед, скажу, что ничего путного из этой нелепой затеи не вышло, отделение мушинных личинок от рыбных костей было практически неосуществимо, в личинках содержалось сравнительно мало жира, и последний содержал те же компоненты, что и жир их пищи, т. е. иваси.

Работа у нас спорилась, Башкиров старался во всем нам помогать, и жили мы довольно весело. Вокруг промысла Кошка стояла почти нетронутая дальневосточная тайга со всеми ее красотами. Купание в море занимало значительную часть нашего досуга, и даже в ненастную погоду мы бегали «купнуться». Интересно вспомнить, что в самом облюбованном нами для купания месте незадолго до того утопили большой паровой котел. Перед самым нашим отъездом пришел плавучий кран, котел вытащили и поместили на плашкоут. Ко всеобщему удивлению, из него выполз пятидесятикилограммовый осьминог. А мы-то постоянно пытались доныривать до этого злополучного котла.

Пошло время рассказать об одном давнем «секрете», который я старательно утаивал от близких и товарищей. В ту пору, когда мы с Я.А. Шугалом смонтировали мощную рентгеновскую установку для дефектоскопии бакелитовых изделий и так бездумно стали на ней работать, что нас послали с полученными ожогами на медицинскую комиссию. Мне попался молодой хлыщеватый врач, который, чтобы продемонстрировать свою эрудицию, стал перечислять все возможные последствия нашей неосторожности. Одно его предсказание – раннее облысение – действительно сбывалось. Другому – что у меня не будет детей – я вынужден был поверить. Вначале я отнесся к этому с мальчишеской легкомысленностью, но потом, когда стал задумываться о своем праве создать семью, меня по-серьезному стала угнетать эта моя неполноценность.

С Леной Лаговской у нас установились теплые взаимоотношения, и она стала мне близка более чем по-дружески. Ее больно задевали комплименты, которые я совершенно бездумно порой адресовал кому-либо из сотрудниц. Я отлично знал членов ее семьи, все они были мне милы и симпатичны. Лена была очень привлекательна в ту пору, а мне было 22 года и, естественно, я не мог заставить себя быть с ней совершенно холодным. Как-то вечером, задержавшись с ней в лаборатории, я, погасив настольную лампу, стал выводить

Лену из лаборатории, взяв ее за руку. Мы поцеловались и еще несколько минут не спешили выйти из комнаты. Теперь, будучи на опытном промысле, я часто вечерами прогуливался с ней к морю, подолгу просиживал на сложенных там бревнах, любуясь лунными бликами на тихой поверхности бухты. О чем мы беседовали? Я не могу сейчас восстановить в памяти существо и тон этих бесед. Но все же иносказательно я ей постарался объяснить, что именно лишает меня права ответить на ее чувства. Не знаю, в полной ли мере она это поняла и поверила, но в отношении ко мне никаких перемен не произошло, и я чувствовал, что она ждет от меня дальнейших шагов к нашему сближению. Одна наша дальняя экскурсия в сторону залива Владимира, когда мы, очутившись вдвоем в маленькой уютной бухточке, стали купаться, едва не решила нашу судьбу, но тогда я счел бы себя подлецом, если бы дал волю своим чувствам. После этого наши отношения стали более натянутыми. Лена чувствовала, что я ее всячески избегаю, и это ее жестоко обижало. Конеч пребывания на опытном промысле прошел под знаком этой обиды.

Как ни счастливо, в общем, провели мы эти летние месяцы в бухте Ольги, но пора было возвращаться во Владивосток. Добирались мы все вместе пароходом, каюты были забиты пассажирами, и мы устроились на палубе возле трубы, где через металлическую решетку выходил теплый воздух из машинного отделения. В море, особенно ночью, было по-осеннему свежо, и мы в легких летних одежках порядком-таки мерзли. Но первые же лучи утреннего солнца сразу нас согрели, и весь долгий день мы провели на палубе, любуясь и живописным побережьем, и морскими просторами. Поздно вечером вошли в бухту Золотой Рог, и опять, как и в 1931 году, после долгой жизни на Путятине город встретил нас прежде всего канонадой запахов. Уже через день о них забываешь, но первое впечатление просто оглушающее. Возможно, что эти ощущения свойственны только мне — я как-то ни с кем об этом не говорил.

Дома была радостная встреча, но уже на другой день я обратил внимание на фотографию губастого парня, появившуюся в Олечкиной комнате. Мама со мной поделилась своими опасениями относительно Олечкиного выбора, но Оля, видно, впервые искренне полюбила этого человека. Это был Павел Федосеевич Кравчук, и он вскоре стал Олиным мужем. Он был старшим сыном в семье сучанского шахтера. Были у него брат и сестра, и вся эта семья выходила в жизнь через партийно-комсомольскую деятельность. Они были выходцами из мира, глубоко чуждого нашей семье сложившимися в ней отношениям, этическими принципам и политическими взглядами.

Павел в ту пору был директором городского трамвайного парка — фигурой достаточно известной в городе. В тот год шло строительство участка трамвайной линии от Первой Речки до 3-й Рабочей улицы, а с Китайской<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ныне — Океанский проспект.

линия переносилась на Алеутскую. Горожане принимали деятельное участие в этой «народной» стройке, и имя Кравчука у всех было на языке.

Не могу умолчать о чувстве неприязни, которое вначале возникло у меня к Павлу. Его появление разрушало наш семейный мирок, выдержавший годы всяческих испытаний и напастей и очень тесно нас сроднивших. Скоро выяснилось, что Павел получает большую квартиру на Дегеровской улице (ее, наверное, уже никто не помнит, — она шла от Светланской в гору в районе Дальзавода). К весне 1934 года стало известно, что Оля ожидает ребенка, и мама решила на время переселиться к ней. К тому же жильцам нашего дома объявили, что из-за неисправности обогревающего котла водяное отопление в доме зимой работать не будет. Нужно было принимать какие-то меры, и я решил установить «буржуйку» в одной из комнат, а остальные не отапливать. Трубу от «буржуйки» нужно было куда-то вывести, и вот я стал пробивать отверстие в стене, отделявшей нашу бывшую столовую от кухни, где была плита с нормальной вытяжкой. Бог ты мой! — какой это оказался тяжкий каторжный труд: 85 сантиметров бутовой кладки из крепчайшего песчаника нужно было одолеть шлямбуром и расширить отверстие для трубы. Когда дело было сделано, на руках моих остались солидные мозоли. Хуже всего было то, что печка сильно дымила, а при выгребании золы перед растопкой (по утрам все это делалось в спешке и на холоду) пыль разлеталась по всей квартире. Вскоре из вполне жилого помещения она превратилась в запущенную берлогу, но меня это мало смущало. Я был всецело увлечен работой, дома лишь ночевал, а обеды брал в одной семье (у Беловых, о них речь еще впереди) — утром заносил судки, а вечером забирал обед.

В институте политическая обстановка обострялась. Прошла чистка совпартата, собирались отчислить Михаила, но Курнаев его с великим трудом отстоял. Среди ученых-биологов (ихтиологов, гидробиологов и др.) происходили резкие дискуссии, где наука подвергалась атакам политиков и хозяйственников, требовавших беспредельного расширения районов промысла и увеличения квот вылова рыбы (страна голодала). Хотя и не многие, но находились достойные ученые, поднимавшие голос против подобного необратимого разграбления природы. Но наши исследования под крылышком Курнаева шли нормально и приносили важные новые результаты. Должен был выйти из печати сборник наших работ, писались новые статьи. Я досдавал последние экзамены в университете.

**К**весне 1934 года я так вымотался, что стало пошаливать сердце. Мама настояла на том, чтобы я съездил в Кисловодск подлечиться. Путевку в санаторий я без труда получил, а мама на последние сохранившиеся у нее иены купила мне в магазине торгсина два шикарных костюма. И вот я опять в Москве, останавливаюсь у Мишуковых и через два дня еду уже на юг. По путевке ЦЕКУБУ (Центральная комиссия улучшения быта ученых) попадаю в роскошный санаторий в самом центре города, над нарзаном.

Тут мне следует немного отвлечься и рассказать об Алле Чубатых. Соученица по техникуму Лены, она пришла в нашу лабораторию где-то в конце 1932 года. С острым хорошеньким личиком, невысокого роста и с пышным бюстом, она сразу же взяла манеру подчеркивать свое особое ко мне отношение, хотя никаких поводов для этого я ей не давал. На этой почве между Леной и Аллой развилась резкая антипатия. В начале 1934 года родители Аллы решили переехать в Кисловодск, и вскоре она тоже последовала за ними.

И вот надо же было так случиться, что буквально вслед за ней явился в Кисловодск и я. В первые дни, пока не обзавелся знакомыми по санаторию, часто посещал семью Чубатых, мы знакомились с городом и окрестностями. Однажды вечером, когда я уходил от них, мать Аллы, проводив меня до калитки, вдруг поцеловала в лоб и тихо произнесла: «Мы с отцом согласны». Я до сих пор не знаю, искренне ли Алла поверила в то, что я ею увлечен и приехал ее посватать, или же это была своего рода женская дипломатия, рассчитанная на мою неопытность и мягкотелость. Так или иначе, но я решил резко оборвать сети, в которые невольно попал, и прекратил посещение их дома.

К этому времени у меня в санатории сложился круг интересных знакомых – любителей симфонической музыки. В парке курорта дважды в день давались концерты оркестра московской филармонии под управлением известного дирижера профессора Орлова. Одна из участниц нашей компании, видя мою увлеченность музыкой, как-то познакомила меня со своей приятельницей Эммой Борисовной Ривчун, скрипачкой второго пульта вторых скрипок. Знакомство состоялось, и между нами сразу же установились особые отношения. Эмма не была так уж хороша собой, много старше меня (ей шел уже 29-й год), но для меня с ее образом слилась чудесная музыка, которой я впервые в таком разнообразии и великолепном исполнении наслаждался, вся романтика южного живописнейшего города, его прошлое, связанное с именем Лермонтова.

С каждым днем мы становились все ближе друг другу, и, наконец, последовало объяснение. Эмма рассказала, что недавно рассталась с мужем (тоже скрипачом – Хазановым), что у нее есть девятилетняя дочка Мая, которую воспитывает мать Эммы (из-за частых разъездов оркестра). Все это произошло уже в последние дни моего пребывания в Кисловодске, и мы порешили осенью встретиться в Москве, чтобы проверить, насколько серьезны чувства, так неожиданно возникшие между нами.

Эта романтическая история имела для меня несколько прозаическое продолжение. Истратив все свои деньги на цветы для Эммы, я сел в поезд с кусочком копченой колбасы и баночкой с сахарным песком, завалывшимися в чемодане со времени переезда через Сибирь. И вот двое с половиной суток пути до Москвы я был вынужден провести на столь своеобразной диете... В Москве мои деньги оставались у Мишуковых.

Должен объяснить, почему я так уверенно планировал встречу с Эммой в Москве. Незадолго до моего выезда в Кисловодск во Владивостоке вновь появился В.А. Комаров. В тот период ученым секретарем филиала, а фактически (в отсутствие Комарова) вершителем всех дел был М.М. Мейсель. Будучи биологом, он с интересом и пониманием относился к нашей с Михаилом работе по жирам пресноводной и морской фауны, видел ее перспективы, и вот, очевидно по его рекомендации, Комаров предложил нам перейти в Филиал на основную работу, допуская продолжение совместительства в ТИПРО. Я сразу же на это согласился, а Михаил, учитывая повышенные требования в Академии к образовательному цензу, отказался. Более того, поскольку с университетом я дела завершал, Комаров предложил мне по моему выбору постажироваться в какой-нибудь московской академической лаборатории и начать выполнение диссертационной работы.

В этот приезд Комаров привез с собой трех химиков-докторантов (т. е. защитивших кандидатские диссертации и готовящихся к защите докторских), двух от академика А.Е. Фаворского из Ленинграда – В.О. Мохнача, П.А. Тихомолова и Константина Метелкина, уже не помню из какого академического института (о всех них я подробнее еще расскажу позднее). Посоветовавшись с Мохначом, я остановил свой выбор на лаборатории академика А.Е. Чичибабина<sup>1</sup> – ААСИН, т. е. лаборатории по анализу и синтезу природных соединений, так как судьба ленинградских академических учреждений находилась под вопросом – правительство их собиралось переводить в Москву. (В этом, между прочим, проявилось очередное самодурство Сталина, глубоко ненавидевшего все ленинградское.) Если бы не эти обстоятельства, то я, конечно, склонился бы в своем выборе к лаборатории академика В.Н. Ипатьева. Впрочем, как тот, так и другой оказались вскоре «невозвращенцами», и руководство лаборатории попало в руки случайных людей.

Пока я ездил в Кисловодск, вопрос решился благоприятно, и Михаил Максимович Кацнельсон (заместитель А.Е. Чичибабина) мне сообщил, что с октября я могу приступить к работе.

Лето 1934 года было наполнено для меня счастьем и любовью. Я часто писал Эмме и получал ее письма. Меня ожидала интересная работа в лучшей органической лаборатории страны. У Олечки родилась дочка Инночка, и я подолгу у них засиживался и забавлялся с этой малышкой, питая в душе надежду, что и у меня впоследствии еще могут быть дети. С Павлом я как-то примирился. Нужно отдать ему должное, он всегда был со мной приветлив, несмотря на мое явно прохладное к нему отношение. Словом, как это часто бывает, появление ребенка сняло многие семейные проблемы...

Я рассказал Олечке о встрече с Эммой и ее вероятных последствиях, но в самой «вероятностной» форме, и она как любящий и предусмотрительный человек сразу же указала мне на главное ожидающее нас препятст-

---

<sup>1</sup> Чичибабин Алексей Евгеньевич (1871-1945) – знаменитый русский химик-органик, академик АН СССР, автор учебника «Основные начала органической химии». Умер в эмиграции.

вие: кто-то из нас должен будет пожертвовать своей работой. Увы, к этому потом все и подошло.

**И** вот я опять в поезде на пути в Москву. Моими спутниками по купе на этот раз был Михаил Михайлович Сомов, сын бывшего директора ТИПРО, а впоследствии герой Антарктики. С ним была жена Серафима и малыш сын. Дорога показалась особенно долгой и тягостной — я так спешил в Москву к Эмме.

Остановился я, насколько помню, у Мишуковых. В первый же день отправился на Спартаковскую улицу, где жила Эмма и ее родные. Сразу же расскажу о них. Отец, Борис Григорьевич Ривчун, военный музыкант, дирижер образцового оркестра ЦДКА, был невысоким седоватым человеком с военной выправкой. Мать, Ида Эммануиловна, маленькая, седая, полная женщина, встретила меня любовно, как сына. И впоследствии она также тепло и заботливо ко мне относилась, тогда как Борис Григорьевич был несколько насторожен. Его трезвый ум уже тогда не видел, как же могут сложиться наши отношения с Эммой без серьезных жертв с чьей-либо стороны. Он, видимо, много сил вложил с детских лет Эммы в ее музыкальное образование (она была очень талантлива), устраивал ее ученицей к знаменитому педагогу Столярскому (они тогда жили еще в Одессе), и теперь мое появление могло нарушить музыкальную карьеру Эммы и свести на нет все его многолетние старания.

У Эммы были три брата и сестра. Со старшим — Мироном, военным врачом, я познакомился позже, так как он жил где-то на окраине или даже за пределами Москвы. Это был очень спокойный, сдержанный человек, в отличие от его экспансивной, всегда нарядной супруги. Средний брат, Рафаил, наименее мне симпатичный член этой большой семьи, имел манеру со всеми разговаривать несколько свысока, с некоторым подкусыванием и иронией, так, что порой появлялось желание ответить ему грубостью. Профессии его я не помню, но иногда он ходил в военной форме. Шура, самый славный и близкий мне по возрасту, тоже был музыкантом, играл на трубе, увлекался в ту пору еще полуправильным саксофоном и впоследствии стал ближайшим помощником и ведущим музыкантом Леонида Утесова.

Младшая сестра Дуся работала в Метрострое, ходила в юнштурмовке и во всем старалась себя проявить суровой ортодоксальной комсомолкой. После первых радостей встречи возник неизбежный вопрос: а где же нам поселиться? В этих поисках временного жилья принимала участие вся семья с ее обширной родней и знакомыми. Вскоре нашлась временно пустовавшая комнатка одного из музыкантов возле ЦДКА, и ключ от нее был нам вручен. Вот так, без свадебных торжеств и обрядов, мы начали с Эммой нашу совместную жизнь. Мне едва исполнилось 23 года, и Эмма стала первой моей женщиной. Нужно ли говорить, что все остальное, в том числе и работа, было для меня в те дни второстепенным?

Каждое утро Эмма ходила на репетиции в большой зал консерватории, а вечерами — часто на концерты в той же консерватории или клубах Москвы и Подмосковья. На все вечерние концерты я ее сопровождал. Я всегда получал контрамарки для входа, и какой только музыки не переслушал в ту зиму! С большинством музыкантов я успел познакомиться еще летом в Кисловодске. Были среди них люди самого различного возраста и характера, кое с кем установились даже товарищеские отношения. Весь оркестр с любопытством следил за развитием нашего романа с Эммой еще с кисловодских времен, и теперь меня признали членом этого громадного коллектива.

Хуже было с работой.

Когда я впервые пришел в лабораторию, где мне предстояло трудиться, она меня сразу разочаровала. Помещалась лаборатория в здании бывшей аптеки на Немецкой (тогда Баумановской) улице. Высокий полуподвальный (цокольный) первый и второй этажи с десятком комнат в каждом — вот и вся лаборатория знаменитого академика! Правда, у Чичибабина была еще лаборатория при кафедре Военно-химической академии, которой в ту пору руководил Николай Преображенский, но я так и не собрался там побывать. А ЛАСИН управлял М.М. Кацнельсон, пожилой еврей, давно уже охладевший к научному творчеству и сохранивший некоторую известность в химических кругах благодаря недавно выпущенной книге «Фармацевтическая химия». Он и был-то ученым фармацевтом, и, вероятно, по его инициативе академическая лаборатория находилась в постоянном соревновании, если не борьбе, с химико-фармацевтическим институтом, располагавшимся возле Zubовской площади, которым ведал тоже еврей О. Магидсон. Почему они не поладили, так и осталось для меня тайной.

Несмотря на невзрачность помещения и слабую оборудованность, люди, работавшие в ЛАСИН, были настоящими, хотя и очень молодыми учеными. Ни с одним из них, кроме мимолетной встречи с академиком И.А. Кнуньянцем, мне так и не довелось впоследствии повидаться. Поэтому опишу их такими, какими они сохранились в моей памяти с того времени. Иван Людвигович Кнуньянц, насмешливый и остроумный, был явным лидером среди остальных сотрудников и, хотя не стремился явно к этому лидерству, фактически руководил большей частью проводимых работ. Яков Лазаревич Гольдфарб, невысокий и поджарый, казался старшим других сотрудников, и я, удивляясь такому долголетию в науке, продолжал еще в 80-е годы встречать его публикации по химии производных тиофена. Он работал или преподавал еще где-то на стороне и в лаборатории бывал не регулярно.

Высокий, шумливый, говоривший всегда авторитетным баском, Геннадий Челинцев, впоследствии снискавший себе недобрую славу в дискуссии



по резонансу<sup>1</sup>, в ту пору запомнился постоянными жаркими спорами с Мартьяном Израилевичем Кабачником, которые исподтишка провоцировались Кнунынцем. Кабачник был тогда еще очень молод, экспансивен и слыл великим спорщиком, но его живой ум высоко ценился всеми, включая и скептического Кнунынца. Из братьев Преображенских старший ходил в военной форме, был занят в основном делами кафедры и в лаборатории появлялся сравнительно редко. Мне особо запомнился его блестящий доклад на общем собрании химиков-органиков Академии под председательством А.Е. Фаворского. Этот доклад был посвящен успешному окончанию полного синтеза пилокарпина и знаменателен тем, что воочую показал значение новых синтетических методов. Младший Преображенский (Борис) с женой работал очень обособленно (вероятно, над «закрытой» темой), мало с кем общался, и я ничего о нем рассказать не могу. Кроме этих ведущих сотрудников, в лаборатории, помнится, работали пожилая давняя сотрудница Чичибина Беневоленская, а также Герчук, Бродский, Костя Топчиев (судьба последнего неблагоприятна: он был осужден за растение малолетней).

Обстановка в лаборатории была в высшей степени демократичной. Среди дня техническая сотрудница (бывшая кухарка академика) приносила из столовой обед. За едой шла оживленная беседа, часто переходившая в жаркие споры (в них особенно повинен был всегда Челинцев).

Незадолго до моего появления в ЛАСИН группа сотрудников достигла крупного научного успеха: был расшифрован состав двух зарубежных противомаларийных препаратов, наделавших в свое время много шума. Мало того, были созданы аналоги этих препаратов, лишённые многих их отрицательных свойств. Речь идет о плазмоциде и акрихине. В Старой Купавне был выстроен завод «Акрихин», и сотрудники лаборатории часто ездили туда группами и в одиночку, помогая отлаживать отдельные стадии производства.

Ко мне Качельсон отнесся по старинной московской традиции: поручил мне работу, за которую никто не хотел браться. Лаборатория в прошлом проводила анализ и попутный синтез так называемых нафтеновых кислот — низкомолекулярных кислых компонентов сырой нефти. Эта группа природных соединений была представлена чрезвычайно большим числом изомерных соединений, преимущественно производных циклопентана и циклогексана с различными алифатическими заместителями и карбоксильными группами. По нынешним временами и с современной аппаратурой эта задача представлялась довольно рутинной, а тогда приходилось шаг за шагом синтезировать бесконечное множество близких аналогов и путем сравнения свойств делать выводы об их строении. Сложность предстоящей работы состояла в том, что следовало начинать синтезы «Аб ово», т. е. с создания простейших исход-

<sup>1</sup> Организованная профессором Г. Челинцевым дискуссия по теории резонанса Л. Полинга, имевшая целью «разоблачить идеалистические, реакционные воззрения Л. Полинга и его советских последователей», могла иметь такие же последствия для химиков, как печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ, организованная академиком Т.Д. Лысенко, для биологов. Но, к счастью, этого не произошло.

ных заготовок, которые отсутствовали на тогдашнем реактивном рынке, а, кроме того, целевые вещества нужно было наработать в идеально чистом виде, установить их константы (точки плавления и кипения, удельный вес и коэффициент преломления) и сохранить материал для лабораторной коллекции. Словом, я должен был синтезировать (1-метилциклопентил)-уксусную и 2-метил, 1-циклопентил-уксусную кислоты, в качестве же примера побочных работ, связанных с синтезом, укажу, что для получения исходного синтона — циклопентанона нужно было прогидрировать фенол в циклогексанон, последний окислить азотной кислотой в адипиновую кислоту, превратить ее пиролизом солей в циклопентанон и уже потом задумываться над путями, ведущими к целевым продуктам. Каждая из перечисленных подсобных операций выполнялась повторно для накопления материала и выяснения оптимальных условий синтеза.

Времени все это отнимало страшно много, задерживаться вечерами в лаборатории я возможности не имел, поэтому дело двигалось вперед крайне медленно. Никто меня за это не упрекал, так как все видели, что я тружусь «в поте лица своего», но время, отпущенное на командировку, быстро истекало. К тому же нужно было думать о жилье. Здесь мне неожиданно повезло. В Москве в ту пору на заводе «Кожимит» работал Кока (Николай) Журинский. Он закончил техникум во Владивостоке за год до меня (вместе с Михаилом) и, подобно мне, в 1928 году был распределен в Москву. Тут он женился, жил на квартире у жены, был, кажется, ребенок. Узнав при случайной встрече о моих бедствованиях, он вскоре сообщил по телефону в лабораторию, что представляется okazия с квартирой. Мужа его сотрудницы, крупного электроспеца, посылали на год в Штаты, и жена решила на этот срок сдать одну комнату в их квартире. Дело быстро сладилось, и мы с Эммой обрели удобное и надежное жилье. Квартира, куда мы переселились, находилась на пятом этаже единственного высотного (в 10 этажей) дома тогдашней Москвы в Большом Гнездиновском переулке возле самой Пушкинской площади и знаменитого Елисеевского магазина. Дом строился перед самой войной (в 1913 году) германским Обществом дешевых квартир. Квартиры в нем были трехкомнатные с совмещенным санузлом. Более того, единственная газовая плитка также располагалась в туалете, что создавало немало неудобств для хозяев и жильцов. Зато Эмма было очень близко добираться до консерватории, да и мне транспорт был удобен. В этом доме часто бывал (а быть может, и жил) Вышинский<sup>1</sup>, и я не раз поутру спускался с ним в лифте.

Однако наше спокойное житье вскоре было нарушено. В Ленинграде был убит Киров. На другой день Кока Журинский в ИТРовской столовой в разговоре с приятелем бросил фразу о том, что, мол, «вот романтическая история, а сделают из нее политическое дело»... Не

---

<sup>1</sup> Вышинский Андрей Януарьевич (1883-1954) — генеральный прокурор СССР, был обвинителем на большинстве крупных политических процессов в 30-50 годах.

прошло и трех дней, как Коку арестовали. Наша хозяйка (сугубо партийный товарищ) заявила, что ее компрометирует наше присутствие (знакомые контрреволюционера!) в ее квартире. Пришлось просить Бориса Григорьевича зайти к нам вечерком во всех регалиях и переговорить с хозяйкой. К счастью, эта мера подействовала и даже внушила к нам некоторое почтение. Наша счастливая жизнь продолжалась, но, увы! – в характере Эммы определилась неприятная черта – она оказалась очень ревнивой. Тут, конечно, сказалась разница в нашем возрасте, хотя у меня и в мыслях тогда не было замечать кого-то из женщин, кроме нее.

Подошла весна 1935 года. В Москве было три сенсации: разбился самолет «Максим Горький», запустили первую очередь метро, в кинотеатрах шел фильм «Под крышами Парижа». При всей заурядности сюжета этого фильма музыка и игра артистов всех покорили. Песенки из него распевала вся Москва. Работа моя приближалась к успешному завершению, а срок прикомандирования к концу. Надо заметить, что жили мы с Эммой радостями каждого дня, не задумываясь сколько-нибудь серьезно о будущем. Мои робкие попытки заикнуться в комиссии по филиалам и базам Академии наук о намерении остаться в Москве были встречены более чем холодно, а на прощупывание перспективы с жильем в кадрах было отвечено, что сейчас в Москве негде селить профессуру и академиков из Ленинграда, а мне и заикаться нечего. Вот, мол, вернетесь во Владивосток, поработаете годика 3-4, защитите диссертацию, тогда приезжайте, и мы вам поможем. С тяжелым сердцем поведал я об этих переговорах Эмме, долго мы судили и рядили и, наконец, пришли к тому, что я вернусь во Владивосток, Эмма съездит в летнюю поездку оркестра по курортам, а потом придет ко мне.

Я передал Кацнельсону для публикации в «Докладах АН» рукописи двух статей, посвященных синтезу, тепло простился с коллегами по ЛАСИН. Прощание с семьей Эммы было более огорчительным. Борис Григорьевич надулся, и только мама Эммы ласково со мной простилась. Опять утомительный путь через Сибирь, но я вез с собой так много всяческой информации, что скучать было некогда. Во время жизни в Москве я по выходным дням, когда у Эммы были дневные концерты, просиживал в библиотеках и слал Михаилу конспекты статей по химии морских жиров.

**В**ладивосток встретил меня большими переменами. Курнаев уезжал в Москву, чтобы заняться обработкой громадного накопленного за годы работы лаборатории цифрового материала. Его приемником стала гаденькая личность и явный агент НКВД Фауст Иннокентьевич Хренов (хороша комбинация!). Обстановка в теххимическом отделе становилась все более напряженной. Чтобы рассказать об этом времени, я должен вернуться далеко назад и назвать ряд имен сотрудников, которые ранее не упоминал. Иван Иванович Трейман, магистр фармации и милейший человек, заведовал йодно-водородослевой лабораторией еще с 1930 года. Назначение этой лабора-

тории вначале заключалось в сборе сведений по содержанию йода в ламинарии (морской капусте) по разным районам побережья Дальнего Востока. Позже, когда в заливе Владимира был выстроен йодовый завод, лаборатория стала заниматься разработкой технологии получения агар-агара, извлекаемого из других водорослей. Ближайшим помощником Треймана был Игорь Владимирович Кизеветтер. О нем я должен рассказать подробнее, так как он сыграл роковую роль в судьбе всего нашего коллектива лаборатории.

Соученик по техникуму Белопольского, высокий, плечистый шатен с синими чуть навывкате глазами, он с малых лет занимался спортом. По конькам он в городских соревнованиях претендовал на первые места, в баскетбол играл в команде «Динамо» — привилегированной спортивной организации милиции и ГПУ. В своей группе в техникуме Кизеветтер всегда ходил в лидерах, если не по академической успеваемости, то по кулачному авторитету. Он уже на 4-м курсе техникума считался женихом своей соученицы Зои Тарасовой, славной девушки, увлекавшейся музыкой и ближе мне знакомой через Олю, с которой она занималась у одного педагога. Игорь имел манеру с товарищами разговаривать чуть свысока, как будто имел дело с мелкими людьми, но Михаила, да и меня из этой категории исключал, поскольку в его «расположении» мы вовсе не нуждались. Отцы Игоря и Михаила были чем-то связаны в прошлом, до советизации Владивостока, и это как-то сблизало сыновей. Игорь умел продуктивно работать, но спешил с выводами, и на этой почве у него возникла неприязнь к Трейману, который с немецкой пунктуальностью обсуждал каждый результат и частенько заставлял Игоря повторять работу. В этой же лаборатории сотрудничала Люба Шмелькова, проработавшая там до 80-х годов. Некоторое время в этой же лаборатории работали Лида Вакулюк (до замужества за Ментовым) и Шура Манакина.

Третьей большой лабораторией нашего отдела была сырьевая, руководимая самим Курнаевым. Там тоже работало много выпускников техникума: Зина Подоба, Женя Клейе и др. Не помню, когда в ней появился микробиолог Готовец, человек уже средних лет, побывавший в 1916 году в плену в Праге. Какой-то он был скользкий человек, постоянно кланчил у нас спирт, часто ночевал в лаборатории и провоцировал нас на рискованные политические разговоры, когда приходилось задерживаться вечерами в лаборатории.

Инженер Харьков, москвич, специалист по технологии жиров, проводил работу по китам и большую часть времени находился на китобойном судне «Алеут». Позднее он даже занял место Курнаева. Появлялись и исчезали разные спецы по холодильному делу, консервированию и т. д., но вот о ком я умолчать не могу, так это о Трофиме Михайловиче Борисове. Малограмотный самоучка, всю жизнь проработавший на рыбных промыслах, он, несомненно, был высокоодаренным человеком. К пожилым годам он пристрастился к чтению и даже писательству. Его талантливо и любовно написанная книжка «Тайна маленькой речки» была тепло отмечена Горьким. Борисовы семьями дружили с Арсеньевыми,

и мне как-то уже после смерти Владимира Клавдиевича довелось побывать у них, когда к ним приезжал погостить писатель Вл. Лидин, на встрече была супруга В.К. Арсеньева. У Борисова было две дочери: Нелли, работавшая в нашей лаборатории по окончании техникума, и Алла, в те годы начинающая студентка университета. Очень интересная и избалованная поклонниками, Алла Борисова приезжала в 60-е годы во Владивосток из Ташкента и бывала у нас в гостях.

Трофим Михайлович пользовался как специалист-засольщик большим авторитетом у рыбохозяйственников Дальнего Востока, особенно на Камчатке, где он готовил всяческие деликатесы, работая у частных рыбопромышленников. Его сотрудничество в нашем теххимическом отделе долгое время спасало нас от нападок всяческих самодуров-руководителей, всегда готовых свалить на «научников» собственные провинности и головопашество — следствие полной технической безграмотности.

Итак, возвращаясь к событиям лета 1935 года. Наша с Михаилом работа в ТИПРО кроме массы текущих анализов для рыбопромышленности (китовые, тресковые, ивасевые жиры, арбитражные анализы и т. д.) в основном сводилась к изучению состава различных жиров пресноводной и морской фауны. Применение разработанного нами ранее полибромидного метода изучения жирнокислотного состава принесло особо наглядные результаты именно на этих объектах. За истекшие годы в наших руках оказался уникальный материал как собственных исследований, так и накопленный из всевозможных литературных источников. Очень эффективной была помощь переводчика с японского, работавшего в ТИПРО (увы, забыл имя) и сгинувшего в последующие кровавые годы. И вот мы решили обобщить весь этот материал в монографии «Жиры морской и пресноводной фауны», но это было делом будущего, а пока в институтах министерства рыбной промышленности началась кампания по присуждению ученых степеней и званий. У меня к тому времени было уже около 20 опубликованных и принятых в печать работ, у Михаила чуть меньше. Кроме того, у меня был университетский курс, а у него только техникум, но многолетнее заведование лабораторией выравнивало его шансы. И вот ТИПРО возбудил ходатайство о присуждении нам ученой степени кандидата и звания научного сотрудника первого разряда, что было эквивалентно нынешнему старшему научному сотруднику.

В филиале Академии наук был уже создан Институт химии и даже назначен директор — профессор Киреев, короткое время «прогостивший» на Дальнем Востоке. Но сотрудникам приходилось работать по разным лабораториям города, так как у филиального института помещения еще не было. В то лето мы близко сошлись с Владимиром Онуфриевичем Мохначом. Человек широко образованный (кончил до химфака медицинский институт), столичной закваски (владел языками, его жена — артистка ленинградского театра), он служил для меня неким прототипом преуспевающего ученого. В то время он был увлечен применением рамановских спектров к структурной органической химии и переписывался с самим профессором Раманом (Индия). Когда

осенью 1935 года Мохнач предложил мне взять на себя проведение практикума со студентами 4-го курса химфака университета, я не мог ему отказать, несмотря на огромную нагрузку.

Помню, что во время этого практикума произошел неприятный инцидент: студентка Алехина (с Ксенией Никитичной Алехиной мы с 1960 года жили по соседству, и Лена с ней очень дружила) должна была отвесить едкий калий, который в ту пору выпускался в виде палочек размером с тонкий карандаш. Когда понадобилось отделить от палочки кусок, она, недолго думая, просто его откусила, ну и, конечно, обожгла себе язык и щеки. За этот «недосмотр» мне порядком досталось, а впоследствии мы с ней перемигивались, припоминая этот случай.

Наша с Михаилом работа по сопряженной гидрогенизации в эту пору успешно развернулась благодаря наборам химпосуды на шлифах, которые я заказывал стеклодувам в бытность мою в ЛАСИН и которую привез с собой (во Владивостоке стеклодувов не было).

К концу лета, наконец, приехала Эмма. Мама была с ней сдержанно приветлива – ее огорчала разница в нашем возрасте. Мы с Эммой поселились на старой квартире, а мама продолжала жить с Олечкой. Дочка Оли Инночка была резвой девчужкой, и я любил с ней забавляться. Я ставил на патефон пластинку с романсами Шуберта (они почему-то полюбились девочке) и усаживал Инночку на колени: она очень любила прыгать в такт музыке, которой я подпевал.

В Приморском радиокомитете узнали о появлении в городе «артистки Мосфила Ривчун-Максимовой» и попросили дать по радио несколько концертов. Деньги были нам нужны, и Эмма решила согласиться на серию выступлений с оркестром в качестве концертмейстера. Чтобы не обижать ее предшественника, скрипача Глинкина, Эмма предложила чередоваться с ним на этой первой роли в оркестре. Время летело незаметно, подошла зима, и Эмму затребовали назад в Москву. Что нам было делать? Мне помнится, что я отпустил Эмму лишь к новому году. Решено было, что я весной приеду в Москву и, если состоится присуждение ученой степени, повторю попытки как-то там устроиться.

Чем же еще мне памятно это время (1935-1936 годы)? Я чувствовал, что как-то невольно втягиваюсь в конфликт с государственным режимом. Хотя я работал с полной самоотдачей и делал именно то, что считал себя способным совершить и что наиболее необходимо для развития науки (фундаментальной – в филиале, прикладной – в ТИПРО) и рыбного хозяйства (какую громадную контрольно-аналитическую работу мы – единственная жировая лаборатория в регионе – выполняли для рыбной промышленности), руководство ТИПРО, и особенно парторганизация, относились к нашему отделу, а в том числе и ко мне, весьма настороженно. Правда, у нас в отделе не было ни одного члена партии или комсомольца, если не считать промелькнувших на

нашем горизонте Денисова и инженера-холодильщика. Никто из партийных к нам и не домогался попасть, ибо уже тогда среди партийной молодежи преобладали явные карьеристы, и научное поприще их не влекло.

Еще за год до этого меня по неизвестным причинам чуть не упекли в армию, хотя в то время всем ИТРовцам моего ранга предоставлялась бессрочная отсрочка от призыва. Потом прошедшая года два назад чистка в соваппарата меня глубоко возмутила, когда председатель комиссии, вульгарная баба (член райкома и жена ректора ДВПИ), с прокурорской настойчивостью и грубостью выспрашивала меня по чьей-то подсказке об отце. Как-то Павел повез меня прокатиться по дачным местам на грузовой машине (тогда и это было в диковинку) и всю дорогу убеждал держаться подальше от Михаила, за отцом которого числятся всяческие грешки, а сам он, мол, «чужой человек». Я ясно почувствовал, что этот разговор кем-то ему навязан, а, следовательно, чье-то недремлющее око наблюдает за нашим коллективом и делает мне предупреждение. Между тем всеми ощущалось, что грозные политические события назревают во всей стране. Прошедшие и готовившиеся громкие политические процессы, явно шитые белыми нитками (осуждение Коки Туринского кое-чему меня научило), постоянные призывы к бдительности, взаимному недоверию, бескрайнее раболепствование перед «вождем народов», фигурой всегда для меня глубоко антипатичной, все это сильнее и сильнее отталкивало меня от проводимой партийной элитой государственной политики.

Но в то же время вера в нравственную справедливость социалистической системы, основанная на литературном знакомстве с радикальными традициями русской интеллигенции, глубокая идейность и бескорыстность тех делателей революции, с которыми жизнь меня свела в детстве, создавали в моей душе убежденность, что причиной нынешних бед в стране является не сама политическая система, а захват власти грубой, жестокой и некомпетентной хунтой правителей (политбюро), рабски подчинившей себе и саму партию, и весь советский народ.

Такая раздвоенность была, по-видимому, типична для большинства людей моего круга в те годы. Даже значительная часть рядовых членов партии – я не имею в виду то большинство беспринципных карьеристов, которое постепенно заполняло партийные кадры, – тоже двойственно относилась к руководству партии и страны. Но вернусь к хронологической последовательности событий того времени

В начале 1936 года Мохнач предложил мне прочесть факультативный курс лекций студентам-химикам 5-го курса университета. Я назвал его «Химия и биохимия жиров». Предмет был мне знаком исчерпывающе, и подготовки к лекциям не требовалось. Здесь я вновь встретился

со студентами, у которых вел практикум и семинары по органической химии. Со многими из них жизнь меня свела в поздние годы, когда я в 1960 году переехал с Кольмы во Владивосток (Алехина, Глебов, Красницкая, Оранский и др).

Деканом химфака, как мне помнится, был тогда Киреев, вскоре покинувший Владивосток. Среди преподавательского состава помню Рахиль Натановну Няньковскую, некогда ассистентку профессора Б.П. Пентегова (заведующего кафедрой общей химии), знакомого мне еще по шефнеровке, а в начале 30-х годов арестованного ГПУ. С ним меня судьба свела позже на Кольме.

Ассистентом Мохнача был Михаил Никитич Тиличенко, впоследствии профессор, один из немногих уцелевших после разгона университета и филиала Академии наук в 1939 году единственно из-за переезда в Саратов. О нем предстоит еще много написать в будущем. Петр Тихомолов, который приехал от академика А.Е. Фаворского вместе с Мохначом, в тот год как будто не сотрудничал в университете и пришел туда на короткий срок уже позже. А в 1935-1936 годах он был целиком поглощен своими семейными делами: в Ленинграде развелся с первой женой Темниковой<sup>1</sup>, впоследствии виднейшим химиком-органиком и профессором Ленинградского университета, и женился на молодой красавице, с которой и прибыл во Владивосток. Тихомолов был простецким мужиком и, помнится, весь лучился тогда от семейного счастья. С этой парой я часто играл утрами в теннис.

Запомнилось мне заседание деканата после защиты дипломных работ студентов весной 1936 года. В то время как страдалцы-абитуриенты с волнением ждали оценки своих трудов, члены деканата почему-то были настроены весьма игриво, и Няньковская даже вальсировала с Федором Федоровичем Юшкевичем, доцентом-неоргаником, в аудитории, куда уединился деканат для вынесения решений по защите. Мне, недавнему студенту, посещавшему этих педагогов для сдачи зачетов, было еще стеснительно находиться среди них в качестве равноправного участника этого конклава. Двое из студентов – Оранский и Федоров – дипломные работы делали в нашей лаборатории по сопряженной гидрогенизации рицинолевой кислоты и олеиловому спирту. Суть этих работ – внутримолекулярный перенос водорода от гидроксила к двойной связи под влиянием катализатора. Мне было приятно услышать поздравления членов деканата по поводу оригинальности выполненных исследований. Увы, это была лишь крохотная частица задуманной работы, и только нищета – реактивная и приборная – вынуждала тогда ограничивать рамки выполненных экспериментов.

**Н**о вот, наконец, подошло лето, я взял отпуск и отправился в Москву. Я очень соскучился по Эмме, но, увы, встретила она меня упреками за поздний приезд. Что-то расклеилось в наших отношениях...

<sup>1</sup> Темникова Татьяна Ивановна – известный химик-органик, автор курса «Теоретические основы органической химии».



Оркестр Мосфила выезжал на гастроли в Кавминводы (Железноводск, Кисловодск, Пятигорск), и я присоединился к нему. На этот раз Эмма решила взять с собой дочку Маю, которой исполнялся уже десятый год. Я до сих пор ничего о ней не писал. Это была худенькая, черноволосая девчушка с серовато-голубыми глазами и острым личиком. Я не находил в ней ничего от Эммы и по ее облику старался восстановить внешность бывшего мужа Эммы, естественно, не без ревнивого чувства. Может быть, это несколько отдаляло меня от этого ребенка, но в общем я старался ее баловать, и отношения наши были вполне дружелюбными. Мне трудно было себе представить, что думает обо мне эта маленькая женщина, ведь девочки гораздо понятливее мальчишек в вопросах секса.

Администрация оркестра снимала для музыкантов квартиры у местных жителей, ну а я приплачивал за лишнюю комнату, и мы были прекрасно устроены. Музыканты меня встречали, как старого знакомого, и я даже попросил разрешения у ведущего дирижера (Пятигорского) подсаживаться во время готовившихся репетиций к последнему пульту вторых скрипок. Инструмент (запасной) мне предоставлял администратор оркестра. Конечно, на виртуозных пассажах я не попевал за оркестром, но привычка к чтению нот с листа, выработавшаяся при участии в квартетах, позволяла мне не теряться и вновь вступать на доступных моей технике частях партитуры. Пятигорский даже как-то похвалил меня за это умение.

Надо заметить, что уже в ту пору, вероятно от неумеренного курения, я стал испытывать язвенные боли. Они заставили меня приобрести курсовку, и я влился в ряды водохлебов, которые трижды в день цугом шли к источнику, позванивая на ходу стаканами. Отношения с Эммой как-то наладились, но о будущем мы старались не задумываться. Эмма усердно готовилась к конкурсу для перехода в группу первых скрипок. Это было бы не только престижно, но сулило и немалую материальную выгоду. Она разучивала один из этюдов и концерт Паганини, и каждый их пассаж надолго врезался в мою слуховую память.

Если жизнь в Железноводске запомнилась во многих деталях, то время после переезда оркестра в другой город – Минеральные Воды я совсем забыл. Когда я немного поддечился и курортная скука вконец меня ододела, я решил отправиться в одиночное путешествие. Где-то вычитал о живописном маршруте через Большой кавказский заповедник от Майкопа до Сочи. Никакого дорожного снаряжения я, естественно, не имел и располагал только курортным одеянием. Что-то удалось достать на толкучке в Пятигорске, из продовольствия со мной, помню, были макароны, сыр и стуженное какао. Я поездом доехал до Майкопа и далее по шоссе автобусом до базы заповедника, где и заночевал. В то время территория заповедника была во много раз больше современной. И когда я заявил, что собираюсь ее пересечь и через перевал Псеашхо выйти на Красную Поляну, меня чуть ли не на смех подняли – в моем полугородском одеянии и с тощим рюкзачком я действительно выглядел не солидно. Но я настаивал, и в конце концов получил разрешение.

Меня снабдили схематичной картой маршрута, указали, где имеются хижины егерей, и в заключение сообщили, что через пару дней следом за мной тем же маршрутом отправится в Сочи по своим делам один из егерей.

И вот я отправился в путь. Вначале меня обманывала кажущаяся близость окружающих горных вершин, и я переоценивал свои возможности, намечая мысленно дневной маршрут. Но вскоре я стал трезвее оценивать трудности пути и к ночи угадывал доходить до хижин. Это были легкие домишки с подбием низких нар, отверстием в коньке крыши для выхода дыма и обложенным камнями кострищем в центре. На подходе к такой хижине нужно было запастись вязанкой сушняка, так как поблизости весь хворост был сожжен. Эти одинокие ночевки у костра я провел в думах о нашем с Эммой будущем. Я положительно не мог решиться забросить свои научные начинания, а другого выхода не было. Не находил я в себе способностей быстро добиться в Москве успехов на особом доступном мне поприще — для этого надо было смолоду набираться особой жизненной хватки, чего я был полностью лишен. Оставалось одно — разрыв.

Днем в пути эти мысли отступали, и я с восторгом любовался открывавшимися передо мной горными пейзажами. Местами путь становился рискованным: по сильно подтаявшим снежникам, как по висячим мостам, я пробирался через неглубокие ущелья, и провались подо мной это снежное сооружение, меня десятилетия не смогли бы обнаружить. Уже на последней перед перевалом ночевке меня нагнал егерь. К тому времени все, что у меня сохранилось из съестного, состояло из четверти банки сгущенного какао, и я с великим аппетитом набросился на сало, которым меня угостил егерь. Уже на спуске к Красной Поляне я нос к носу столкнулся с медведем. Этот светло-серый малорослый мишка ни в какое сравнение не шел даже с его гималайским дальневосточным родичем, не говоря уже о бурых гигантах Приохотья. Завидя меня, он ринулся вниз по склону так поспешно, что я даже перепугаться не успел.

От Красной Поляны, где мы заночевали, до Сочи добрались автобусом и там тепло распрощались. Егерь отправился по своим делам, а я, побродив по городу, поехал поездом в Сухуми. Вообразив себя альпинистом, я решил замкнуть круг и через Клухорский перевал пробраться в Теберду, а оттуда — в Кисловодск. Накупив продовольствия, я на какой-то колымаге пустился в путь из города к реке Кадари, на которой расположился нижний альпинистский лагерь. Уже затемно мы прибыли в какой-то поселок, возле которого находилась база. Нерадостными вестями встретили меня там. Во-первых, они тоже подивились моему легкомысленному снаряжению, а во-вторых, сообщили, что перевал закрыт после недавних обильных снегопадов и группа инструкторов отправится на разведку не ранее как через неделю. Пришлось мне возвращаться в Пятигорск и забыть о своих рискованных намерениях. Эмма встретила меня не слишком ласково, и перед отъездом у нас произошло тяжелое объяснение. В Москве меня ожидало письмо от Михаила, в котором он

сообщал, что Филиал получил для химиков помещение (кстати, в здании, занимаемом ТИПРО) и мне выделены в нем большая лабораторная комната и соответствующие штаты. Мы с Михаилом уже завершили сбор материалов для книги и необходимо было садиться за нее вплотную<sup>1</sup>.

Ожидал я также получение диплома кандидата наук, оформление его где-то таинственно задерживалось в ученом секретариате ВНИРО (тоже знаменательный факт, предвещавший будущие события!).

Таким образом, моя судьба как ученого настоятельно требовала, чтобы я не покидал Владивостока. В то же время Эмму ожидало дальнейшее успешное продвижение в искусстве, которому она отдавалась всей душой. Это была для нее не работа, а смысл жизни, и это требовало обязательного пребывания в Москве.

И еще немаловажное обстоятельство – нам негде было жить в Москве, и не было надежды, что здесь нас ожидают какие-то сюрпризы. Эта жестокая действительность московской жизни поломала не одну судьбу, и, чтобы прорваться к обетованной жилплощади, нужно было иметь стальные локти или нечистую совесть. Так, в состоянии полной душевной растерянности, с чувством взаимной обиды и безысходности мы и расстались.

В Москве я не задержался и вновь пустился в эту долгую транссибирскую дорогу. Всякая экзотика железнодорожных путешествий мне давно осточертела. Я старался отвлечься чтением и, винюсь, посещением вагона-ресторана, хотя незалеченная язва ограничивала мои старания заботиться этим примитивным путем.

**В**соседнем со мною купе ехала молодая женщина высокого роста с большущими серыми глазами. Одета во все черное, она как-то сторонилась досужих бесед с пассажирами на долгих в ту пору стоянках поезда, в одиночестве прогуливалась вдоль перрона. Что-то было незаурядное во всем ее облике, и я тайком к ней присматривался. Стояла жаркая летняя пора, в вагоне-ресторане прохладительных напитков было не добиться. Когда поезд подъезжал к Иркутску, я, стоя на площадке, сказал соседу, что попытаюсь отыскать какое-нибудь питье на привокзальной площади. И вот эта заинтриговавшая меня пассажирка попросила: «Если сумеете достать, возьмите и на мою долю».

Я безуспешно обегал весь вокзал, вышел в городской сквер и там обнаружил киоск, торговавший ситро. Рассовав бутылки по карманам, направился к поезду и увидел проходящий мимо последний вагон. Никогда раньше я не несся с такой скоростью! Каким-то чудом зацепился за поручни последней площадки. Меня рвануло, но я удержался и с большим

<sup>1</sup> Все черновики этой книги были изъяты при моем аресте, но каким-то путем попали уже после моей реабилитации к Кизеветтеру, бывшему тогда директором ТИПРО. Он опубликовал их под своим именем. Сомнений в этом быть не могло, так как там фигурировали данные, известные только Михаилу и мне (прим. О.Б. Максимова).

трудом вскарабкался на ступеньку. Попасть сразу в свой вагон я не смог, так как надо было миновать вагон-ресторан, а он был закрыт на уборку. Словом, до самого Байкала я проехал в чужом вагоне.

Когда я попал, наконец, к себе, то увидел свои собранные пассажирами пожитки — они намеревались передать их на станцию, полагая, что я отстал от поезда. Не без аффектации я вручил ситро соседке, и это дорожное происшествие как-то сразу нас сблизило. Я узнал, что зовут ее Луизой Михайловной, что фамилия ее Филатова, что она закончила Московский архитектурный институт и едет по распределению работать во Владивосток. Позднее выяснилось, что Луиза — это ее школьная и университетская кличка, а зовут ее просто Лизой. Мы стали подолгу простаивать у окна в коридоре вагона, и я с воодушевлением расписывал ей прелести Владивостока и Приморья. Я чувствовал, что слова мои падают на благодатную почву, что фантазия Лизы уже возбуждена, и она воодушевляется планами архитектурного украшения волшебного города у моря.

В те дни, что прошли в пути до Владивостока, никаких интимных объяснений между нами не было, да я менее всего был склонен в ту пору завязывать дорожные интрижки. Но я дал ей свой адрес, условившись, что Лиза сообщит мне свой, когда устроится с работой и жильем.

Прошло недели две по приезде во Владивосток, я полностью втянулся в работу. По-прежнему жил я один на старой квартире, а мама большей частью ночевала у Олечки. Как-то вечером я сидел за письменным столом у окна (напомню, квартира была на первом этаже), форточка была открыта, а занавески раздвинуты. Вдруг в форточку влетела записка. Пока я ее поднимал, разворачивал и читал, посланницы и след простыли. Текст записки был примерно таков: «Такого-то вечером хочу видеть Вас в “Челюскине” Л... Сорочка». Я сразу догадался, что писала Лиза. Она считала сорочку изящнейшей из птиц и вообще придерживалась в своих туалетах двух цветов: белого и черного. Ну, конечно, я пошел в тот вечер к Лизе и... остался до утра.

Осуждаю ли я себя сейчас за далью лет за это? Нет и нет, хотя последствия были тяжелыми и для меня, и для моих близких. Разрыв с Эммой был предрешен всем комплексом разделяющих нас обстоятельств, хотя Эмма по-прежнему была ко мне привязана, да и я к ней тоже. Но, во-первых, Лиза в ту пору была очень привлекательна, да и артисткой она была великолепной и умела передать собеседнику свое настроение. Во-вторых, в моем отношении к Эмме преклонение перед ее музыкальностью с первых же дней наших отношений далеко превосходило влечение к ней как женщине. Другого же опыта в области секса у меня не было, и я легко поддался обаянию Лизы.

Но все же совесть моя была не чиста, и больше у Лизы я не показывался... вплоть до новой записки с новым адресом (Лизу поселили где-то на Фонтанной улице). Подходя в тот вечер к ее квартире, я услышал через раскрытое окно голос Лизы (а она как-то рассказывала, что учится петь), распеваящий... арию Лизы из «Пиковой Дамы»: «Ночью и днем только о нем... «Любила Лиза подобные примитивные театральные эффекты!

И в этот раз никаких клятв и обещаний дано не было. После этой встречи мы долго не виделись. Но однажды мне пришла телеграмма из Хабаровска: Лиза, будучи там в командировке, извещала меня, что она в положении...

Как я это воспринял? До этой минуты я был уверен, что детей мне не дожидаться. Это убеждение заставило меня в свое время жестоко оборвать юношеское увлечение Леной Лаговской. Последующие годы близости с Эммой еще более меня убедили в собственной бесплодности. Мог ли я после всего поверить Лизе?

Мы встретились, и я откровенно с ней объяснился. Она плакала и клялась, что отцом будущего ребенка являюсь я. Убедить меня было не трудно, — так радостно было осознать свою полноценность! Мы тогда же договорились с Лизой, что сына назовем Эриком (романтический образ Эрика Рыжего, первооткрывателя Америки, тогда меня волновал). Я сейчас же написал обо всем Эмме. Она вскоре на несколько дней приехала во Владивосток, были горькие для нас объяснения, но изменить что-либо они уже не могли.

Мы порешили с Лизой отремонтировать капитально старую квартиру и 1 января 1937 года объявить на новоселье о нашем браке маме и Оле. Но вот наступило 24 декабря, арестовали Михаила — утром в ТИПРО ко мне пришла его плачущая мать (отец Миши уехал от них еще год назад в Ейск) и попросила помощи. Я был убежден, что это ошибка, и сумел, сколько смог, убедить ее подождать день-другой.

**Н**о вечером того же дня у меня состоялся знаменательный разговор в лаборатории с Игорем Кизеветтером (мы были там одни). Он говорил, что давно уже задумывается над тем, что мы, научная и техническая интеллигенция, нечестно, двурушнически относимся к советской власти. В наступающие грозные годы острого противостояния с фашизмом нужно забыть о наших внутренних неурядицах — все это, мол, потом выясним иотрегулируем, а сейчас мы должны полностью разоблачать вражеские происки, искоренять вредительство — вольное или невольное, возникающее от эгоистических, а не государственных подходов к задачам науки. Словом, это была хорошо подготовленная долгая речь с претензией на дружелюбие старшего по возрасту товарища.

Далее он заметил, что для него переломным моментом стало решение его отца перебраться в Маньчжурию. Он говорил, что долго убеждал отца, колебався, но потом решил воспрепятствовать ему (еще бы! полетела бы к черту его карьера) и, встретившись с «товарищами», откровенно рассказал обо всем. Отца после этого изолировали, но обещали Игорю вскоре отпустить, так как он был уже стар (какое глупое ханжество — верить подобным словам накануне 1937 года). Он старательно подводил меня к мысли также повстречаться с представителями «органов» и покаяться в болтливости на

политические темы и в недостаточной ориентированности наших научных исследований на решение ближайших нужд страны. Наш разговор так и не получил завершения – кто-то пришел в лабораторию, и Игорь сейчас же исчез.

Мало довелось мне поспать в ту ночь. Если бы разговаривал с Игорем нынешний я, то просто назвал бы его негодяем и стукачом, но в те годы всеобщая вывихнутость мозгов была настолько велика, мораль Павлика Морозова превозносилась столь деятельно, что мне не просто было осмыслить до конца, как следует себя вести в возникшей ситуации.

Конечно, я и не помышлял о каком-либо покаянии в «органах», но в моей политической самооценке и уверенности в собственной безвинности перед властью преобладающими появилась какая-то легкая трещинка.

Тут надо рассказать об одной, хотя и давней, но невольно пришедшей мне на память истории. Года за два-три до того Михаил передал мне рассказ Курнаева о том, что Евгению Федоровичу на дом каким-то китайцем было доставлено письмо из Харбина от Рудакова, который писал о своем благополучии, сообщал, что является владельцем нескольких предприятий по производству пищевой продукции. Сообщал о большой нужде в инженерских кадрах и предлагал организовать переход границы самому Курнаеву с семьей и всем, кто решится его сопровождать. Названы, как будто, были фамилии Михаила и моя.

Поскольку Курнаев не сразу поведал Михаилу о получении письма, а тот, соблюдая данное слово, рассказал об этой истории мне тоже много времени спустя, мы обсуждали предложения Рудакова как курьезное, но уже минувшее событие.

Но теперь, после разговора с Игорем и ареста Михаила, вся эта история вновь пришла мне на память. Естественно, что ни у кого из нас и в мыслях не было ни тогда, ни позже воспользоваться предложением Рудакова: сам Курнаев давно уже жил в Москве, мы с Михаилом были любящими сыновьями и ни за что не покинули бы своих матерей. Да и зачем бы мы стали искать призрачное счастье где-нибудь на чужбине, когда жизнь и наука открывали перед нами такие возможности на родной земле? Но... но я все же вспомнил всю эту историю в ту ночь.

Прошло два дня. В квартире вовсю шел ремонт, с Лизой мы перезванивались, но никто из сослуживцев и домашних ничего не знал о наших планах. Только Олечке, когда уезжала Эмма, я туманно намекнул на возможность появления у меня новой семьи.

**Н**аступило 28 декабря. Я рано пришел в лабораторию и занялся разборкой рабочих записей Михаила. Внезапно в лабораторию вошел Фауст Иннокентьевич Хренов, исполнявший тогда должность зава нашим отделом, и вслед за ним – двое в форме НКВД. Меня попросили показать рабочий стол и забрали в сумку все записи (в том числе почти

готовую рукопись книги) и предложили следовать за ними. Помню, я попрощался только с Леночкой; в глазах ее стояли слезы. Поехали на машине ко мне домой, забрали самые нелепые вещи, включая разобранный, давно не работавший коротковолновый передатчик и, наконец, привезли меня на Бородинскую улицу<sup>1</sup>, где через дорогу от большого здания управления НКВД находился невзрачный домик КПЗ. Ремень, галстук, шнурки от ботинок оставлены у коменданта. Меня впихнули в комнату с зарешетчатыми окнами, где находилось человек пять арестованных. Началось.

Если бы я не знал о предшествовавшем аресте Михаила, меня в эти минуты, конечно, одолевало бы чувство возмущения от незаслуженного задержания. Но тут было очевидно, что нас привлекают по какому-то общему делу, хотелось только поскорее узнать, в чем же нас обвиняют. Я был уверен, что Михаил при его очевидной не трусливости (как он умел держаться при острых нападках на совещаниях в дирекции!) не поддастся на провокации, а реальной вины за нами все-таки не было.

Шли часы. Стемнело. Я присел в уголке на пол (мебели никакой не было) и, прислонившись спиной к стенке, задремал, так как прошлую ночь практически не спал. Была уже глубокая ночь, когда меня растолкали и повели на допрос в здание НКВД.

«Лейтенант Виленский, сержант Астахов», — представил следователь, который меня арестовал. «Сообщите о себе сведения», — стал записывать сидевший в стороне Астахов. Когда опрос закончился, наступила пауза. Затем Виленский обратился ко мне: «Признаете ли вы себя виновным в участии в контрреволюционной, вредительской, троцкистско-фашистской организации?» Разумеется, я ответил: «Нет!» Но сердце у меня защемило — я понял, что об ошибочном аресте и речи не могло быть. Значит, нас готовили к участию в политическом процессе. На рубеже 1937 года об этом было нетрудно догадаться.

Вопрос повторился, и началось... «Фашист!» «Вредитель!» «Встать!» Так продолжалось часа полтора. Потом вдруг полная перемена стиля: «Зачем вы усугубляете свою судьбу? Вот ваш друг Белопольский понял, что упорство ни к чему не приведет, и во всем сознался: прочтите его показания!» И мне был передан протокол допроса Михаила, где он признавал все обвинения и даже уточнял их (в части так называемой экономической контрреволюционной деятельности — читай вредительства). По характеру этих уточнений, а также по подлинной подписи Михаила я понял, что это не фальшивка. «Быстро же ты сдался и струсил Михаил», — подумал я с глубоким возмущением. Остаток ночи прошел в непрестанных окриках следователя, сменявшихся по временам уговорами. Утром меня отвели в камеру и приказали не спать. Там лежал и стонал какой-то кореец. Из последующих расспросов я узнал, что он занимался контрабандой, был замечен на границе, затаился в снегу и отморозил себе ступни обеих ног. Его нашли с собакой, привезли во Владивосток, и у

<sup>1</sup> Ныне — улица Пологая.

него началась гангрена ног. Никакой медицинской помощи ему не оказывали. Днем он как-то еще крепился, а ночами беспрестанно кричал. Это был тот фон, на котором меня рассчитывали скорее «расколоть». Забыться и уснуть в этих условиях было немислимо. Допросы повторялись каждую ночь с постепенным их удлинением. «Ну и собачья у вас работа», – думал я иногда о следователях. Но бессонница и нервное напряжение делали свое дело – мне все тяжелее было выдерживать «стойки», пухли ноги и обувь стало трудно надевать.

Мне устроили очную ставку с Михаилом. Нас, как бы по недогадке, оставили на несколько минут одних в комнате. Михаил тихонько бросил: «Соглашайся на программу-минимум, иначе напридумают еще более тяжелые обвинения». Я не мог на это решиться, все в моей душе противилось подобной трусливой капитуляции. Шли недели, я постепенно терял счет времени, сознание затуманивалось от бессонницы. Менялся контингент сокамерников. Одно время со мной находился некто Одров – видный участник первого «шахтинского» процесса. Он давно отбыл первый срок, а теперь снова был арестован. От него я многое узнал по части тюремной науки. Чтобы как-то отвлечься от окружающей действительности, мы с ним занимались французским языком, которым он владел в совершенстве.

Потом его сменили двое финнов: Хеглунд и второй, фамилии которого я не запомнил, хотя он обучил меня финской песенке об Хансен-Юкка, национальном разбойнике-герое. Где-то в соседних камерах находились их однодельцы. Все они были коммунистами и жили в финской коммуне где-то в Баунтовском районе Забайкалья, а теперь их собирали во владивостокском НКВД, инкриминируя участие в контрреволюционной националистической террористической организации. Вскоре в камере появился и четвертый обитатель. Вначале он отмалчивался и отсыпался, потом стал вдруг разговорчивым, шутил, рассказывал анекдоты. Тон их становился все более обидным для финнов. Он издевательски описывал тупость финских извозчиков Петербурга, которые за любые маршруты брали с пассажиров по «ритц колек». К тюремной еде он почти не прикасался – видимо, его подкармливали на «допросах». Во время одной из таких отлучек финны предупредили меня, что избыют эту явную «наседку», и просили не вмешиваться. Однако эта личность более в камере не появлялась.

На допросах стали спрашивать о новых персонажах – сотрудниках нашего отдела ТИНРО И.И. Треймане и Г.Г. Кириллове. Программа допроса была примерно такова: следователь зачитывал, что такого-то числа во второй половине дня И.И. Трейман принес из немецкого консульства фашистский журнал и дал нам его прочесть. В нем поносилось достоинство вождя народов И.В. Сталина и т. д., и т. п. Трагедия заключалась в том, что Трейман иногда действительно приносил нам с Михаилом юмористический журнал «УХУ», и что в нем среди остроумных карикатур



как-то фигурировал Сталин. Но я точно знал, что Трейман получал этот журнал по подписке так как в те годы нам предоставлялись небольшие суммы валютой для выписки научной периодики, и я с Михаилом тоже выписывал журнал «Хемише Умшау». С консульством же Трейман никаких дел не имел, так как был по-обывательски трусоват.

В протоколе же, который мне предлагалось подписать, значилось: «Показываю, что такого-то числа...» и т.д., т. е., все излагалось от моего имени, а не по агентурным данным, которые, как стало потом очевидно, составлялись и Готовцом, и Кизеветтером и, вероятно, Женей Клейе.

**И** вот началась торговля со следователем за каждое слово протокола, за каждый оттенок смысла показаний. Следователи менялись, а я все стоял, проходил день, наступала ночь, ноги не выдерживали, сознание отключалось... Потом следователь заявлял: «Ну, ладно, пусть будет по-вашему», — и тут же давал подписать протокол. Потом, читая перед судом свои показания, я убедился, что мне давали подписывать первоначальный текст, где все показания исходили от меня. Подобные приемы в бесконечных вариациях применялись следователями постоянно.

Как-то Виленский вызвал меня и заявил: «Вы упорствуете, не хотите разоружиться перед советской властью, вы — враг, и все ваши близкие будут нами рассматриваться как пособники врага. Мы арестуем вашу мать и Филатову, а ведь она в положении. Неужели вы хотите, чтобы ваш ребенок родился в тюрьме? Он выждал, потом вдруг заявил (после телефонного звонка): «Посмотрите, мы ее уже пригласили для допроса». И он подвел меня к окну: внизу, через двор, действительно шла Лиза в сопровождении конвоира. Вне себя, я дал ему по физиономии, меня тут же повалили, поддали, вывели во двор, отвезли в тюрьму и поместили в «шкаф», или «пенал», как его называли: в кирпичной стене была плоская ниша, закрывающаяся стальной дверью. В ней, когда дверь запирали, можно было только стоять — дверь плотно прижимала к стене. Сколько времени я там провел — не знаю, так как очнулся уже в камере тюрьмы. После этого я «охотнее» стал давать показания.

Я уже знал, что во Владивосток привезены Курнаев и Ментов, арестованы также Трейман, Кириллов и Сокольников. Характер следствия еще более обострился. Стоило признаться в «контрреволюционных» разговорах, как они тут же переделывались в агитацию. Меня стали расспрашивать о связях Курнаева с Рудаковым, с каким-то японцем Хосоем (или Косоем), замелькало слово «шпионаж». Тут я ничего не показал просто потому, что действительно ничего об этом не знал. И следователь, поняв это, отступился.

Тяжело прошла очная ставка с Трейманом. Страшно постаревший, седой как лунь, Иван Иванович ничего так и не понял. Не понял, что его ближайший ученик и сотрудник Кизеветтер все прошедшие годы брал на заметку и передавал куда надо каждое его неосторожное слово, выворачи-

вал наизнанку стариковское ворчание по поводу запеченной в хлебе щепки или безграмотной небылицы о Германии в газетной статье. Он просто отказался давать какие-либо показания, считал себя (совершенно обоснованно) честным человеком, ошибочно привлеченным к следствию вместе с настоящими преступниками.

От меня было взято все, и я был пока не нужен следствию. Меня перевели в более просторную и светлую камеру, где уже находился пожилой, полный человек с глубоким шрамом на виске. Фамилия его была Егер, а вот имя то ли Оттон, то ли это отчество было Оттонович, не помню. Он был до ареста главным архитектором объединения «Востокрыба», т. е. курировал все строительство на рыбных предприятиях Дальнего Востока. Вначале настороженный, он постепенно присмотрелся ко мне, «оттаял» и рассказал непростую историю своей жизни. Она любопытна. Сын известного миллионера и заводчика кайзеровской Германии (бетонмешалки Егера!), он увлекся социалистическими идеями, оставил семью отца, уехал заработать деньги на учение в германскую колонию Тцумб (это где-то в нынешней Намибии). Много забавных колониальных историй поведал мне тогда Егер. Так, всю почтовую связь в колонии осуществляли бушмены-почталыоны. Получив очередной почтовый груз и продовольствие на двухнедельную дорогу, они тут же, усевшись в тени почтового здания, расправлялись с едой, резонно полагая, что на плечах легче нести одну почту, а все остальное поместить в желудке.

Вернувшись через три года в Германию с женой и двумя дочками, Егер сумел закончить политехникум. В день получения диплома была объявлена мобилизация — началась первая мировая война. После тяжелого ранения (шрам на виске) он служил во вспомогательных саперных частях, принимал активное участие в антивоенном спартаковском движении, потом участвовал в венгерской революции и, наконец, эмигрировал в Советский Союз. До 1923 года активно воевал в Средней Азии с басмачами, потом что-то строил на Урале, Европейском Севере и, наконец, попал на Дальний Восток. В Германии осталась его семья, которую взялся обеспечивать отец Егера, а в период борьбы с басмачами он сошелся с медсестрой, лечившей его после очередного ранения, и продолжал жить с ней во Владивостоке.

Какая-то немецкая газета сообщила, что на Дальнем Востоке крупный пост занимает немец Егер. Заметка попала на глаза жене Егера, она через консульство его разыскала и настояла на приезде во Владивосток. Вскоре советская жизнь ей разонравилась, дочери выходили замуж за сотрудников консульства и решили с матерью возвратиться в Германию. Как только они пересекли границу, Егера арестовали. Можно себе представить, чего только ему не инкриминировали! Он не рассказывал мне ничего о ходе следствия и только постоянно твердил: «Зеер шлехт, зеер шлехт!»

Так как следствие по делу Егера чем-то задерживалось, НКВД предложил ему заняться составлением проекта дома отдыха для детей сотрудников НКВД, который собирались строить где-то на станции Океанская. Он согласился, но потребовал в помощь себе технически грамотного сокамерника. Я был придан ему для выполнения простейших технических расчетов, и таким образом наша камера стала своего рода «шарашкой». Вот когда я с признательностью вспомнил лекции Сергея Анатольевича Данилова по сопромату и Хорынского по строительному искусству в техникуме! Я проводил стандартные расчеты железобетонных элементов конструкций, перекрытий и другую вспомогательную работу для Егера. Понадобились чертежные принадлежности, счетная линейка и другие мелочи, и это послужило предлогом обратиться к Виленскому с просьбой о свидании с Лизой.

Предварительно на кусочке восковки изложил крохотными буквами ситуацию со следствием, свернул в трубочку и залил снаружи свечным стеарином (у нас иногда выключали свет, и тогда вахтеры вносили свечи). Вскоре последовал вызов в необычное дневное время. Я сунул записку за щеку и последовал за конвоиром. В кабинете Виленского был только Астахов и... Лиза. Она принесла все необходимое, и нам разрешили пять минут беседы о сугубо личных делах. При прощании я поцеловал ее в губы и языком протолкнул письмо ей в рот. Она догадалась вынуть носовой платок, как бы вытирая им слезы, спрятала в него записку.

Внезапно меня вновь стали таскать на допросы, опять начались мучительные стойки – ими Виленский мне мстил за пощечину. Лиза при свидании оставила для меня следователю очень мягкие сапожки. После одной из «стоек» (42 часа) ноги так распухли, что пришлось разрезать голенища этой чудесной обуви, о чем я еле домолился у вахтера. Однако ничего более из меня выколотить следствию не удалось, и как-то ночью в открытом кузове грузовой машины меня перевезли в тюрьму. Как щемяще радостно было вновь увидеть на миг звездное небо, вдохнуть свежий летний воздух!

Поместили меня в одиночку, «намордник» на окне не позволял ориентироваться в расположении моей камеры по отношению к наружным зданиям и улице, которые были мне хорошо знакомы. Зато тюрьма всюю «разговаривала». Система водяного отопления как будто нарочно была создана для перестукивания. Соответствующую азбуку я постиг уже в первые дни пребывания во внутренней тюрьме НКВД, но там это занятие столь жестоко каралось (трое суток в белье в холодном карцере), что без особой нужды пользоваться им никто не рисковал.

Ну, а здесь было совсем привольно, вероятно из-за того, что поймать простукивавшихся можно было только при тщательном контроле и анализе передаваемых текстов. Они всегда были безличны и по большей части передавалась политическая информация из газет. Но были и исключения. Где-то этажом ниже моей камеры с утра до поздней ночи кричала женщина. Слова разобрать было трудно, но тюремная почта передала, что ее фамилия Орловская, что то ли брат, то ли муж ее троцкист Сноскарев (кажется, так!) приговорен к расст-

релу или уже расстрелян. По-видимому, она была к тому времени уже психически ненормальной, и тюремная администрация не знала, куда ее запрягать, так как все карцерные наказания она уже многократно прошла.

Мне были разрешены передачи, и эти 20-25 дней, проведенных в тюрьме, стали самыми благополучными периодом моего заключения. Но вот жарким июльским днем меня снова вернули в тюрьму НКВД. Виленский вызвал меня к себе для ознакомления с «делом» перед судом. Я до сих пор не знаю, что в ту пору предусматривал уголовно-процессуальный кодекс под термином «ознакомление с делом», — мне дали очень ограниченное время для беглого просмотра тощей папки с протоколами допросов, обвинительным заключением следствия и анкетными данными обвиняемых. Ничего выписывать из дела не разрешалось, да и карандаша и бумаги не было.

Семеро обвиняемых частично признавали себя виновными, один — Трейман — отрицал все. Наступило 19 июля 1937 года. Тюремный парикмахер подстриг и побрил меня, и часов в 11 всех нас поодиночке ввели в зал заседаний трибунала Тихоокеанского флота. С тягостным чувством оглядели друг друга. «Судебное заседание трибунала продолжается», — объявил председательствующий Стасюлес. — «Слушается дело»... Скороговоркой прочитано обвинительное заключение, обвиняемые опрашиваются — признают ли себя виновными; семь отвечают «да, частично», один — «нет». Создавалось впечатление, что работает какой-то чудовищный конвейер, и, как на пресловутых заводах Форда, тут нельзя ни на минуту задержаться.

Суд тут же удаляется на совещание (статус трибунала, очевидно, исключал прения сторон), и буквально через 10 минут председательствующий оглашает приговор: «Всех к высшей мере наказания — расстрелу». За каждым из нас появляется солдат с винтовкой и штыком, и нас выводят. Ко мне подходит Виленский и, улыбаясь, говорит: «Пожалуй, суд в отношении вас немного переборщил. Завтра заеду к вам в тюрьму, продумайте прошение о помиловании». Теперь уже в «воронке» меня отвозят в тюрьму и вводят в камеру — камеру смертников!

Коротко опишу, что это такое.

Узкое помещение, по обеим сторонам бетонные лежа с тонкими матрасиками. Окно: рама, решетка, густая латунная сетка, вторая рама, «намордник». Над железной дверью маленькая ниша, где с вечера до утра горит синяя лампа. Ниша закрыта металлической решеткой, укрепленной по бокам болтиками с гайками. У окна небольшая бетонная тумба-стол. У двери сбоку параша с ведром.

Все.

В камере сидел старик с седыми усами и бородой. С трудом узнаю известного в городе преподавателя немецкого языка Августа Августовича Вегенера. Пытаюсь заговорить — отвечает лаконично и замолкает.

Пытаюсь уснуть – тщетно! Так, промаявшись до утра, вдруг слышу через дремоту немецкую речь. Авг. Авг., приложив кружку к стене, что-то говорит в нее, как в микрофон. Слышу фамилию Гитлера, немецкие проклятия. Потом Авг. Авг. укладывается на ложе и замолкает. Пытаюсь выяснить у него, что все это значит. Молчание. Когда в оконце в двери подали пайку и чай, я обращаюсь к коридорному с требованием вызвать врача. Повторяю это в обед. Вегенер порой вскакивает и начинает снова эти жуткие «телефонные» разговоры. Поскольку пищу он не принимает, до коридорного, наконец, доходит, что в камере неблагоприятно. Под вечер дверь приоткрывается, появляется начальник корпуса и обращается к Вегенеру: «Выходи!», а ко мне: «Собери его вещи». Собирать, собственно, было нечего.

Остаюсь один. Вторую ночь удается заснуть. Поднимаюсь утром за завтраком, но окошечко в двери закрыто, скрипит ключ в замке, и тот же начальник корпуса, приоткрыв дверь, пальцем показывает: «Выходи!» Куда? Зачем? На расстрел?

Ведет по коридору к пустой камере. Там сидит Виленский. Он приветлив, почти развязен. Дает лист бумаги, чернила, ручку. «Пишите прошение о помиловании на имя ВЦИКа, но не вздумайте пытаться отрицать свою вину, требовать пересмотра дела. Решения трибунала не пересматриваются. Просите сохранить жизнь, и мы это поддержим». К этому времени я был уже достаточно опытным арестантом и понимал, что он прав и что это мой последний шанс. Виленский вышел, а я до середины дня писал и исправлял прошение. Кроме прошения о помиловании, я написал заявление в Академию наук, в котором сообщал, что последние опыты по сопряженной дегидрогенизации пары циклогексан-олеиновая кислота с палладиевым катализатором показали далеко идущее превращение, и что этот тип реакций может иметь громадное прикладное значение – ароматизацию бензина (повышение октановых чисел) и одновременное гидрирование жиров на изящной и компактной непрерывно действующей установке. Напрасные надежды! Никуда это мое «завещание» далее тюрьмы, видимо, не ушло.

Вернули меня уже в другую камеру, куда перенесли и мои немногочисленные пожитки. В этой камере уже находился осужденный – еще сравнительно молодой мужчина в косоворотке навыпуск, естественно без ремня, брюках галифе и шлепанцах. Никак не вспомню его фамилию, а звали его Вениамин. Был осужден за вооруженный бандитизм: грабил с оружием почтовые вагоны и, по-видимому, кого-то пристукнул или застрелил. Без убийства уркачей никогда не расстреливали. Ждал помилования уже около двух месяцев. От него я впервые почерпнул сведения о блатной жизни в тюрьмах, этапах и лагерях. Был он опытным рецидивистом и не раз проходил через все это. Пытался хорохориться: если, мол, меня поведут на расстрел, я с ними под конец победоурию! Расска-

зал, как выводят на расстрел: всегда ночью, вызывают в коридор и тут же одевают наручники, а в рот запихивают резиновую грушу, по бокам четверо сопровождающих, а сзади начальник корпуса. О последнем он отозвался очень скверно: садист, который пользуется любой возможностью «пострадать».

Ох, эти ночи смертника! Лежишь и слушаешь: коридорный носит с собой большую связку ключей от камер, которые на ходу позвякивают. Вот приблизился звон к двери, приоткрывается окошечко, оглядел камеру зоркий взгляд — и звон удалился. Но это приближение звона к твоей камере может быть и вызовом на расстрел...

Недолго пробыл я с Вениамином. Через двое суток ночью все так и произошло. Подошел звон к двери, щелкнул замок, приоткрылась дверь, начальник корпуса поднял палец, повременил, потом указал на Вениамина. И — шепотом: «Выходи!» Тот, как овечка, покорно поднялся в белье и пошел, забыв о своем блатарском гоноре. Мне: «Собери его вещи».

Все. Человек закончил свой земной путь.

**К**онечно, о сне и думать было нечего. Но святу месту не быть пусто — на следующее утро привели мне нового соседа. Вот проклятый склероз! Все имена перезабыл. Это был совсем молодой парень, пожалуй, моложе меня. Вот что он о себе рассказал: работал шофером в отделении «Нефтесиндиката» (как будто так), послали работать в шанхайское представительство, прожил там год, полюбил русскую девушку-эмигрантку. Узнали об этом, долго отговаривали от брака. Под предлогом поездки за новой машиной вернули во Владивосток, взяли прямо с парохода, пришили шпионаж, и вот он оказался со мной.

Это был, видимо, замечательный, отважный и честный парень. Он не столько боялся смерти, сколько тревожился о любимой; они поспешили, и она скоро станет матерью. Когда уезжал, уверял, что вернется через месяц. И вот теперь, как ему передал следователь, ей сообщили, что он не пожелал возвращаться в Шанхай.

На вторую ночь после его появления меня разбудили какие-то удары. Вскочил и вижу, что этот парень висит у двери и его ноги судорожно колотятся в нее. Я вскочил, приподнял его тело и стал колотить ногами в дверь. Тут же заглянул коридорный, но дверь открывать не стал. Прошло минут десять, пока вновь зазвенели ключи и вошли двое здоровенных надзирателей. Они помогли высвободить парня из петли. Он ночью оторвал от матраца полоску, свил подобие веревки с петель на конце, другой конец, тоже с петель, зацепил за болтик, которым крепилась решетка у лампочки. Вынул пустое ведро из параша, стал на него и попытался повеситься. Сравнительно скоро после искусственного дыхания он пришел в себя. Шея была в крови от содранной кожи, но никакой помощи ему оказано не было. Я пе-

ревязал носовым платком рану и, как нянька малого ребенка, стал его убаюкивать уговорами, в которые сам не верил.

Прошло еще два дня, и он все повторил, только веревку сплел из сопочки, и она его не выдержала и оборвалась. На другое утро его куда-то увели, но утрами не расстреливали.

Вместо него новым моим соседом стал капитан Семко (?). История его стоит того, чтобы ее рассказать подробнее. Это был отнюдь не старый морской волк — молодой, лет 35, веселый и жизнерадостный человек. Осенью 1936 года о нем и всей эпопее с его кораблем писали местные и центральные газеты. Поздней осенью, возвращаясь с Чукотки с грузом рыбопродуктов, пушнины и снятыми с промыслов рыбаками, корабль сел на камни возле острова Карагинский. Причиной, как подтвердила ответственная комиссия УБЕКО, было необозначенное на картах прижимное течение. Капитан Семко в условиях жесточайшего шторма сумел снять на берег всю команду и пассажиров, весь ценный груз и все необходимое для жизнеобеспечения немалого числа людей. Когда позже их привезли во Владивосток, то встречали над же торжественно, как и челюскинцев. Но среди них оказался позорно перетрусивший при аварии замполит, его репутация среди моряков была безнадежно скомпрометирована. И вот этот подлец, чтобы убраться свидетелей своей трусости, подал в органы донос, где написал, что в каюте капитана будто бы висел портрет Троцкого, старпом и другие члены команды собирались на контрреволюционные беседы, а гибель корабля — результат диверсии.

Сам капитан получил «вышку», а старпом и другие — разные сроки. Этим ребятам как-то удалось узнать, в какой камере находится их капитан. Кто-то из них оказался, как уже осужденный, в рабочей камере как раз над нами, и мы установили с ними связь. Сделано это было следующим образом: на мужских брюках тех лет обязательно имелись над карманами хлястики с металлическими пряжками, чтобы можно было регулировать ширину в поясе. Вот эти-то пряжки нам и помогли. Мы их края остро-остро оттачивали на бетонном ложе и урывками, в часы, когда надзиратель обычно обедал, этими миниатюрными ножичками надрезали сверху сетку, закрывавшую форточку, становясь по очереди друг другу на плечи. Сверху нам спускали «коня», т. е. посылку на веревке (делалось это вечерами), мы отгибали сетку, принимали передачу, а сетку прижимали на место.

Свежие помидоры, лук и ягоды были подарком даже для смертников. Более того, мы этими ножичками умудрялись бриться, хотя испытывали при этом немалые муки. Так как в камерах ежедневно проводился тщательный обыск, мы прятали ножички в шов кирпичной кладки, загирая известкой нарушенный участок. Начальник корпуса бесился, глядя на наши бритые физиономии, а нас эти шалости отвлекали от непереносимого ожидания.

Давали нам и книги из тюремной библиотеки, но не по выбору, а так, что попадалось под руку надзирателю. Мне, например, досталась книжка

«Певчие птицы», и за все время пребывания в камере смертников я так ее и не одолел. Трудно было сосредоточиться на чтении, иные мысли заслоняли смысл прочитываемого.

Истекали сорок пятые сутки моего пребывания в этом невеселом месте. И вот уже под вечер (т. е. когда и ЭТО было возможно) вдруг зазвенели у нашей двери ключи, она приоткрылась, просунулась рука начальника корпуса, и палец направился в мою сторону. Я поднялся, обнялся с Семко, сделал шаг к двери. Полушепот: «С вещами», – как удар палицей по голове! Значит, не «туда».

В коридоре кроме надзирателя и начальника корпуса никого не было. Меня отвели в какую-то конторку и дали прочесть кусочек телеграфного текста: такому-то высшая мера наказания заменяется восемью годами исправительных лагерей и тремя годами поражения в правах. Сразу вспомнилось из «Лейтенанта Шмидта...» (Пастернак) – «Каторга, какая благодать!»... Я расписался, хотя с трудом удерживал ручку в пальцах.

Повели этажом выше и толкнули в огромную камеру, полную галдящих людей. Первый, кого я разглядел, был Юрий Николаевич Ментов. Я бросился к нему: «Кого еще?» Он указал на угол, где на нарах сидели Сокольников, Михаил и Гри-Гри. «А...» – замер у меня вопрос. Нет, ни Евгения Федоровича, ни Треймана мы так и не дождались. Остальных привели сюда еще до обеда, а мне отомстил начальник корпуса за «шалости», продержав до вечера.

**М**ы почувствовали себя почти родными, хотя еще недавно на очных ставках вынуждены были «уличать» друг друга в разных мерзостях. Все всем было понятно, и никакого злобного чувства и обиды в душе не возникало. Пожалуй, только Гри-Гри в какой-то степени чувствовал себя «оговоренным» остальными, но уж таков был его характер, да и возраст сказывался. Потекли прямо-таки радостные дни. Мы строили планы на будущее, чувствовали себя молодыми, сильными, способными перетерпеть любые испытания и еще вернуться к близким. Конечно, все это перемежалось трезвыми мыслями о лагерных реалиях и быстро текущем времени.

Михаила очень беспокоила судьба матери, Юрия Николаевича – заботы о жене Лиде, меня – так до конца и не определившиеся отношения с Лизой. Но я знал, что у меня будет расти дочь, и это было главным. К сожалению, никому из нас так и не дали свидания с близкими, да и недолго довелось быть вместе.

В конце сентября меня и Сокольников при утренней переключке вывели с вещами из камеры, не дав толком проститься с остальными. Нас вместе с двумя десятками заключенных посадили в открытую кузовную машину, где было выгорожено место для охранника с ружьем, и повезли



на пресловутую пересылку, широко известную в связи с судьбой Осипа Манделштама.

В больших бараках мы с Сокольниковым устроились на соседних нарах, и потекли тягостные дни ожидания. Мужская и женская зоны соприкасались, и тут у меня произошла неожиданная встреча. Я уже писал, что после замужества Оли я для себя, а иногда и для мамы брал готовые обеды в семье, проживавшей в начале Пушкинской улицы, т. е. рядом с нашим домом. У хозяйки, отпускаяшей обеды, было две дочери, младшая, Ариадна Ильинична, эффектная блондинка, была замужем за капитаном Беловым. Это были славные люди, и у меня установились с ними теплые отношения. И вот теперь на пересылке я вдруг за колючей проволокой увидел Алю Белову. Она на пальцах показала мне цифру шесть, т. е. у нее была статья 58-6 – шпионаж. О судьбе мужа я спрашивать не стал. Много позже я узнал, что он не был арестован и приложил невероятные усилия для реабилитации Али. Но колымского «счастья» ей все же пришлось хлебнуть.

Впервые на этой пересылке я столкнулся с тем беспределом уголовников, который культивировался в советских лагерях повсеместно. Об этом так много написано, что я не вижу необходимости что-либо добавлять из своего опыта. Урки занимали все командные посты в лагерях и творили все что хотели с бессловесной массой политических узников, вплоть до физической расправы.

Неделя за неделей проходила на пересылке, но корабли, увозившие заключенных на Колыму, не справлялись со все возрастающим людским потоком. Наконец, наступил поздний ноябрьский день, когда меня и Сокольникову выкликнули на утренней переключке. Мы быстро собрали свой тощий скарб, построились в колонну и пошли пешком через долину Первой Речки, Луговую на Чуркин. Началась посадка на пароход «Кулу», и тут же нас разлучили. В твиндеках были устроены сплошные тройные нары, куда набили столько народа, что трудно было втиснуться на свое место. На палубе устроили некие «скворешни», висящие за бортом над водой, куда выводили группами заключенных на opravку. Толкучка при выходе на палубу была страшная, прорывались только более сильные, а те, кто не смог дождаться своей очереди и совершали неизбежное так сказать «на ходу», изгонялись с нар и вынуждены были устриваться где-то на ледяном железном полу. Число таких пострадавших все время росло, и атмосфера становилась гуще и гуще.

На шестой или седьмой день мы попали уже в Охотском море в жестокий шторм. Ко всем бедам добавилась всеобщая морская болезнь. Массы блевотины сплошь покрыли пол и волнами ходили по твиндеку при качке. На ногах остались немногие – я был в их числе, так как морской болезнью не страдал. Нас привлекли к разноске пищи и воды: нужно было подносить бачки с водой и носилки с пайками и нарезанной ломтиками соленой горбушей от каптерки, расположенной на носу к входам в трюм. При шторме



Виталий Николаевич Фролов – один из ближайших друзей Олега Борисовича на протяжении всей жизни, участник скрипичного квартета. Апрель, 1982 год.



А.И. Белова. Владивосток, 1933 год.  
*Фотография предоставлена  
О.К. Беловым – сыном Ариадны  
Ильиничны Беловой.*



Общий вид бухты Нагаево, 30-е годы.  
*Фотография из фондов Магаданского краеведческого музея.*



Старая шахта в районе Аркагалы, конец 40-х годов.  
*Фотография из фондов Магаданского краеведческого музея.*



Колымская трасса зимой, 40-е годы.  
*Фотография из фондов Магаданского краеведческого музея.*

в девять-десять баллов, когда через палубу тяжело груженного судна перекачивались волны, это было весьма рискованным занятием, и одну из групп подносчиков так и смыло за борт. Заходить по нужде в упомянутые «скворешни» стало невозможно — при бортовой качке они то и дело погружались в воду.

Казалось, наступает конец всему. Охрана, поверженная морской болезнью, перестала за нами наблюдать. После пребывания на палубе войти в зловонный трюм было непереносимо, но я буквально валился с ног от усталости и бессонницы. К вечеру шторм стал стихать, охрана опомнилась и стала загонять всех в трюм. Умерших было много, соседи стаскивали их в отдаленный угол твиндека и складывали штабелем. Както, промаявшись ночью, я утром проснулся от непривычной тишины. Машина корабля была остановлена, мы стояли на рейде в бухте Нагаево.

Нас подбуксировали к небольшому пирсу, установили широкие трапы, и началась разгрузка. Многих заключенных недосчитывались (часть без сил не поднималась с нар), путаница была страшная, но к середине дня я попал в колонну и отправился пешком в лагерь, который находился на окраине тогдашнего Магадана. Всю колонну привели к санпропускнику и частями направляли в баню, а вещи — в дезокамеры (пропарочные шкафы). При этом обслуга страшно торопила, щедро раздавая оплеухи направо и налево обессиленным людям.

По выходе из бани каждому вручали комплект лагерного одеяния, отнюдь не сообразываясь с ростом получавшего. Все совершалось в спешке, так как на морозе ожидали тысячи часто совсем раздетых людей. В комплект (в то время еще богатый) входили бушлат, телогрейка, носильное белье, суконные портянки, валенки, шапка-ушанка на вате, рукавицы, сшитые из старых портянок, и кусок вафельной ткани на полотенце. Наши вещи, сданные в пропарку, «усохли»: все мало-мальски ценное исчезло — было разворовано урками. Протестовать в этом бедламе было не перед кем и некогда. Быстренько строили одетых в колонны и уводили в лагерь. После молниеносной кормежки начали составлять списки и разводить по баракам. Все еле держались и, дойдя до нар, тут же засыпали.

Сокольников я потерял еще при посадке на корабль, и теперь во круг на много лет были только чужие люди. Вечерами, собираясь у печек, все с тревогой выспрашивали у старожил-заключенных о порядках, царивших на Колыме, о вероятной судьбе прибывших. В один голос все рассказывали о золотых приисках, как о страшном месте, откуда возврата быть уже не может. И это говорилось еще в либеральном 1937 году, когда Колыма жила по Берзинским порядкам.

Нас порой выводили на разные городские хозяйственные работы, и всегда добровольцев было больше, чем требовалось. Масса заключенных постепенно дифференцировалась, более деятельные и практичные вступали

в какие-то деловые связи с обслугой, собирались в землячества. Особенно дружными мне показались казахи, которых было немало в партии, прибывшей со мной. Тесных и дружеских знакомств не возникало, так как периодическим людям набирали в этап из разных барачков, да и среди заключенных продолжала ощущаться взаимная настороженность, вызванная всеобщим стукачеством, так старательно культивировавшимся при следствии.

Подошли суровые зимние морозы. В самый их разгар 12 декабря вызвали на этап, наконец, и меня. Для перевозки массы заключенных, скопившихся к концу навигации в Магадане, у Дальстроя не хватало автомашин. И вот стали отправлять пешими этапами людей, прошедших перед этим долгое время в тюрьмах и только что перенесших тяжелейший морской путь.

Нас собрали сто человек, и по улицам праздничного Магадана, отмечавшего светлый день сталинской конституции, под бравурную музыку, разносившуюся из уличных громкоговорителей, мы вступили на пресловутое колымское шоссе. Все свои пожитки, чемоданы, заплечные мешки и узлы мы несли с собой. Те, кто бывал в Магадане, знают, что шоссе вначале идет вниз от центра города, а потом взбирается на противоположную сопку. Уже на этом первом подъеме наиболее нагруженные и слабосильные стали расставаться со своими пожитками, т. е. попросту бросать их в дорожный кувет. Я обратил внимание, что за этапом шла пустая грузовая машина, и сидевшие в ней люди, как стервятники падаль, подбирали брошенные вещи. Она сопровождала нас до совхоза «Дукча», после чего завернула в Магадан. Дань была собрана.

На подходе к командировке 23-го км нас завели в отапливаемый барак, дали возможность перемотать портянки, оправиться, накормили парой ложек горохового пюре (почему-то это пюре всю дорогу нас сопровождало) и повели дальше. Колымский зимний день короток, и к ночевке на 31-м км мы подходили уже в полном мраке. Ноги болели от нерасхоженных валенок.

Полуночью пошли дальше, следующая ночевка была где-то около 64-65 км, высоко на сопке. Было непривычно холодно. На следующий день дошли до поселка Палатка, и тут нам дали дневку для отдыха, так как люди валились с ног, а многие обморозились. Блаженствовали в теплом бараке. Не знал я тогда, что по соседству, в поселке Хасын, протекут самые счастливые дни моей колымской жизни.

Следующий участок пути был труден. Дорога все время шла в гору, мороз усиливался. На пятый день пути дошли до поселка 150-й км. После ночевки нас неожиданно рассадили по трем кузовным автомашинам с фанерными будками и быстро довели до поселка Атка. Как ни короток был путь, но если бы путешествие затнулось, многие, особенно сидевшие у заднего борта, совсем бы ооченели. Стоял густой туман и, по уверению лагерников, встретивших нас в Атке, мороз достигал 56 градусов. Я основательно простыл дорогой, наутро у меня поднялась температура и заболело горло. Обратился в амбулаторию, и фельдшер дал мне щепотку марганцовки для полоскания горла. Какие хвалебные гимны

должны быть пропеты в честь этого скромного лекарства! Я поставил быobelisk на Колыме в память о спасенных им жизнях.

Через день весь наш этап подняли спозаранку в дальнейшую дорогу. Начальник конвоя отказался меня взять, так как температура у меня была под 40 градусов, горло распухло, и я не мог отвечать на переключках. Эта ангина (единственная в такой тяжелой форме за всю жизнь) спасла меня. По дошедшим позже по лагерной «параше» сведениям, тот наш этап с сопровождающим оленьим транспортом был направлен целиком на богатейшее оловянное месторождение, где впоследствии был построен рудник Бутугач. Все заключенные в первую же зиму погибли от голода и непосильного труда.

**Я** медленно поправлялся, и медчасть не рисковала спихнуть меня в проходящие этапы. Наконец, температура упала, и как-то утречком в морозном тумане я снова зашагал по колымской дороге смерти.

Помню ночевку в дорожном поселке Мякит (по-русски – перевал). Отсюда нас снова повезли машинами до поселка Ларюковая, а вскоре мы пешком добрались до поселка Оротукан, центра южного горнопромышленного управления Дальстроя – ЮГПУ (в этом царстве чекистов все было созвучно этим трем сакраментальным буквам – ГПУ!).

В Оротукане был огромный пересыльный лагерь, и в каждом из его барачков царствовал свой «пахан» – вор в законе, которому все здесь было подчинено. В глубине барака, на верхних нарах, на множестве подушек восседали уркаганы и сутками дулись в карты. Там проигрывалось все: «тряпки» (одежда), деньги, продовольствие и даже жизнь. В поселке был клуб имени комсомолки Татьяны Маландиной, проигранной в карты и зарезанной каким-то блатным неудачником. За ту пару дней, что я провел в бараке Оротуканского лагеря, я полностью избавился от дымки романтики, которая еще удерживалась в моем сознании в отношении уголовного мира. Всей душой я возненавидел этих нелюдей и впоследствии полностью был согласен с Шамамовым в его оценке этой категории лагерного населения.

Снова нас собрали в пеший путь, на этот раз более длительный (около 40 км), до поселка Спорный. Здесь тоже несколько подзадержались, возможно, в связи с наступлением Нового года охрана решила погулять. Второго января 1938 года задолго до рассвета нас вывели из лагпункта. На этот раз к нашей сотне присоединили урок 20, которых удалось выудит из барачков. Но как только мы свернули с основной трассы на боковую, вся эта публика улеглась на снегу, отказываясь идти дальше. Оказывается, мы свернули на дорогу к прииску Утиный, и урки, которые на центральной трассе промышляли воровством и «кантовались» на легких работах, поняли, что их ждет прииск, т. е. голод и смерть. Вохровцы пытались их «тревожить» прикладами, тогда урки задрали рубашки и начали наносить себе порезы на коже живота. Долго шли переговоры. Мы стали попросту замерзать (мороз

был за 50 градусов) и тоже улеглись на снег, свернувшись в комок, как только могли. Тогда начальник конвоя решил: нас подняли и отвели метров на 200, сзади послышались пачки выстрелов... Тут же мы отправились в путь. Поздно вечером, после того как мы одолели трудный перевал, впереди за сверкали огни: это был ОЛП<sup>1</sup> «Стан Утиный».

Сразу с этапа, голодных и обессиленных, повели в баню. Какое же это изощренное мучительство – зимняя лагерная баня! Все сто человек сгрудились в тесном предбаннике. Первые счастливыцы быстро скидывают с себя одежду (вся она помечена фамилиями), сдают ее в прожарку и проходят в холодное банное помещение. По дороге два парикмахера тем, что называется бритвой, удаляют растительность с лобка и подмышками, смазывают кровоточащую кожу керосином, и после этого жертва получает шайку тепловатой воды и крохотный обмылок. Нужно сделать вид, что моешься, извести воду и податься к выходу. Там совсем ледяное помещение, и только через окно «прожарочной» доносится теплый воздух. Хватаешь ком накаленной одежды и, обжигаясь, торопишься в нее залезть, чтобы хоть чуть сберечь драгоценное тепло. Но помещение постепенно переполняется, и вот раздается команда: «Одетые – выходи!» «Ну, – думаешь, – сейчас быстренько добежим до барака, благо до него рукой подать». Не тут-то было! – «Становись!» А мороз мокрую кожу буквально ошпаривает. Так стоим, пока последний доходяга нацепит на себя одежду и выйдет наружу. Ротный (обязательно урка) просчитывает колону раз, другой, и только потом ведет через вахту в зону.

Утром наш этап в прежнем составе отправили на приисковый участок «Юбилейный». Место это знаменательно первыми промышленными успехами золотодобычи, которую ставили еще геологи Билибин, Цареградский, Раковский. Но нам было не до истории. Поселили нас в огромной палатке, человек на двести. В ней были установлены две печки – положенные на бок бочки с выведенной трубой. По обеим сторонам палатки во всю ее длину были устроены сплошные нары из неошкуренных листовенниц диаметром пять-восемь сантиметров с почти такими же просветами между ними. В первый день нам выдали матрасные наволочки и отправили на соседнюю сопку. Там, выдергивая из-под глубокого слежавшегося снега ветви стланика, мы обламывали кисти игл в наволочку, а ветви забирали с собой как топливо. Но в иглах было полно намороженного снега, который никак не хотел высыпаться. Эти набитые хвоей матрасы пришлось неделю держать под нарами, пока снег не высох.

Согреть палатку установленными печками и тем единственно доступным топливом, которое могли дать эти забытые Богом места, было совершенно невозможно. На нарах царила стойкая отрицательная температура, понижавшаяся при приближении к стенке. Дверей в палатке не было, вместо них – брезентовые полотнища, и понизу все время тянул ледяной воздух.

<sup>1</sup> ОЛП – отдельный лагерный пункт.

Если с вечера сохранялся кусочек пайки (обязательно спрятанный в изголовье), то утром «угрызть» его было невозможно. Наш «досуг» протекал так: вокруг печки усаживались человек 15-20, отогревались руки, сушились перчаточки. Строго по времени их сменяли лежавшие на нарах, тех, в свою очередь, следующая группа, потом возвращались первые – и так до утра. Сон наступал мгновенно, часто не успеваешь улечься так, чтобы не жали бревнышки нар. И вот после трех-четырех оборотов вдруг раздается звон рельсы, подвешенной у вахты. Подъем!

**П**лотнo запакoвывaешьcя вo всю имeющуюcя oдежду (oтaвить ничeгo нeльзя – укpaдут дaжe старую рвaную пoртянку) и брeдeшь в cтoлoвую. Пoнaчaлу нaм дaвaли пo 600 г хлeбa в дeнь и утрoм – кусoчeк coлeнoй кeты и нeслaдкий чaй (caxap шeл блaтaрям), в oбeд – миску бaлaнды и пaру лoжeк кaши. Нo тaк былo, увы, тoлькo пepвыe двe нeдeли (aкклимaтизaциoнныe!). Пoтoм вce рeшaл пpoцeнт выpaбoтки.

Нашa бpигaдa рaбoтaлa нa тaк нaзывaeмoй вcкpышe тoрфoв. Учacтoк дoлинy, пo кoтoрoй прoтeкaл зaмeрзший в тy пopу ключ, рaзбypивaлcя мeлкими, пo 50-60 см, буркaми, т. e. ямкaми, диaмeтpом в 20-25 см. В бурки зaклaдывaлись пaтpoны aммoнитa и взpывaли. Взopвaнную пopуду слeдoвaлo зa смeну убpaть, чтoбы дaть мeстo бурильщикaм. Смeрзшиeся гaлькy, пeсoк и глинy («тoрфa») зaгpужaли лoпaтaми в кoрoбa нa пoлoзьях, a кpупныe глыбы уклaдывaли нa низкиe сaни. Их слeдoвaлo вывeзти «зa кoнтyp», т. e. зa гpaницы рaспpocтpaнeния зoлoтoнoсных пeсcoв. Нaмoрaживaли лeдяныe дoрoжки для лyчшeгo cкoльжeния. Oбычнo зa кoнтypoм уcтpaивaли cпeциaльныe oтвaлы, гдe ycтaнaвливaли движoк и бeскoнeчную кaнaтнyю дoрoжкy. Кoрoбa и сaни cпeциaльнoй cкoбoй цeпляли зa тpoc, и их тaщилo ввepх нa oтвaл, гдe cпeциaльныe рaбoтaги oпpoкидывaли кoрoбa нa кpaю oтвaлa и cпycкaли пopoжняк нa oбpaтнoм тpoce дoрoжки. Нopмa выpaбoтки былa пoтpясaющaя: зa 12-чacoвoй рaбoчий дeнь тpeбoвaлoсь вывeзти 12 кyбичecких мeтpoв нa кaждoгo члeнa бpигaды (cчитaя пoливaльщикa дoрoжек, oтвaльщикoв и др., a тaкжe игpaвших в этo вpeмя в кapты блaтных, числившихcя в бpигaдe). Выпoлнить нopмy никтo нe был в cocтoянии, и здeсь вcтyпaли в дeйcтвие рaзличныe пpипиcки. Глaвнoй фигypoй был зaмeрщик, кoтopый мoг пoкaзaть зaвышeнный oбъeм вcкpыши. Нaчaльcтвy этo былo выгoднo, тaк кaк лaгeрь пoлучaл c пpoизвoдcтвa кaкoй-тo пpoцeнт зa выпoлнeнный oбъeм рaбoт, yрaкaм, т. e. вceй oбcлyгe лaгeря, тoжe: пpoдyктoвoe cнaбжeниe пoвышaлoсь c выpaбoткoй, и былo oткyдa вoрoвaть. Нo сaми рaбoтaги-кoнтpики ничeгo oт этoгo нe имeли. Их дeржaли нa низшeй кaтeгoрии cнaбжeния – пятoй, a тo и нa штpaфнoй, a вeсь пepeрaсчeт шeл блaтaрям.

Пoявилcя пepвый «aрхив», т. e. yмepшиe. В нaшeй пaлaткe кaк-тo cрaзy двoe к yтpy oкoчeнeли. В рaбoтaвшeй co мнoй гpуппe пoжилoй бeлopyc



отошел оправиться, а когда поутру хватились (мы работали тогда ночами), то нашли его замерзшим, сидящим на корточках.

У многих были отморожены пальцы рук и ног, они мокли, гноились и никак не заживали (даже от марганцовки!), так как обморожения ежедневно подновлялись. Почти все ходили со струпьями на носу и щеках, и видок у работяг, когда они разматывали в столовой свои шарфы и полотенца, был аховый. Самым слабым местом одежды были рукавицы, их шили из старых телогреек, и после первого же часа работы вата куда-то сбивалась и оставалась тонкая хлопчатобумажная ткань. Вскоре я тоже обморозил кончики пальцев на правой руке. Нужно было часа два просидеть в амбулатории, чтобы получить свежие марлевые тряпочки на пальцы, пропитанные той же марганцовкой. В ожидании приема все дремали и вызываемый будил очередного.

Смерти в нашей палатке стали повторяться все чаще, да и я сам слабел на 5-й категории питания и без должного ночного отдыха. И вот как-то в обед я встретил в столовой знакомого – Сережу Кобрин, химика, работавшего до ареста где-то в Новосибирске. Не могу вспомнить, где и когда мы с ним познакомились, но узнали друг друга сразу. Он был на Юбилейном с осени, его бригада жила в рубленом бараке, и моей мечтой стал переход к ним в забытый комфорт. У меня сохранилась последняя домашняя вещь – гимнастерка защитного цвета. Я как-то упросил банщика пустить меня постирать ее, высушив там же у печки. С ней я направился к старосте, и все было договорено мгновенно. Я тут же переселился в барак к Сереже. Вскоре в старой бригаде люди стали умирать пачками, и было совестно встречаться с бывшими соседями.

Не следует думать, что работа в новой бригаде была легче или питание обильнее: та же вскрыша, те же кубометры, и та же 5-я категория. Но баланс энергии в моем теле стал складываться более благоприятно из-за меньших потерь тепла, а сон позволял полнее восстанавливать силы.

Постепенно начало теплеть, но однажды, возвращаясь в начале апреля утром с работы, я сильнеешим образом обморозил себе щеки – просто выключился постоянный контроль, который уберегал зимой. Подошли промывочный сезон и с ним новые непривычные виды работ. Надо было учиться катать тачку, кайлить скальный грунт. Все тонкости устройства удобной подборочной лопаты приходили не сразу. Я стал отставать от своих собригадников, которые занимались подобной работой уже второе лето. Вдобавок сменился бригадир и стал заводить себе любимчиков, угождавших ему во всем, приписывал им «проценты», конечно за счет остальных. По неопытности я стал протестовать и сразу же попал в число неудобных.

Бригаду поставили на разработку богатейшего золота («сундучка»), и нам выдали специальные металлические тачки, чтобы не происходило потерь по пути от забоя до бутары. Когда такую тачку загрузишь зеленоватой глиной с крупной щебенкой и катишь к бударе (промывочному

прибору), то сверху собирается вода и размывает поверхность глины, на которой, как яркие искры, высвечиваются довольно крупные золотины. Сколько же золота в те два месяца добыли мои неопытные, слабеющие руки – десятки или сотни килограммов?

Потом пошли более бедные «пески», и бригаду стали задерживать в забоях сверх положенного времени, чтобы дотянуть план. Был случай, когда нас не заводили в барак 46 часов, а в зону приводили только кормиться. С каждым днем я все более и более слабел. Верхняя часть ступней распухла так, что я с трудом натягивал бахилы. Всю кровь, казалось, выпивали комары, тучами носившиеся над забоем. Я был в состоянии выкатить не более половины положенного числа тачек и прочно утвердился в положении штрафника по питанию, т. е. получал 400 г хлеба и два раза по миске баланды. Однажды после долгого рабочего дня я присел на порожнюю тачку – и тут же был сбит на землю ударом бригадира-блатаря. С трудом поднявшись, я схватил кайло и, ни о чем не рассуждая, ударил им бригадира. Причинил ли я ему серьезную травму – не знаю, так как тут же был повален и до полусмерти избит сапогами вохровцев. Меня приволокли в лагерь и посадили на ночь в «кондей» (карцер), а утром отправили на Стан Утиный и поместили в штрафной барак.

Что же представляли собой этот барак и его постояльцы? Небольшое помещение с зарешетчатými окнами, по стенам трехъярусные нары, дверь на замке и с обычным тюремным оконцем. Нас выводили на те же работы, что и остальных, но при возвращении в зону запирали в барак. Кормили два раза в сутки: в оконце в двери подавали нарезанные пайки и миски с баландой. Контингент штрафников был пестрый. Как и везде, верховодили урки – они принимали пищу и раздавали лишь тем, кто им чем-либо приглянулся. Но большинство составляли доходяги, подобные мне. Помню, что урка, который всем командовал, держал у себя под нарами пожилого заключенного, очень близорукого, у которого сохранились очки с черной «чеховской» ленточкой. Наевшись досыта, урка катал из хлеба шарики и бросал их своему «трезору», заставляя его под смех всей уголовной братии ртом их ловить. Пытаться приостановить это издевательство было невозможно: несмотря на ежедневные тщательные обыски, уркаганов было полно ножей, и все свелось бы к тому, что тебя просто прирезали бы.

Так прошла неделя, меня стал изводить кровавый понос, и вот 18 августа при разводе, когда наша бригада проходила вахту, я упал, потеряв сознание. Если бы это произошло получасом позже в забое, меня просто оттащили бы в сторону, а ночью заехали за телом. А тут на разводе присутствовал врач, и он потребовал отправить меня в больницу. Очнувшись от крепкой понюшки нашатырного спирта, я в сопровождении вохровца еле-еле добрал до больницы, которая находилась за зоной, меня уложили

в ванну, и помню, как больно было моим костям лежать на ее эмалированном дне. Кое-как окатив водой, меня одели в больничное белье и уложили на койку. Какое это было блаженство!

Больницей заведовала высокая массивная женщина-врач средних лет, говорившая грубым, почти мужским голосом, но что это был за превосходный человек! Вообще, как мало тем же злым Шаламовым и прочими жизнеописателями ГУЛАГовского царства сказано благодарных слов о лагерных врачах и их трудной и самоотверженной работе.

Были среди них, конечно, и выродки, усердно помогавшие «системе» уничтожать людей, были капитулянты, заботившиеся лишь о сохранении собственной жизни и благополучия. Но сколько примеров героического служения своему долгу целителя и защитника обессиливших мне известно из собственного опыта и благодарных рассказов бывших заключенных! Но никто уже не помянет их ныне добрым словом, ушло из жизни поколение, которому партия и власти запретили говорить в полный голос о лагерных страдальцах и их врачевателях. Мне очень жаль, что я так и не узнал ни тогда, ни позже фамилии этой заведующей больницей ОЛПа «Стан Утиный».

Я пробыл в больнице недели три – срок редкостный для пациентов-заключенных. Молодость брала свое, перетруженные мышцы набирали силу, и когда меня после выписки направили в «слабосильную» бригаду (теперь ее назвали бы реабилитационной), я вновь почувствовал себя в состоянии действовать лопатой. Бригада, куда меня зачислили, трудилась на участке Холодный в нескольких километрах от Стана Утинового. Там располагался цех зимней промывки песков (а холода уже подступали).

Что же он собой представлял? Из шахты зимней добычи «песков» (в действительности это была сланцеватая щебенка) они вагонетками подавались на верх плоских невысоких камер, на полу которых были проложены перфорированные трубы, по которым подавался пар. После загрузки камеры проводилась паровая оттайка породы, которую тут же разбирали промывальщики, мывшие лотками золото в больших железных сварных чанах, установленных в обогреваемом помещении. Летний промывочный сезон к тому времени закончился, цех заработал, и на нашу долю выпала работа по разравниванию загрузки в камерах. Это был верх мечтаний: весь рабочий день находиться в обогреваемом помещении, когда снаружи ветер уже наметал первые сугробы.

Однажды, завершив загрузку камеры, я прилег на выровненную породу в ожидании следующей партии вагонеток и уснул. Камеру закрыли и, когда я пробудился, вокруг стояла тьма, шипел пар, а спину порядком-таки жгло. Я начал орать, и потерявшие меня напарники приоткрыли боковой люк. Стоило мне выбраться из густого тумана наружу и выпрямиться, как мой старенький тулупчик, доставшийся случайно при раздаче зимней одежды, лопнул по всей длине спины. Так я и проходил ту зиму с заплатой на спине из старого бушлата.

Вскоре нас сочли уже работоспособными и послали на проходку шурфов. По простиранию золотоносной залежи пробивалась цепочка шурфов (глубоких колодцев), которые на горизонте залегания «металла» сбивались, т. е. соединялись горизонтальным штреком с шахтой, откуда выдавались пески. Такая система убистряла проходку штрека во много раз. Над шурфом устанавливался вороток с бадьей, в которой мы спускались в шурф и выдавали наверх пустую породу. Работали вдвоем, чередуя работу в шурфе и наверху. Но вначале нужно было забурить дно шурфа, и это тоже делалось вдвоем: один с кувалдой, другой со стальным шпуром. Когда бурки были готовы (нужно было успеть до обеда), криком вызывали бригадира, и тот поднимал нас из шурфа, а туда совместными усилиями спускали взрывника. Тот закладывал патроны с аммонитом, поджигал бикфордов шнур, и мы быстренько извлекали его на поверхность. После обеда (шурф успевал к тому времени проветриться после взрыва) выгружали наверх взорванную породу.

И эта работа была благодатной – в шурфе было относительно тепло, и никто не понукал криками «давай, давай». Но, увы, и она закончилась, и к самым лютым морозам нас перевели на открытые работы. Бригадиром в ту зиму был у нас вор в законе Перельгин, который появлялся вскоре после развода, затем исчезал и вновь приходил лишь к проведению замера. Эта процедура – учет сделанной работы – определяла все благополучие нашего существования: сумеет бригадир обмануть замерщика – и мы получали приличные «проценты», нет – и мы садились на 4-ю, а то и на 5-ю карточку.

Основной работой было разбуривание полигона. Это делалось двояко: на уже вскрытой площади бурились железными ломami неглубокие «бурки» (ямки) для закладки аммонита. А вот разбуривание борта ключа в несколько метров проводилось так называемым пойнтовым бурением. Маленький котелок на салазках – «бойлер» давал пар, который шлангами подводился к длинным стальным шестигранным стержням с каналом внутри. Этот «пойнт» забивали кувалдой с помощью башмака, укрепленного на одном конце, в мерзлую породу и через некоторое время железной ложкой на длинной палке выгребали оттаявшую вокруг «пойнта» породу. Глубже загоняли кувалдой «пойнт» в борт ключа и снова выгребали грунт. Таким путем бурились бурки в несколько метров длиной. Работа на бойлере, хотя и считалась «блатной» (у теплого котелка!), была страшно хлопотливой. Нужно было успевать наколоть дров для топki котла, нарубить и привезти лед с ближайшего ключа и оттаять его паром для питания котла, все время следить за давлением и уровнем воды в котле и подавать ее инжектором (при этом мокли рукавицы), подколачивать «пойнта» и выгребать оттаявшую породу. Мне довелось некоторое время работать на бойлере, и я уставал от нее сильнее, чем от других зимних работ, где можно было давать себе передышку. Зато эта обычно ночная работа позволяла на какое-то время оставаться в одиночестве, и за это можно было примириться с любой перегрузкой. Именно

во время одного из таких дежурств я перенес самый сильный мороз за все годы жизни на Колыме: когда я утром подходил к вахте лагеря, на висевшем там термометре было -62 градуса (февраль 1939 года). Почти такой же холод пришлось снова пережить позднее при работе на ручном бурении.

**К**огда долбишь ломом бурку, то прежде всего нещадно стыннут руки и ноги, но постепенно мороз добирается и в самую глубь тела. И вот случилось так, что в сильнейший мороз нашу бригаду поставили в глухом забое на ручное бурение. Час за часом уходило тепло, и все мы – молодые и пожилые – начали стоя замерзать. Это удивительное ощущение мне довелось испытать еще только однажды на Алдане, но об этом позже.

Неожиданно в неподвижном морозном тумане мой сосед немец Мерц вдруг запел псалмы. Я плохо понимал произносимые им слова, но, в общем, он предавал себя, уходя из жизни, в руки Всевышнего. Случилось необычное: этому простому, торжественному и как-то всем близкому мотиву стали вторить сначала один-два стоявших поблизости, потом подхватили следующие, кто как умел, и, наконец, вся бригада стала подпевать этим повторяющимся строфам. Забеспокоилась «вохра», раздались окрики «Замолчать!», но в ответ напев стал еще дружнее и торжественнее.

Надо заметить, что петь на таком морозе было мучительно, воздух обжигал легкие и перехватывал дыхание, но, вопреки всему, напев рос. Старший вохровец, наконец, не выдержал и скомандовал: «Построиться в лагерь!». Пение затихло, и мы, едва передвигая ноги, стали толпой выходить из забоя: даже для этих продубленных разными зверствами охранников было ясно, что они уже были не властны что-либо с нами сделать.

На термометре у вахты было -59 градусов.

В тот вечер вся бригада рано улеглась по нарам: ни обычных перебранок, ни картежных засидок уркачей. Всем было как-то неловко говорить о будничном, точно мы прикоснулись к чему-то вечному.

**О**статок зимы 1938/39 года в общем прошел для меня достаточно благополучно. Я сумел втянуться в работу и удовольствовался лагерной пайкой. Как-то в столовой я встретил Сережу Кобринина, который так выручил меня на Юбилейном. Он совсем «дошел» – остались кожа да кости, жадно доедал те крохи, что порой оставались на тарелках блатняков. Один-два раза я поделился с ним пайкой, большего сделать не мог. Он как-то жалко улыбался при разговоре, точно делал уступку собеседнику, обсуждая пустяки, а вся его душа была охвачена ожиданием близкого и неизбежного. Вскоре он исчез, и больше я его не встречал.

Огромный лагерь Утиный, в котором с осени скапливалось, вероятно, тысяч шесть-семь заключенных, к весне совсем обезлюдел. Многие нары пустовали, в столовой исчезли очереди. Судя по толпе, выходившей на

развод, нас оставалось не более тысячи человек. Таков был «архив» только одной зимы на одном из десятков лагерей.

Пришла весна, и наступил новый промывочный сезон. Насколько лучше я был к нему подготовлен, чем год назад! Я мастерски научился катать тачку, управляться с кайлом и лопатой. Конечно накайлить и выкатить к бутаре 5-5,5 кубометров сланцевой «щетки», т. е. выполнить норму, никто не был в состоянии, но с помощью обычных комбинаций с причитавшимся бригаде спиртом и махоркой бригадир удавалось выбить приличный «процент», и мы числились в ударниках.

Правда, пальцы рук совсем не хотели распрямляться, привыкнув целыми днями обхватывать ручки лопаты, кайла и тачки, и когда в столовой нужно было взять в руку ложку, то это стоило немалого труда. Но мышцы окрепли, и труд стал менее мучительным.

И вот, когда лето уже близилось к концу, меня вдруг выкликнули на разводе и оставили в зоне. Я пытался что-то выяснить в УРЧ (учетно-распределительной части), но там никто ничего не знал. Я сидел и основательно нервничал, как вдруг в барак вбежал ротный и велел мне быстро собраться с вещами. Я собрал скромный узелок и явился на вахту. Меня тут же посадили в машину, и прииск Утиный ушел для меня в прошлое.

**М**ашина довезла меня до лагеря поселка Оротукан, где мне пришлось уже ночевать около двух лет до этого. Но и тут ничего о своей дальнейшей судьбе мне выяснить не удалось, а в голове бродили всякие нехорошие мысли. Еще совсем недавно на разводах нам зачитывали приказы Гаранина о расстрелах сотен и тысяч заключенных «за контрреволюционную агитацию и саботаж на производстве». От «системы» можно было ждать чего угодно. Но вот поутру меня снова вызвали на вахту и в сопровождении молодого парня вохровца повели по трассе в сторону Магадана. Лишь пройдя три-четыре километра, когда мы присели передохнуть, я нерешительно спросил у своего конвоира, куда же он меня ведет. «Тебе, брат, повезло, — заявил он. — Вызывают работать по специальности в ларюковскую химлабораторию». Не сразу я пришел в себя от этого сообщения. Для меня понятия «Кольма» и «химлаборатория» были совершенно несовместимы, а то, что от меня потребуют специальных знаний и умения после двух с половиной лет полного отстранения от химии и любой умственной работы, ввергло меня в сомнения — а смогу ли своими скрюченными кистями что-либо делать в лаборатории?

Вскоре мы дошли до небольшого придорожного поселка с крохотной «зоной». Меня вежливо опросили, послали в баню (!) и водворили в довольно уютное помещение, которое и бараком-то не хотелось называть. Впервые на Кольме я получил какое-то подобие спальных принадлежностей и новую карточку в столовую.

Подошедшие к тому времени соседи-заключенные рассказали, что ларюковская лаборатория обслуживает анализами Южное горно-промышленное управление, что в ней имеется кабинет углехимии, проводящий анализы для углеразведки всего Дальстроя. Именно туда я и был отозван.

Поутру, тщательно побрившись предложенным соседом подобием бритвы и отмочив от земли свои руки, я с разводом отправился в лабораторию, где был представлен Ивану Митрофановичу Турскому. Я должен подробно рассказать об этом прекрасном человеке, хотя, к сожалению, та дистанция в отношениях, которую мы оба молчаливо поддерживали ради взаимной пользы, лишает теперь меня возможности привести о нем достаточно подробные биографические сведения.

Сын известнейшего профессора-лесоведа М. Турского, Иван Митрофанович, видимо, имел университетское образование. Много лет он провел на интендантской службе в Красной армии на какой то инженерно-хозяйственной должности. Много работал по газификации углей и после отставки сотрудничал во ВНИИТИ (институт искусственного жидкого топлива и газа). Ивану Митрофановичу было тогда лет сильно за пятьдесят. Был он невысокого роста, худощав, с поседевшими темно-русыми волосами. Очень подвижен (почти суетлив), нетерпелив и вспыльчив, но отходчив. Приехавшая с ним на Колыму жена Наталья Григорьевна была во многом его прямой противоположностью. Небольшого роста, темноглазая, говорившая низким контральто, она была всегда уравновешенна и спокойна, и в ее присутствии вспышки Ивана Митрофановича мгновенно угасали.

Они, как говорится, души друг в друге не чаяли и, видимо, прожили долгую счастливую жизнь. Иван Митрофанович звал Наталью Григорьевну «москочкой», а она его «масынчиком», что в их возрасте звучало прелестью. Был у них сын Юрий, который тоже избрал газификацию своей специальностью, но по окончании Менделеевского института его забрали в армию, и родители на срок его службы завербовались в Дальстрой поднакопить денег. Турских, вероятно, крепко надули в московском представительстве Дальстроя, пообещав широкое поле деятельности, тогда как Дальстрой 1939 года был занят только выбиванием с помощью заключенных максимального количества тонн золота. Единственным ведомством, заинтересованным в характеристике углей, была геологоразведка, возглавляемая тогда В.А. Цареградским, и особенно тот ее отдел, который ведал разведкой углей. Его возглавлял Николай Фокич Карпов – вторая фигура после Турского, сыгравшая в моей колымской судьбе весьма значительную роль.

Вместо технологических разработок по газификации промышленных предприятий Турскому пришлось создавать лабораторию, способную пропускать громадное число проб углей и сопутствующих пород, которые ежесезонно отбирались геологами со всей Колымы и которые требовалось оперативно исследовать. Поэтому-то и оказался возможным и необходимым вызов меня с прииска.

Угольный кабинет находился в поселке Ларюковская временно, к зиме его обещали перевести на весьма удаленную от Магадана Аркагалу (750 км), где велась разведка крупнейшего угольного месторождения. В то время в лаборатории работали, кроме Турских, четыре человека: Вениамин Львович (забыл фамилию), практик или техник-химик из Подмосковья, знакомый с техническим анализом углей, он, по существу, и руководил всей аналитической работой. Молодой химик Ирина Купчан, отъявленная комсомолка, больше пропадала по всяческим общественным поручениям и в лаборатории почти не бывала. Работали также двое молодых парней, заключенные Вася Ерофеев и Коля Смирнов. У них были довольно-таки страшные статьи (у Васи 59-3 – бандитизм), и почему на них остановил свой выбор Турский, ума не приложу. Видимо, захотелось их перевоспитать и наставить на путь истинный – были они очень молоды и, надо сказать, к Ивану Митрофановичу относились с величайшим почтением. Вскоре появился химик из Ленинграда Иван Петрович Гуля, специалист по производству взрывчатых веществ, который завербовался в Дальстрой, чтобы уйти из военной промышленности. Это был синеглазый красавец, чуть пришепечивавший, любитель анекдотов, дамский угодник, преферансист и к тому же страстный охотник. Он на время договора оставил в Ленинграде жену Серафиму Павловну и дочку Галку. Ожидался также приезд молодой пары: Галины Павловны Зыбаловой и Петра Семеновича Подосенова. Она заканчивала Менделеевку, а он – автодорожный институт. Однако появились они уже на Аркагале.

С первых же дней посещения лаборатории я запросто сошелся с Васей и Колей, но со стороны Купчан ко мне были проявлены ледяное недоверие и политическая настороженность, на что я сразу же решил начинать. Вениамин Львович был в общем приветлив, но чувствовал во мне конкурента, способного подорвать его авторитет. Лаборатория была оборудована простенько, но достаточно для проведения технических и элементарных анализов углей. Часть оборудования так и не распаковывалась в ожидании переезда на Аркагалу.

Обстановка в ларюковском лагере была вполне переносимой, особенно после присковских лагерей. Соседом у меня был бородач стояляр уже преклонного возраста. Когда я его спросил, за что же он попал на Колыму, ответ был лаконичен: «Троцкист». Все было понятно. Раздражали меня только два субъекта: один, маленького роста крепыш, был когда-то участником шляпниковской «рабочей оппозиции», сидел долго в политизоляторе и сохранил все черты партийного начетчика-функционера. Его занимали только давние политические споры, и он с каждым пытался их продолжать. В условиях колымского лагеря это звучало как чистая политическая провокация, и я по сей день не знаю, был ли это переполитизированный дурак или «насадка»-провокаатор. Вторым был его постоянный собеседник, еще молодой парень, вполне интеллигентного облика, некто



Поплавский. Какая же это была дурость — вселюдно поносить Сталина в лагерьном бараке!

Мои посещения лаборатории, не успев начаться, неожиданно прервались. Все трудоспособное население Ларюковой было мобилизовано на соседний прииск (Горный) на промывку золота, сезон заканчивался, и нужно было добить план.

Но если вольнонаемные трудились на прииске два-три дня в пятидневку, то нас — зк — просто на время перевели на этот прииск, подчинив всем его порядкам. И тут я показал класс работы — то ли настроение было счастливым, то ли перемена образа жизни требовала отдачи физических сил, но я попал в число рекорсменов, и в этом чуть не переборщил: начальство с большой неохотой и задержкой отпустило меня, наконец, в Ларюковую.

Тут я должен рассказать об обстоятельствах, которые в деталях и по сей день остаются для меня неясными. Еще на Утином меня как-то в конце 1938 года вызвал оперуполномоченный и стал расспрашивать о Лизе Филатовой — действительно ли мы находимся с ней в браке, где она, по моим сведениям, находится и т. д. Тогда я решил, что от Лизы поступило какое-то неосторожное письмо, а вся почта заключенным перлюстрировалась. По той же причине я ничего не стал писать об этом распросе домой. И вот, прибыв на Ларюковую, я как-то прочел в магаданской газете о главном архитекторе Магадана Е.М. Филатовой. Ошибка была маловероятна. В Ларюковую приехала на неделю из Магадана удивительно симпатичная женщина — геолог Фаина Клементьевна Рабинович, о которой на Кольме ходили легенды. Как-то после делового разговора я рискнул обратиться к ней с просьбой передать Лизе записку. Она охотно согласилась и добавила, что встречалась с Лизой в Магадане. После ее описания всяческие сомнения у меня отпали. Позднее я узнал, что она посетила Лизу, расспросила ее и все это поведала доверительно Николаю Фокичу Карпову, в порядочности которого не сомневалась.

И вот эти руководящие геологи решили устроить нам встречу. Затея эта была достаточно рискованной. Николай Фокич все же вызвал меня в командировку в Магадан, чтобы заодно поручить давно назревшее дело — приведение в систему накопившихся анализов углей. Мне дали на руки пропуск, и я попутками добрался до уже известной мне магаданской лагерной пересылки.

Геологоразведочное управление размещалось тогда еще в старом здании Дальстрояевского главка. Я быстро отыскал Карпова, и он с первого же взгляда произвел на меня самое благоприятное впечатление. Это первое впечатление лишь укрепилось в дальнейшем. Широко эрудированный геолог, умница, умело отмечающий в делах все второстепенное, он на протяжении почти 15 лет руководил разведкой углей на территории в 1/6

всего Советского Союза и умудрился при этом не нажать себе врагов, и на всех уровнях пользовался заслуженным уважением. Он удивительно умел находить общий язык со столь разношерстным коллективом, каким были работавшие в его подчинении геологи.

Позднее, когда наши отношения стали более доверительными, я убедился, насколько его возмущало и ранило все то преступное и возмутительное, что творила в те дни партия и советское правительство на Колыме, да и по всей стране. Замечу, что Николай Фокич имел мужество остаться беспартийным, несмотря на настойчивый нажим и даже угрозы.

На следующий же день по приезде в Магадан я получил от Фаины Клементьевны записку с адресом Лизы. Конечно, свободно разгуливать по Магадану в лагерном облачении для меня было рискованно, несмотря на наличие официального командировочного удостоверения. При том до отбоя я должен был появиться в зоне. И все же мы встретились.

После первых минут какой-то неловкости и взаимного переузнавания начались расспросы, и вот что я узнал от Лизы или, скорее, догадался. После рождения Эрочки Лизе стала помогать ухаживать за ребенком мать Михаила Белопольского, оставшаяся без всяких средств к существованию. Эта внешне простоватая и добродушная старушка на деле оказалась большой интриганкой, она поставила своей задачей поссорить Лизу с мамой, чтобы обеспечить себе на будущее положение воспитательницы Лизиного ребенка. Отношения становились напряженными, и к тому же появилась опасность репрессий в отношении Лизы как жены врага народа, хотя мы так и не успели оформить наши отношения.

И вот Лиза решила завербоваться в Дальстрой, тем более что ей были предложены весьма выгодные условия. Появившись в Магадане, Лиза сделала попытку поговорить со мной и приехала в Стан Утиный. Увы, в ту пору лагерные характеристики мои были настолько негативны, что в свидании ей было отказано, и она была предупреждена, что какие-либо попытки встретиться со мной в дальнейшем будут для нее небезопасны. Вся обстановка Утинового и тяжелые объяснения с опером произвели на Лизу такое гнетущее впечатление и так ее напугали, что, возвратясь в Магадан, она затаилась и оставила надежду на нашу встречу. К моменту, когда мы, наконец, повидались, все это до известной степени уже утихло, да и Лиза, обжившись и зажив в городе видное положение, успокоилась.

Что же мы почувствовали в те минуты друг к другу? Лиза заметно изменилась за прошедшие годы, я — тем более, и в своем лагерном облачении, пропитанный всеми ароматами «зоны» едва ли выглядел сколько-нибудь привлекательно. Хотя я и испытывал глубокую признательность к Лизе за тот порыв, который привел ее на Колыму, но дорогим и вполне близким человеком я ее так и не ощутил. Что-то между нами пролегло или, может быть, этого чувства душевного родства никогда и ранее не существовало.

Во всяком случае, с первых же сказанных слов я стал убеждать Лизу в том, что она должна чувствовать себя совершенно свободной от каких

либо обязательств в отношении меня. Мне не стоило большого труда убедить ее в зыбкости тогдашнего своего положения, которое могло рухнуть от любого очередного ужесточения лагерного режима в СВИТА<sup>1</sup>.

Рассказал я и о системе дополнительных сроков, щедрой рукой раздаваемых политическим заключенным, дожившим до окончания первого срока по приговору.

Из торопливых рассказов Лизы о домашних особенно глубоко меня огорчила взаимная неприязнь между Лизой и мамой, и тут я склонен был стать на сторону мамы, так как все доводы, которые приводила Лиза, были явно не объективны. Тогда же я узнал многие подробности о жизни Олечки и мамы, которые не могли быть сообщены мне в письмах. Оказывается, кто-то из друзей Павла предупредил, что его собираются «взять», и он в ту же ночь сел в поезд и уехал в Усть-Каменогорск. Оля с мамой ликвидировали владивостокские квартиры и тоже подались, но не в Среднюю Азию, а в Краснодар, куда их еще раньше звали Нюра и Валя Будниковы, сестры Миши. Купили они небольшой домик с садом, мама с Инной и Эрой остались, а Оля уехала к Павлу. Мама умудрялась не только управляться с детьми, но и прирабатывать.

Меня в тот день больно поразило в рассказах Лизы отсутствие каких-либо сожалений по поводу разлуки с дочерью. Вообще много нового я разглядел в этом человеке за короткие часы той встречи. Как ни истосковался я за прошедшие годы по участию родного человека, но делиться пережитым с Лизой в тот вечер не стал – не почувствовал, что реакция будет вполне искренней, а не наигранной.

Позже, обдумывая все узнанное при этой встрече, я постарался объективно разобраться в наших с Лизой отношениях. Конечно, она сама давно уже осознала, что встреча наша в значительной степени была случайной, и я пошел на близость с ней по ее же инициативе и без глубокого чувства, уверенный, что никаких серьезных последствий не последует. Когда обнаружилось иное, то уклоняться от ответственности я не стал, но и только. Жизнь жестоко расправилась с тем, что могла чувствовать ко мне и на что могла рассчитывать Лиза, – крушение так и не созданной семьи, весь ужас следствия и приговора. Да и просто естественный страх за свою собственную судьбу. Жизнь одинокой женщины в Магадане тех лет – ох, какая, вероятно, это была нелегкая штука! Словом, я вполне трезво осознал, что у меня нет никакого права рассчитывать на верность Лизы и, более того, мне следует сделать все возможное, чтобы она почувствовала себя совершенно свободной. Пусть жизнь сама решит за нас все эти трудные вопросы.

Прощаясь, я настоятельно предостерег Лизу от попыток повторить нашу встречу – слишком многим она и другие люди рисковали при таких попытках. Вместе с тем я указал ей на нескольких человек (Турский,

<sup>1</sup> СВИТА – Северо-Восточные исправительные трудовые лагеря.

Карпов, Рабинович), кому можно было доверить какие-либо срочные сообщения. Но ни разу Лиза этим так и не воспользовалась.

Деловые итоги моей магаданской поездки оказались для меня очень значительными. Большой архив химических анализов углей, с которым мне удалось познакомиться и который я в какой-то степени систематизировал, открыл мне широкую перспективу дальнейшей работы по химической каталогизации разведанных горючих ископаемых Колымы и их дальнейшим исследованиям. Хотя я раньше специально не штудировал углехимию, но интерес к ней испытывал издавна, мне довелось как-то, будучи в командировке, прослушать в МГУ замечательную лекцию профессора Стадника о его теории происхождения углей и нефти. Она оставила глубокое впечатление сама по себе, но особенно запомнилась благодаря послесловию академика Н.Д. Зелинского, постаравшегося увязать концепцию докладчика с новейшими достижениями органической химии. И монографию Стадника, посвященную теме его лекции, я не только имел в своей библиотеке, но и прочитал от корки до корки. Поэтому вжиться в новую для меня область аналитической химии оказалось легче, чем думалось вначале. Конечно, многому в этом помог Турский своей исключительной тактичностью и доброжелательностью.

Время между тем бежало, и вскоре подошел срок, отведенный на переезд лаборатории в Аркагалу. Упаковывали оборудование и машинами отправляли в дальний путь. В самом конце декабря отправился и я на грузовой машине «ЗИС-5» в порядке-таки холодной кабине. Кроме лабораторных пожитков нам в конце пути догрузили праздничные товары для горняков Аркагалы, и в том числе шампанское. Как его ни утепляли, но доставить груз требовалось быстро, так как стояли морозы около 50 градусов. До Берелеха мы добрались, когда уже темнело. Оттуда было в Аркагалу две дороги: одна, старая, через высокий Нексиканский перевал, другая, достраивавшаяся, — через Чай-Урьинскую долину. Мой шофер выбрал первый, знакомый ему, путь. Долго мы ползли по серпантинке на перевал, и когда, наконец, добрались до него, заглох вдруг мотор.

При морозе за пятьдесят голыми руками в моторе долго не покопаться, да притом вскоре пришлось спустить из радиатора стывшую воду (об антифризах в ту пору и не мечтали!). Помощь можно было получить (т. е. вызвать трактор) лишь на дорожной командировке, которая располагалась километрах в восьми на спуске за перевалом, и вот мой шофер за ней отправился.

Человеку, не испытывшему на себе колымские холода, трудно представить тяжесть положения, в котором я оказался. Оставить машину и последовать за шофером я не мог, так как любая нагнавшая

нас машина наверняка тут же разграбила бы наш груз – таковы были законы колымской трассы тех лет. Высидеть в холодной кабине часы, за которые могла подоспеть помощь, было невымыслимо. И вот я стал быстрым шагом передвигаться вокруг машины, прислушиваясь, как со звоном лопались на морозе бутылки с шампанским. Окружавший ландшафт выглядел каким-то инопланетным: голые, без единого деревца, конуса сопки подходили к перевалу со всех сторон, насколько хватало глаз. Все это было освещено ледяным зеленоватым светом полной луны, и ни одного шороха не доносилось со стороны, хотя звук голоса при таком морозе обычно слышен за 3-4 километра. Шумело только дыхание, которое вырывалось с шипением из легких.

В этом непрерывном движении, которое как-то поддерживало тепло в моем теле, текли часы, а помощь так и не появлялась. Я стал уже терять силы, и все чаще возникало желание забраться в кабину, свернуться клубком и махнуть на все рукой. Наконец, где-то далеко-далеко внизу послышались шорохи, которые постепенно оформились в хлопки – явно издали приближался трактор. Уже совсем замерзая, в каком-то полусне я чувствовал, как меня запихивают в вонючую от солярки кабину трактора, как кидало и трясло в пути. Потом кто-то влил мне в рот добрые полстакана спирта. Спирт был ледяной и ничуть не жег рот, но что-то вспыхнуло у меня внутри, и я вынырнул из полузабытья. Потом был горячий чифирь и традиционная закуска – ломтик соленой кеты. Я совсем пришел в себя и даже порывался пойти помочь шоферу. Но сон все же сморил, и только поздно утром шофер, тоже прикорнувший на часок, смог меня добудиться. Лишь к концу дня мы добрались до небольшого поселка, расположенного в пойме ключа Знатного, притока Аркагалы. После разгрузки автомашины шофер, которому были доверены мои документы, свел меня в лагерь, расположенный в полукилометре от лаборатории. Так началась моя аркагалинская жизнь.

Вскоре весь штат лаборатории оказался в сборе. У нас появилось еще двое сотрудников: Виталий Артемьевич Евтихов, который до ареста работал, если память не изменяет, в Институте металлургии АН (Ленинград), а также Павел Анисимович Кривошей, тоже заключенный, но с «полубытовой» статьей. Это был аферист высокого разряда, человек, несомненно одаренный, но все помыслы которого были направлены на извлечение для себя выгоды. Ему были недоступны такие понятия, как законность, порядочность, товарищество, – он их просто не воспринимал. История его побега с Колымы на «материк» и последующего вынужденного возвращения – события весьма редкостного – подробно, хотя и неточно, описана в одном из колымских рассказов Шаламова. Кривошей когда-то работал инженером в коксовой промышленности Украины, а в Аркагале организовал химическую лабораторию, контролировавшую качество то-

варного угля еще до нашего переезда из Ларюковой. Появление нашего угольного кабинета в Аркагале было для Павла Анисимовича большим ударом. Он и тут успел уже завести всяческие темные делишки, и появление целого коллектива химиков во главе с Турским полностью их нарушало.

Из числа ларюковских сотрудников лаборатории в Аркагале, собственно, перебрались далеко не все. Не приехали Купчан и Вениамин Львович, Гуля отправился организовывать новую лабораторию на угольном месторождении в поселке Эльген. Но зато с «материка» прибыла Зыбалова и ее муж Подосенов. Когда-то Турские, видимо, рассчитывали, что Галина Павловна станет их свояченицей, но сына забрали в армию, а подвернулся Подосенов – и дело расстроилось. Несмотря на это, Турские относились к Галине Павловне очень тепло, совсем по-родственному. Таков уж был характер у этих чудесных старичков. Зыбалова привезла с собой ранее приобретенную Турским замечательную подборку книг по химии и технологии топлива и кучу справочных изданий, всего за тысячу томов. Какую неоценимую пользу она в дальнейшем принесла мне, которому Турский поручил ее просистематизировать и заботиться о ее сохранности!

Таким образом, в начале 1940 года на Аркагале был создан очень дружный коллектив химиков и инженеров, способный решать многие вопросы. Что же это были за вопросы, и что представляла собой сама лаборатория? Здание, где она располагалась, было, собственно, недостроено. Это был довольно большой рубленый дом барачного типа из неоштукатуренной лиственницы, с невысоким потолком. Пазы между бревнами были проконопачены мхом, но заштукатурить их так и не успели. Обогрелась лаборатория чугунными печками, которые зимой почти не угасали, благо угля было предостаточно. Зыбалова с мужем сначала поселились в крохотной жилой комнатке при лаборатории. Вечерами, правда, все помещение оказывалось в их распоряжении, и когда я задерживался на работе, то частенько был свидетелем домашних стирок и кулинарных занятий Галины Павловны. Оборудована лаборатория была хотя и небогато, но вполне достаточно для простейших исследований углей. Кроме всего необходимого для технических и элементных анализов имелись алюминиевые реторты Фишера для полукоксования, пластометр Сапожникова, неплохой набор платиновой посуды для анализа силикатов. Хуже было с реактивами и особенно с горючими растворителями (эфир, бензол, ацетон), которых всегда не хватало. Сам Турский с Зыбаловой и Подосеновым были заняты созданием транспортного газогенератора для автомашин, который мог бы работать на угле вместо древесной чурки. Известно, что леса Колымы убоги и рождают только лиственницу, растущую долгие десятки лет, поэтому расходовать древесину на чурку было бы просто преступно (в войну на это пришлось пойти). Ну, а собственной нефтью, т. е. бензином для автомашин, на Колыме и не пахло. Суть

проблемы заключалась в получении обсмоленного легкогорючего топлива (полукокса), а также изготовления огнеупорной футеровки для топливников газогенератора. При работе на угле вместо древесной чурки развивалась очень высокая температура, и чугунный топливник плавился. Евтихов был занят поиском среди многочисленных присылаемых в лабораторию образцов пород и глин таких, которые были бы достаточно огнеупорны для изготовления футеровки. Я же подбирал из углей разных пластов наиболее пригодные для полукоксования и разрабатывал оптимальный режим получения кускового бессмольного топлива. Дело затруднялось тем, что по своим свойствам аркагалинские угли относились к неспекающимся, т. е. давали после нагрева порошкообразный полукокс<sup>1</sup>.

Наши «мальчики», Вася и Коля, выполняли технический анализ товарного угля, который уже начал отгружаться потребителям, хотя в двух штольнях продолжались еще разведочные и подготовительные работы. Чем был занят в ту пору Кривошей, понятия не имею. Он вечно секретничал с Турским, нашептывая ему какие-то свои новые идеи. Турский не очень-то его долюбивал, но терпеливо переносил.

В поисках углей, пригодных для полукоксования, я впервые столкнулся с явлением выветривания, т. е. медленного векового окисления атмосферным кислородом той части наклонных угольных пластов, которые приближались к земной поверхности (выходили под наносы). Это хорошо известное явление, широко распространенное на большинстве угольных месторождений, здесь, на Колыме, в условиях глубинного распространения вечной мерзлоты, развивалось весьма своеобразно. Постепенно все более увлекаясь изучением этого своеобразия, я стал наряду с обязательной работой заниматься самостоятельными экспериментами.

Но прежде чем перейти к рассказу о них, опишу кратко условия моей тогдашней лагерной жизни. ОЛП «Ключ Знатный» был сравнительно небольшим лагерем, пожалуй там редко набиралась тысяча заключенных. Расположен он был на половине пути от вольнонаемного поселка (где была лаборатория) до шахт, и при утреннем разводе заключенных сразу же делили на «белую» и «черную» кость, т. е. служащих и шахтеров. Нас с двумя-тремя вохровцами вели в поселок, а остальных – с собаками в шахты и механический цех. На протяжении рабочего дня я считался расконвоированным и часто в одиночестве шел к шахтам, брал в ламповой электрофонарь, который цеплял за шапку, и спускался в горные выработки. Меня занимало нахождение в пластах тех разновидностей углей, которые в кусках при нагревании не рассыпались, а, сохраняя форму, давали достаточно прочный полукокс. Много дней я провел в этих блужданиях, пока картина не прояснилась. Эти одинокие походы были временем отдыха от постоянного пре-

<sup>1</sup> Чтобы в дальнейшем было понятно значение этого термина, поясню, что полукоксом называют остаток после удаления летучих продуктов при нагревании до 550-600 градусов, тогда как кокс получают при температуре до 1000 градусов и выше (прим. О.Б. Максимова).

бывания среди людей, пусть даже милых и доброжелательных. После голода и непосильной приисковой работы это тягостное чувство более всего преследовало меня все годы от ареста до освобождения. Впрочем, одинокие прогулки я полюбил с детских лет.

В самом лагере было довольно комфортно и чисто, а главное – всегда тепло, так как уголь был даровой. Хуже было с водой, которую получали таянием льда, привозимого с реки Аркагалы (зимой она промерзала до дна). Так как шахтеры посещали баню после каждой смены, нам предоставлялась возможность присоединяться к ним, когда хотелось. Но лагерь оставался лагерьем. Частые ночные «шмоны», пустая баланда в столовой и воровство урок – эти цветочки лагерного бытия цвели и на аркагалинской почве.

Вскоре по приезде я познакомился в врачом лагерной амбулатории Сергеем Михайловичем Луниным и близко с ним сошелся. Сережа, прямой потомок декабриста Лунина<sup>1</sup>, был студентом Московского медицинского института, за анекдот был посажен перед самыми госэкзаменами, получил три года лагерей и статью «АСА» – антисоветская агитация. Среднего роста, широколицый и голубоглазый блондин с редующими на лбу волосами, он был, как теперь бы сказали, очень контактен, разговаривал высоким, акающим по-московски голосом, и чуть ли не на второй день мы с ним перешли на «ты». В свое дело он был буквально влюблен, мог просидеть возле больного сутки (при амбулатории был небольшой стационар), мотался по вызовам на участки в самую лютую пору.

Единственным помощником у Сережи был санитар, он же фельдшер Николай, из урок, но «окультуренный», и только в периоды картежного запоя напоминавший о своей блатной сущности. К Сергею он относился почтительно и беспрекословно выполнял его поручения. Но чем он мог помочь при операциях? Зато за все годы моей аркагалинской жизни амбулаторию ни разу не обокрали, и этим чудом она была обязана Николаю.

На шахтах травматизм был высок. Сергею приходилось браться за сложные операции (об аппендицитах я уже и не говорю), и ему был необходим более или менее понятливый и владеющий руками помощник. После двух-трех совершенно неотложных операций, к которым он меня привлекал, я стал все чаще ему ассистировать – подавать инструмент, давать больному наркоз, следить за пульсом и т. д., и это нас еще более сблизило. Часто после подобных острых переживаний в дело шли дистилляты всяческих «Тинктура абсенти» или «Тинктура капсици», которые тут же готовились с помощью сконструированного мною приборчика. Увы, пристрастие к «горячительным» у Сережи впоследствии все возрастало и, видимо, послужило

<sup>1</sup> Лунин Михаил Сергеевич (1787-1845) – декабрист, один из учредителей Союза спасения и Союза благоденствия. В 1841 году был с поселения в Иркутской губернии заключен в Акатуйскую тюрьму за обнаруженную при обыске рукопись воспоминаний.



причиной смертельной болезни — бронхиальной астмы. У Сережи в Москве осталась невеста, которую он частенько вспоминал, но столь же часто бывал ей неверен — в поселке все «вольнонаемные» жены в нем души не чаяли, быть может за некоторые особые врачебные услуги.

Словом, это была широкая, истинно русская натура, готовая и согрешить, и искренне покаяться. Несмотря на подобные недостатки, я очень к нему привязался. Чуть позже Сережа меня познакомил на очередной вечерней встрече с Тимофеем Родионовым, горным инженером и в прошлом сотрудником ленинградского Горного института, который попал в лагерь с тяжелейшей статьей «КРТА» (контрреволюционная троцкистская деятельность) и отбывал свой первый пятилетний срок. Тимофей Яковлевич был потомственным шахтером-угольщиком. Его отец еще до революции работал на угольных шахтах месторождения Кызыл-Кия в Средней Азии, и Тимофей по комсомольской путевке был отправлен на учебу в Ленинград. Он любил называть себя «комсомольцем двадцатых годов», был, вероятно, искренне увлечен в молодости партийной деятельностью. Потом в Ленинграде он женился на дочери партийного «босса», вошел в городскую элиту и там вдоволь насмотрелся на ее нравы. В лагере жилось ему из-за статьи несладко, но в то же время среди горно-геологического руководства Дальстроя полно было его соучеников и сотрудников по горному институту. Так и шла его жизнь: то его вытянут на инженерную работу, то волей режимных инстанций водворят в забой. Он уже стал привыкать к подобным переменам и оптимизма не терял.

**В** 1941 году у Сергея на вечерних «посиделках» стал появляться высокий синеглазый брюнет сурового облика, представившийся (так ему тогда захотелось) бывшим корреспондентом «Комсомольской правды». Это был Варлам Тихонович Шаламов. В будущем — талантливейший писатель и поэт, совершивший героический подвиг публикацией своих «Колымских рассказов». В ту пору для нас он был рядовым КРТАшником, человеком неуживчивым, резким в суждениях, но очень интересным своей литературной образованностью и исключительной памятью. Варлам был очень истощен и с трудом справлялся с работой в шахте<sup>1</sup>, был перманентно голоден — его истощенному крупному телу требовалось много пищи. Мне удалось с помощью медицинского заключения Сергея и содействия Г.П. Зыбаловой устроить его в лабораторию. Здесь он выполнял несложные анализы, которым я его обучил, но главным образом был занят переписыванием разных бумажек, так как машинки в лаборатории не было. До сих пор у меня хранится отчет о работе лаборатории, переписанный на оранжевой оберточной бумаге Шаламовым (шла уже война). Сам он вспоминает об этой поре в своем рассказе «Галина Павловна Зыбалова».

<sup>1</sup> Как он ненавидел этот принудительный труд! Часто он «филонил» в шахте даже не потому, что не было сил, — просто не мог себя заставить взяться за работу, и это создавало массу трудностей для тех, кто пытался ему помочь, с трудом добиваясь его перевода на более легкую работу (прим. О.Б. Максимова).

Как-то на одном из сборищ в амбулатории я продекламировал несколько отрывков из шутового сборника «Парнас дыбом», изданного в двадцатые годы группой молодых поэтов в Киеве. Варлам тут же меня поправил. В ответ я сказал, что ловлю его на слове и прошу в свободное время написать по памяти нечто вроде антологии советской поэзии, т. е. по два-три лучших стиха наиболее талантливых поэтов. Он как будто охотно согласился, и я передал ему заветную общую тетрадку в зеленом переплете, которую хранил в память о Наталье Григорьевне Турской; она оставила ее мне при отъезде. Увы, когда тетрадка была Шаламовым заполнена (я знакомился с ней еще до окончания записей), он подарил ее Зыбаловой. (О том, как он талантливо и зло оболгал впоследствии Серезу Лунина за все то доброе, что тот для него сделал, я подробнее расскажу позже.) Как-то на утреннем разводе Варлама задержали на вахте, и больше я его не видел. Он был направлен в другой лагерь, и его дальнейшая судьба мне известна только по «Колымским рассказам».

Но вернусь к лабораторным делам.

**К**весне 1941 года у Турского с руководством Дальстроя возникли серьезные трения по той причине, что ни одно из обещаний, данных ему в Москве, выполнено не было. Автобазы отказывались предоставлять в его распоряжение газогенераторные автомашины, ссылаясь на их бесперспективность в условиях Колымы (а сколько газенов даже на сырой древесной чурке успешно работало в Дальстрое после начала войны!).

Иван Митрофанович неделями пропадал в Магадане, и руководство лабораторией все больше переходило в руки Галины Павловны, хотя она вполне осознавала свою некомпетентность в аналитических делах. И вот подошла эта дата — 22 июня 1941 года. В лагере сразу же появились у конвоя собачки, ночами участились обыски.

Турские были страшно встревожены судьбой сына: его часть располагалась на полуострове Ханко, отошедшем к СССР после финской войны, т. е. находилась под ударом и финнов, и немцев. После недолгих раздумий они решили ехать в отпуск в Москву, пока его еще предоставляли. Все попрощались с ними очень тепло.

**В**ойна поставила перед Дальстроем ряд трудных проблем. Сразу же прекратился подвоз с «материка» многотоннажных грузов, таких как кокс, огнеупорный кирпич. Огромное число различных механизмов, горной, дорожной и другой техники требовало ремонта, связанного с чугунным литьем, а вагранки, работавшие при каждом из горнопромышленных управлений и в Магадане, простаивали из-за отсутствия литейного топлива. Топки местных электростанций и котельных рушились, а огнеупорный кирпич отсутствовал. Патриотический подъем, ко-

торый в те дни охватил всю страну, нашел отклик и за колючей проволокой колымских лагерей. Я тоже почувствовал себя обязанным выступить перед руководством Дальстроя с рядом предложений, которые к тому времени я считал уже созревшими для практического внедрения. Расскажу о них подробно.

Систематически контролируя работу, которую лаборатория проводила по контролю качества товарного угля, я давно уже обратил внимание на одно любопытное обстоятельство. Зола некоторых угольных проб оказывалась чисто белого цвета, т. е. была лишена окислов железа. Поскольку основные минеральные примеси товарного угля сосредоточены в прослойках пустой породы (аргиллитах и песчаниках), попадавших при выемке в уголь, можно было предположить, что в одном из разрабатываемых пластов Аркагалы (а их было три: Верхний, Тройной и Мощный) присутствуют прослойки, состоящие из каолита. Этот минерал отличается высокой огнеупорностью и является основным компонентом огнеупорных глин. Я начал вести систематическую охоту за такими угольными пробами, но, как назло, они больше не стали попадаться. Поскольку это совпало по времени с прекращением проходческих работ по пласту Мощному, я обратился к коллекции керновых проб, полученных при колонковом бурении и хранившихся при лаборатории. И тут меня поджидала удача: пачки угля, прилежавшие к почве пласта Мощного, по ряду скважин дали белую золу!

Я возобновил свои одинокие походы в законсервированную штольню №2, пройденную по пласту Мощному. К тому времени вход в нее весь зарос крупнейшими, с ладонь размером, кристаллами инея великолепной формы и разнообразия. При относительно высокой температуре в глубине штольни и крепчайших морозах снаружи происходила сублимация влаги, которая и образовывала это сказочное великолепие у входа. Как ни жаль было его нарушать, но мне пришлось кайлом пробить себе лаз, через который удавалось вползать в штольню. Из-за отсутствия вентиляции воздух в ней был очень тяжел, сильно пахло уксусом и трудно было дышать. Штольня была пройдена метров на 400, и крепление местами выглядело весьма ненадежным. День за днем я отбирал пробы угля и боковых пород и обжигал их в муфеле, но желанных образцов так и не попадалось. Прошел опробованием уже всю штольню и даже пробовал пробираться вниз по уклону. Этот уклон, пройденный метров на 120, превратился в ледяную горку, и я однажды чуть не проделал по нему скоростной спуск на ягодичках: удачно зацепившись за крепления, я с великим трудом, изломав все ногти, выбрался обратно в штольню. В уклоне вообще нечем было дышать.

И вот однажды я обратил внимание на небольшую выработку, пройденную по лежачему боку, т. е. пересекавшую породы почвы пласта. Расширив вход в нее кайлом и лопатой, которые всегда были со мной, я очутился в полузасыпанном, но протяженном квершлаг<sup>1</sup>. Это был день удачи! Все про-

<sup>1</sup> Квершлаг – горизонтальная подземная выработка.

бы, отобранные в этом квершлагае, дали после обжига белые остатки. Таким образом мне удалось установить, что в почве пласта Мощного залегают белогущиеся аргиллиты и что мощность их весьма значительна. Нужно было срочно проверить их огнеупорность. Я тут же сконструировал небольшую печь, обогреваемую горелкой от газовой сварки (ацетилен и кислород). Для ее футеровки я выбрал наиболее чистые аргиллиты из той же штольни. К счастью, в лаборатории оказался оптический пирометр, с помощью которого можно было замерять температуру до 2000 градусов.

Для определения огнеупорности из испытуемого материала формовались небольшие пирамидки (конуса Зегера), которые крепились на подставке в печи. При нагревании они начинали размягчаться, наклонялись и касались вершинкой подставки. Температура в этот момент и называлась огнеупорностью образца. Каково же было мое торжество, когда некоторые из отобранных в штольне образцов показали огнеупорность выше 1700 градусов! Сильнее нагревать я их не мог, так как сама печь была сделана из того же материала.

Первый, кому я поведал о своем открытии (за пределами лаборатории), был Н.Ф. Карпов. Он сразу же оценил его значение и дал задание шахтному геологу провести разведочные работы. Бригада проходчиков пробила несколько параллельных квершлагов, и везде в них был встречен огнеупорный материал. Сразу же закрутилось большое дело. В Аркагалау из Сусумана был переведен инженер Соколов, работавший там директором местного заводика строительного кирпича. О Николае Ивановиче Соколове подробнее я расскажу позже – с ним меня связывала теплая дружба до самой его смерти.

На складах Колымснаба в Магадане нашлось нужное оборудование (дробилки для помола аргиллитов, пресса для формовки кирпича полусухим способом), практически без проектирования были построены здание над смонтированным под открытым небом оборудованием и из первых же партий сформованного кирпича – печи для обжига. Так за каких-нибудь два-три месяца был организован выпуск товарного шамотного кирпича. Естественно, что весь контроль качества сырья и продукции проводил я.

**В** Дальстрое началась форменная драчка за продукцию нашего завода, финансовую выгоду получал при этом угольный район, и отношение ко мне его руководства, выторговывавшего за кирпич всеческие блага, стало весьма уважительным. Примерно к тому же времени завершились мои опыты по получению из аркагалинского угля кускового полукокса. Для получения опытных партий были изготовлены небольшие стальные реторты (килограммов на 100 угля) и сложена печь для их обогрева. С этого началась моя новая карьера «печника с университетским дипломом», как меня прозвали в те годы. Для руководства практически делами по полукоксованию я привлек зк Александра Михайловича

Межерицкого, в прошлом инженера-коксовика из Днепропетровска. Его хозяйственная сметка и умение налаживать отношения с нужными людьми много способствовали успеху дела. Для него главным было то, что эта работа оберегала его от посылки на прииск — угрозы, висевшей над каждым заключенным — обитателем Аркагалы.

Первые же партии полукокса были направлены для испытаний в центральные ремонтные мастерские (ЦРМ) Чай-Урьинского горнопромышленного управления в поселке Нексикан. Хотя наш полукокс был более хрупок, чем нормальный литейный кокс, небольшие вагранки работали на нем без перебоев.

В лаборатории при этих ЦРМ у меня произошла неожиданная встреча. Там работал Константин Метелкин, бывший сотрудник Дальневосточного филиала Академии наук, приехавший во Владивосток вместе с Мохначом и Тихомоловым и с ними же осужденный. Странное он производил впечатление. Все его жизненные интересы свелись к раздобыванию и поглощению пищи. Хотя он получал не худший лагерный паек и физически не работал, голод продолжал его мучить днем и ночью. Видно, много горя он хлебнул на прииске, откуда его взяли в лабораторию. Заведующий этой лабораторией и его жена, тоже химик, относились к Метелкину очень жалостливо и предупредительно (славные это были люди), но они признались, что вынуждены все съестное прятать от Кости, так как он не мог совладать с собой и потихоньку таскал еду. Расстался со мной он как-то очень равнодушно.

Официальный отзыв об испытаниях я приложил к докладной записке, адресованной начальнику Дальстроя, в которой я предлагал организовать промышленное полукоксование аркагалинских углей. Вся эта переписка шла через Н.Ф. Карпова. К тому времени Г.П. Зыбалова уже ушла из лаборатории (см. подробности ее личных дел у Шаламова), а на ее место прибыл из Эльгена Иван Петрович Гуля, который как новый человек только ставил свою подпись под составляемыми мною документами.

**И** вот однажды утром меня не выпустили из лагеря, а вместе с вохровцем посадили на машину, шедшую в Магадан за продовольственными грузами, и я отправился в 750-километровое путешествие, овеваемый пыльными ветрами колымской трассы. Сопровождавший меня вохровец по фамилии Кононенко был совершенно типичным «вертухалом». Дорогой мы с ним даже беседовали «за жизнь», но стоило нам очутиться в дорожном поселке, где мы кормились, как он превращался в сурового стража. Как это было типично для вохровцев — украинцев и казахов, самых жестоких наших истязателей!

В Магадане я был «сдан» на транзитный лагпункт, а на другой день, смыв с себя самую поверхностную дорожную пыль, препровожден в управление Дальстроя (о свободном хождении с пропуском, как в 1939 году,

и речи не было – война!). Здесь меня направили к заместителю начальника Дальстроя по строительству Колесникову. Это был, видимо, очень крупный, но чем-то проштрафившийся начальник системы НКВД (носил в петлицах четыре ромба). Он внимательно выслушал мое сообщение и сказал, что направляет меня в Колымпроект – организацию, выполняющую все проектные работы Дальстроя. Там мне будет придана бригада инженеров-проектировщиков (строителей и теплотехников) с тем, чтобы проектирование было завершено за один месяц.

С тем же злополучным Кононенко я отправился в обратную дорогу. До Спорного мы доехали одной попутной машиной, а там пересели на попутку, шедшую в поселок Усть-Утинный. Затемно мы миновали прииск Утинный, не вызвавший у меня добрых воспоминаний, и совсем ночью прибыли на место.

Колымпроект, расположившийся в уютном поселке на берегу реки Колымы, представлял собой весьма своеобразное, но в то же время и типичное для Колымы учреждение. Очень ограниченный штат вольнонаемных инженеров брался за выполнение любых строительных и технических проектов. Секрет заключался в том, что на противоположном берегу реки, покрытом пойменным лесом, располагалось отделение лагпункта, куда был собран весь цвет заключенной инженерии Севвостлага, отобранной из текущих поступлений. Лагпункт вел лесозаготовки, а по мере поступления заказов на проектирование отсюда привозили нужных специалистов. После выполнения проекта их возвращали в этот своеобразный «запасник».

Вообще-то усть-утинский лагпункт считался инвалидной командировкой, куда свозили отработанный человеческий хлам с окрестных приисков. Какое страшное зрелище представляли эти человеческие обломки, когда они собирались в лагерной столовой! Безногие, безрукие, люди без носов и ушей, сожженных колымскими морозами, все страшно исхудавшие, точно одетые в лагерную форму человеческие скелеты. У большинства на щеках еще гноились струпья – наследие минувшей зимы. Увы, не были все эти ужасы засняты на кинолентку, а то стоило бы сопоставить эти кадры с известными картинами немецких лагерей смерти.

Но вернусь к делам. Мне были приданы четыре инженера и чертежник. Двое из них были учениками и сотрудниками известнейшего русского теплотехника профессора Грум-Гржимайло<sup>1</sup>. Третьим был бывший главный инженер Главкоккса (фамилии не помню), уже почти умиравший от рака желудка. Четвертым был проектировщик-строитель.

Было рассмотрено два варианта конструкции полукочковой печи: со стальными наклонными камерами-трубами и с керамическими камерами с наклонным подом. Поскольку аркагалинские угли давали кусковой полукокс только при форсированном нагреве, решили остановиться на первом

---

<sup>1</sup> Грум-Гржимайло Владимир Ефимович (1864-1928) – металлург, автор теории расчета пламенных печей.

варианте, хотя срок службы стальных камер был заведомо ограничен. Кроме того, керамические камеры требовали для их выполнения особого фасонного (шпунтового) кирпича, производство которого предстояло еще освоить, а время между тем не ждало, требовался полукокс. Проектирование было завершено в срок и, как ни грустно было расставаться с новыми знакомыми, очень интеллигентными и славными людьми, обреченными на возврат к изнурительному физическому труду, но пришлось собираться в дорогу. Истосковавшийся от безделья Кононенко повез меня обратно в Аркагалу.

В лаборатории все оставалось по-прежнему (только куда-то исчез освободившийся из лагеря Кривошей), а вот на заводе огнеупоров у Николая Ивановича появилась помощница, Мария Рафаиловна Соркина. Бывшая заключенная с троцкистской статьей (КРТА), она освободилась после пяти лет лагеря, но выезда, естественно, не получила. Ее биография знаменательна. С молодых лет тесно связанная с высшими партийными кругами (О. Лепешинской, Н.К. Крупской и др.), она часто девчонкой встречалась с Лениным. Вышла замуж за Андрея Константинова, редактора одной из центральных газет. После ареста и расстрела мужа посадили и Марию Рафаиловну, а в Москве у нее осталась дочка, по которой она страшно тосковала. Несмотря на все пережитое, Мария Рафаиловна оставалась убежденной коммунисткой. Вместе с тем это была честнейшая, бескорыстная и очень доброжелательная женщина лет сорока, маленького роста, отличавшаяся, пожалуй, избыточной говорливостью. На заводе она выполняла множество поручений: табельщицы, контролера ОТК, секретарши и др. Она же отбирала пробы сырья и продукции и доставляла их в лабораторию. На этой почве мы с ней постоянно имели общие дела, так как определение огнеупорности производил только я.

**З**авод расширял свою деятельность: он получал заказы на сложные огнеупорные изделия для электропечей, запущенной в Оротукане (трубки и звездочки для розлива стали), на стеклобрус для стеклоплавильной печи для стеклозавода, расположенного в 72 км от Магадана. Последнее задание было особенно престижным, поскольку стеклозавод курировала Гридасова – жена Никишова. В том царстве произвола и диктаторства, которыми была пропитана вся хозяйственная система Дальстроя, с подобными «факторами» приходилось считаться.

Прошло не более пары месяцев с того дня, когда был представлен проект полукоксовой установки, как стало известно, что начальство все дело повернуло по-своему. Оказывается, после моей докладной записки в Москве в организации «Подземгаз» был заказан дублирующий проект полукоксовой установки. Не могли чекисты довериться в столь важном деле заключенным-контрикам! Более того, без обсуждения со специалистами, знающими особенности местных углей (я не говорю уже о себе, но Н.Ф. Карпов был тогда

вполне в курсе дел), начальство предпочло московский проект и уже назначило строителей будущего завода.

Между тем проект Подземгаза содержал множество технических ляпов, и установка, созданная по заложенной в проекте технологии, вообще не могла нормально функционировать. Приведу лишь одну техническую деталь: согласно проекту полукоксовые камеры имели дно из чугунных плит, под которыми проходили горячие газы из топки. Каждая топка требует тяги, эта тяга и обеспечивалась по проекту высокой дымовой трубой. Было совершенно очевидно, что герметизация краев чугунных плит не могла быть надежной (разные коэффициенты расширения), и после нескольких циклов нагрева—охлаждения возникновение зазоров между чугуном и шамотом было неизбежным. На плиты по проекту насыпался уголь, подвергаемый полукоксованию, и выделяющиеся летучие продукты, естественно, должны были засасываться в топочное пространство и там сгорать. Резкие местные перегревы и плавление чугуна при этом было обязательным следствием такой элементарной технической безграмотности проектировщиков.

Эти и другие соображения я считал необходимым изложить в новой докладной, направленной Колесникову. Шло время, строители вырыли котлованы под три батареи камер, и началась кладка. И вот снова меня задерживают на вахте, и снова с Кононенко направляют в Магадан. Эта поездка была очень тяжелой из-за наступивших холодов.

На этот раз разговор с Колесниковым носил угрожающий характер. Он сказал мне примерно следующее: от пуска завода и наличия литейного топлива зависит ремонт к весне всей горной техники, т. е. успешность промышленного сезона. Если, согласно моим утверждениям, строящаяся установка работать не сможет, то это приведет к тяжелым последствиям, а значит, нужно будет создавать другую работающую установку. Но много времени упущено, и поэтому он решил изменить график строительства и достроить одну батарею, остановив кладку других. Батарея будет запущена, и если она станет нормально работать вопреки моим предсказаниям, то я буду расстрелян за дезинформацию и задержку строительства (логика!). Если же созданная установка действительно выйдет из строя, то он, Колесников, предоставит мне возможность построить все заново так, как я считаю нужным. Он дал мне день на обдумывание, но и при повторной встрече я позиции не изменил. На том мы и расстались.

Возвратившись на Аркагалу, я убедился, что строители времени не теряли, и уже недалек был пуск первой батареи (стройка шла днем и ночью). Подошел день пуска. Всем распоряжались два вольнонаемных инженера, прибывших по этому случаю из Магадана. После тщательной просушки печь запустили, отладили работу механической топки; наконец, решили загрузить камеры углем. Прошел цикл полукоксования, и началась разгрузка камер. Полукокк был не лучше, но



и не хуже того, что мы получали в условиях опытов. Загрузку повторили, и снова получили приличный полукокс. Тут я совсем приуныл и даже запаса цианистым калием на случай ареста. Пошла третья тревожная, бессонная ночь. Когда в лагерьном бараке появился Межеричкий (он тоже привлекался к опытам), я тут же вскочил с нар. «Идите скорее, там бог знает что творится, все горит!» – торопясь, зашептал он. Но я уже накинул шапку и телогрейку и бежал на вахту. Издалека я увидел, что из дымовой трубы установки вырывается пламя, и все внизу дымит и полыхает. Низ трубы разогрелся докрасна, и она просела, как голенище сапога. Катастрофа была полной. В четырех из шести камер чугунные плиты расплавились, коксующий уголь просыпался в дымоход, и все запылало, как гигантский костер. Тяжко было наблюдать это крушение созданных человеком конструкций, но на душе у меня, откровенно говоря, полегчало. В конце концов, виной всему были тупая злоба и недоверчивость чекистов. Зная мою причастность к стройке, многие люди, заключенные и вольнонаемные, пытались выразить мне сочувствие, полагая, что за несчастьем последуют кары. Мне приходилось пускаться в пространные объяснения по этому поводу.

Ну а дальше все пошло нормально. В великой спешке была выстроена печь с двумя наклонными камерами-трубами, а одновременно стал заготавливаться шпунтовый кирпич для строительства керамических камер. Полукокс пошел широкой рекой, но его все равно не хватало для всех нужд Дальстроя, и около нашей установки порой выстраивался хвост из ожидавших продукцию студебеккеров.

Мне вспомнилась история коксовой промышленности. Вначале до создания специальных печей в Англии получали кокс подобно древесному углю – в кучах, обсыпая подожженный уголь со всех сторон землей и тем самым ограничивая доступ воздуха. Попробовали и мы прококсовать аркагалинский уголь в кучах, и после нескольких неудач дело пошло. За это предложение я получил премию – полторы (!) буханки хлеба. Напольное коксование в кучах позволило без особых перерывов в снабжении полукоксом заняться стройкой и пуском новой печи с полным улавливанием всех летучих продуктов. Наша маленькая фабрика стала очень выгодной коммерчески, так как все получаемые продукты находили спрос, вернее их отрывали у нас чуть ли не с руками. Легкие фракции смолы шли как растворитель, тяжелые – как флотореагент, пек использовали для гидроизоляции патронов аммонита при работе в обводненных забоях.

Первую коммерческую выгоду стал извлекать для себя Межеричкий, который был главным мастером нашего заводика. Я, хотя и старался умерить его возраставшую активность в этом плане, но противиться не стал – зк были вне законов, и действие последних на них не распространялось.

Надо сказать, что история обнаружения огнеупорных аргиллитов, строительство завода огнеупоров, а затем драматическая история создания полукоксового производства сделали мою персону популярной личностью в Аркагале. Я был практически полностью расконвоирован и даже оперуполномоченный («кум») благосклонно ко мне относился. Ему я помогал уличать заворовавшихся торговцев из вольнонаемного магазина, подмешивавших доступный и дешевый американский крахмал к строго нормированной муке, разбавлявших спирт и т. д.

Когда весной 1943 года я выпросил у Соколова охотничье ружье и отправился на зорьке пострелять уток, то неожиданно повстречался с «кумом». Он сделал вид, что меня не заметил.

Подошло время рассказать о И.П. Гуле, который был в эти годы заведующим лабораторией. Как я уже говорил, он был видным мужчиной и пользовался большим успехом у местных женщин. Работа лаборатории его вовсе не занимала, и он полностью передоверил мне все дела, подписывая готовые бумаги. Все вечера он проводил в компаниях за преферансом, часто ходил на охоту, особенно зимой на лыжах, и приносил связки полярных белых куропаток. Словом, его можно было бы назвать своим парнем, если бы не излишнее увлечение амурными делами – он, что называется, не мог пропустить ни одной юбки, а так как свободных «юбок» в ту пору в Аркагале не водилось, то возникали семейные конфликты, и все это выглядело довольно мерзко.

Но в остальном мы жили с ним в мире и согласии, и, надо отдать ему должное, он никогда не пытался присвоить себе мои успехи, хотя сделать это в тогдашних условиях было весьма просто. С Гулей судьба еще не раз сталкивала меня за годы колымской жизни.

Здесь я хотел бы вернуться к событиям первых военных лет и рассказать о делах, которые нам удалось осуществить с Сережей Луниным и которые принесли мне гораздо большее удовлетворение, чем все успехи с огнеупорами и полукоксованием. Но, подумав о том, как далеко в сторону увел бы меня подобный рассказ, я решил изложить все связанные с этим делом события в отдельной записке («О некоторых возможностях использования гуминовых кислот в медицине»)<sup>1</sup>.

Большое творческое удовлетворение доставила мне одна случайная работа, выполненная «на заказ», по просьбе начальника гидрогеологической партии Гущина. У него скопились многочисленные анализы проб подмерзлотных вод из колонковых скважин, бурившихся при разведке Аркагагинской угленосной площади. В химии он не ведал ни уха, ни рыла, а подходило время отчитываться о проведенных работах. Вот он и попросил меня разобраться

<sup>1</sup> Олег Борисович упоминает здесь об истории использования гуматов натрия как средства профилактики диарей (поносов) у заключенных. Растворы гуматов, которые применялись по предложению Олега Борисовича, спасли тысячи людей.

ся в накопившихся материалах и написать химическую главу к отчету, посулив за это тысячу рублей. Это были совсем не большие по тем временам деньги, но для зк представляли завидный куш – вот я и согласился.

Но работа меня очень увлекла, я подолгу засиживался в лаборатории, чем вызывал недружелюбные взгляды лагерных вахтеров. Замечаний, однако, никто не решался мне делать – я в те дни был «персона грата».

Прежде чем передать суть сделанных мною выводов, я должен привести некоторые сведения о геологии района. Угленосные отложения верхнемелового возраста образовывали в Аркагале вытянутую по оси мульду<sup>1</sup>, залегающую на трещиноватых, сильно пиритизированных сланцах триаса. На всей окружающей территории повсеместно была распространена вечная мерзлота, охватывавшая толщу пород до 200-260 м. Вскрытые скважинами подмерзлотные горизонты давали напорную воду (самоизлив), химический состав которой был очень изменчив. Из скважин, пробуренных за пределами угленосных отложений, вода содержала в основном сульфат натрия (и магния) – до 4,5 г/литр. По мере продвижения к оси мульды сульфаты в пробах воды замещались бикарбонатами, причем в воде появлялся сероводород. Все это указывало на такую схему их генезиса: где-то на участке, где мерзлота деградировала, поверхностные воды, богатые кислородом, проникали в породы триаса, окисляли пирит и обогащались сульфатами. При взаимодействии с угленосными осадками происходило восстановление сульфатов с образованием бикарбонатов и сероводорода. Эта простая и достоверная картина не сразу стала мне очевидной из-за запутанной документации проб и результатов их анализа. Гущин был в восторге от моего отчета и накинул мне 500 рублей.

Надо сказать, что я отнесся с интересом к этой работе еще и потому, что в зимнее время снабжение водой поселка представляло целую проблему. Река Аркагала промерзала до дна, заготавливать и таять лед для поселковой электростанции (локомобильной) было очень накладно. Пробовали питать локомобили самоизливом из ближайшей скважины, но возраставшая щелочность нагретой воды из-за распада бикарбонатов вызывала катастрофическое вспенивание и перебросы. После наведения порядка в анализах удалось рекомендовать другую, не слишком удаленную, скважину, дававшую сульфатную, но не вспенивающуюся воду. Выход из затруднений был найден, хотя приходилось часто производить продувку котлов.

Подошла весна 1943 года. Однажды Гуле позвонил Карпов и сказал, что у кого-то из высокого начальства зародилась идея создания металлургической базы в среднем течении Колымы. Трудно было придумать что-то более абсурдное, но не стоило даже пытаться доказывать это авторам идеи, так как подоплека всего дела могла оказаться совершенно непредвидимой и не предусматривала действительного его осуществления.

В районе среднего течения Колымы действительно шла разведка Зырянского месторождения коксующихся углей, а неподалеку геологи

<sup>1</sup> Мульда (геологический термин) – чашевидная, полая синклиналиная складка.

нашли богатые железные руды. Оставалось обнаружить третий компонент черной металлургии – огнеупоры, вот и вспомнили о нашем аркагалинском опыте. Короче говоря, Дальстройуглеразведка должна была направить на их поиски полевой отряд, мне предстояло принять в нем участие и в полевых условиях суметь оценивать огнеупорность отбираемых образцов, так как перевозить подобный тяжелый груз по местным условиям было невозможно. Первые поиски предполагалось вести на Зырянском угольном месторождении, опять же учитывая наш аркагалинский опыт. Меня быстренько переправили на магаданскую пересылку, где я должен был поступить в распоряжение начальника полевого отряда. Им был назначен геолог Петр Георгиевич Туганов, и вдвоем нам предстояло совершить авиапутешествие в поселок Зырянку на летающей лодке (гидросамолете) через протяженные участки суши.

Туганов был мужчиной лет 45, высокого роста, с совершенно лысой головой, близко поставленными маленькими глазками и длинными руками. Что-то было обезьянье в его облике и манере передвигаться. Сотрудники Карпова, т. е. коллеги-геологи Туганова, с усмешкой предупреждали меня о его трудном характере: из каждой полевой партии он возвращался, перессорившись со своими спутниками. Петр Георгиевич, как я узнал позже, окончил во Владивостоке Дальневосточный политехнический институт и уже много лет работал на Колыме. Ходили легенды о его зимнем путешествии в одиночестве с упряжкой собак из Омсукчана (поселок севернее Магадана) на Камчатку. Чем была вызвана необходимость этого путешествия, не знаю, но Петр Георгиевич рассказывал мне любопытные эпизоды этой ледяной Одиссеи. Так, уже на подходе к Палане у него кончились продовольствие и собачий корм. «Мы шли, – рассказывал он, – и поглядывали друг на друга: кто кого раньше съест». В заключение он, обессиленный, упал с нарт, и собаки убежали, почуяв поблизости жильё. Очнулся он в юрте коряка, который по следам отыскал его, когда к нему прибежала пустая упряжка. Коряк заботливо ухаживал за П.Г., лечил обморожения и давал ему есть какую-то кашичу. Как-то он спросил: «А ты знаешь, что ешь? – Говно!» Коряк кормил его содержимым желудка молодых оленят, т. е. полупереваренным оленьим молоком со всеми нужными ферментами. Можно ли придумать более подходящую пищу для долго голодавшего человека? Первое время после нашего знакомства у Карпова П.Г. был слащаво вежлив со мной, рассыпался в комплиментах, и я с недоверием воспринимал предупреждения его коллег.

Т е несколько дней до вылета, как я уже говорил, я прожил в магаданском пересыльном лагере, и вот однажды, явившись в столовую, обратил внимание на кучку заключенных, собравшихся около вывешенного на стене плаката-приказа. Наскоро пообедав, подошел к нему и прочел примерно следующее: «ПРИКАЗ ПО СВИТА... Согласно извещению ГУЛАГ СССР за самоотверженный труд и безукоризненное поведение

в быту следующим заключенным снижается срок наказания: Максимо-ву О.Б... на 1 год 6 месяцев...» Вот это был сюрприз – мне оставался всего месяц до освобождения!

Н.Ф. Карпов и его коллеги тепло меня поздравили, а Николай Фокич признался, что это он возбудил ходатайство перед Колесниковым о моем досрочном освобождении.

Решено было, что я все же поеду с П.Г. Тугановым, и там, в «полях», стану вольным человеком. Нужно было запастись продовольствием на месяц, и Туганов получил в лагерной каптерке мой сухой паек. Совсем не тяжелый куль он присоединил к экспедиционному грузу

Ранним пасмурным утром мы погрузились в бухте Нагаево на небольшой гидросамолет и вскоре поднялись в воздух. Самолет следовал руслами рек и, наконец, совершил посадку на озере в пойме Колымы возле поселка Майорыч. Заправившись горючим, полетели дальше и к концу дня приводнились в затоне Зырянка.

Этот поселок, расположенный у устья реки того же названия, левого притока Колымы, служил местом зимовки большей части речного флота. Он запомнился мне лишь своими деревянными пешеходными мостовыми, сходить с которых было рискованно, так как почвой служил насыщенный водой смерзшийся ил, засасывавший ноги чуть ли не по колено.

Уже утром следующего дня мы с Тугановым, запасшись кое-каким продовольствием (масло, творог, картошка – все остальное нормировалось), налегке отправились в путь. Нашей целью и будущей базой был поселок Зырянка-Угольная, расположенный в 67 км от Зырянки-Порта. Летом никакой дороги туда не существовало, кругом были сплошные озера, разделенные кочкарником и прибрежными полосами жидкой грязи. Зимой же машины вывозили добытый уголь от шахт до речного затона, там он ждал своего срока до весны. На речных плашкоутах его сплавляли летом до устья Колымы, там перегружали на морские баржи и везли в Певек. Цена его на конечном пункте доходила до 1000 рублей за тонну – по тем временам она была баснословной. И вот на этом золотом угле работала электростанция с опреснительной установкой (в Певеке летом пресной воды не было). Столь «экономная» экономика все же оправдывала добычу касситерита<sup>1</sup> на прииске Красноармейском, концентрат которого шел в США в оплату ленд-лиза.

Итак, мы с Петром Григорьевичем зашагали к конечной цели – поселку угольщикова. Идти было мучительно трудно. Ноги то и дело соскальзывали с высоких шатких чокеч и увязали в грязи. Над нами носились тучи комаров, и не будь у нас накомарников и плотных перчаток, они быстро выпили бы из нас всю кровь. Ничего подобного я не встречал на приисках или в Аркагале, хотя там этого серого воинства было на порядок больше, чем в материковых лесах. Спина шедшего впереди Туганова была покрыта

---

<sup>1</sup> Касситерит – оловянный камень, содержащий SnO<sub>2</sub> и другие окислы, используется для получения олова.

плотным слоем комаров. Приходилось периодически смахивать их с сетки накомарника, так как они полностью загороживали вид.

**А** между тем вокруг кипела жизнь. Тысячи гусей, уток и прочей пернатой живности то и дело поднимались вокруг. Заканчивались перелет и устройство гнезд.

Туганов был вынослив, как конь, а мне с непривычки (вернее, отвычки) приходилось совсем плохо. И тут с моим шефом постепенно происходила метаморфоза: он сделался раздражительным и то и дело пенял на мою медлительность. «Ну, это тяжести пути его раздражили», — думал я, но, увы, подобное стало повторяться постоянно. Заночевали мы в дырявой халупе, встреченной примерно на половине пути. Зимой в ней, наверное, обогревались шоферы машин, вывозивших уголь. Разведя дымокуры, мы, плача и чертыхаясь, кое-как закусили, завернулись во все, что оказалось под рукой, и уснули. Рано утром отправились дальше.

Несмотря на все тяготы дороги, окружающее своеобразие все же заставляло от них отвлекаться. В бесчисленных озерах и протоках, попадавшихся на пути, плескалась и ходила крупная рыба. То и дело среди кочек попадались утиные и гусиные гнезда с кладками яиц. Мы не пытались ими воспользоваться, так как они явно были сильно насиженными.

Наконец, мучительный путь подошел к концу: показались строения небольшого поселка. Нас уже ждали, так как были предупреждены радиограммой, и отвели в домик, расположенный в километре от поселка на берегу реки Зырянка. Это было зернохранилище, но почти пустое и с жилой комнатой. Поутру Туганов отправился к поселковому начальству договариваться о подсобных рабочих и вьючных лошадях для вывоза экспедиционных пожитков из Зырянки-Порта. Я, наконец, распаковал свой сухой паек, на котором предстояло прожить более трех недель. Меня ожидало горькое разочарование — это ворье из лагерной каптерки жестоко меня наказало: вместо положенной муки для выпечки хлеба они положили пачки американского крахмала, которым были завалены все магазины Колымы. Вместо сухой картошки — основы рациона, обнаружилась сухая морковь, мешочек сахара содержал какую-то слипшуюся темную массу. Связка соленого чира сначала меня обрадовала, но это оказалась сплошная соль, в которой умудрились завестись черви. Я не стал рассказывать о своей находке Туганову, так как он предложил бы поделиться со мной своим пайком военного времени. Образовавшаяся трещина в наших отношениях меня от этого удержала.

Для определения огнеупорности будущих образцов я рассчитывал соорудить подобие муфельной печи с угольным обогревом. Нужен был кирпич, чтобы сложить ее основу, и огнеупорная глина для изготовления муфели и футеровки печи. Я твердо надеялся огнеупорный материал все же

найти, и его поиск проводил уже оправдавшим себя методом: обломки аргиллитов из прослоев и почвы угольных пластов обжигал в угольной печи на небольших чашечках, сформованных из того же материала. В обнажениях реки встречались десятки пластов и пропластков угля, рядом с нами располагались и простаивавшие летом шахты и карьеры.

Выбор был велик, и вскоре я обнаружил в почве пласта Великан прослойку аргиллитов, дававших чисто белый остаток от обжига. Из него и был изготовлен горшок муфельной печи, для чего пришлось вначале часть его пережечь на шамот<sup>1</sup>, так как изделия из чистых аргиллитов при высыхании и обжиге трескались. Тем временем Туганов с двумя вьючными лошадьми ушел в Зырянку, а подсобные рабочие формовали кирпичи из размоченных аргиллитов и сушили их на солнце. К счастью, в нашем помещении обнаружилась большая чугунная ступа, а в поселке Туганов достал несколько эмалированных ведер. Словом, работа закипела.

Хуже было с питанием. Я подолгу варил в жестяной трехлитровой банке морковь, сливая концентрированный отвар. Вываренные остатки я толоч в ступе и смешивал с крахмалом. Из этой смеси выпекал лепешки наподобие лаваша. В упаренном отваре заваривал крахмал и получал приторно сладкий кисель. Тем и питался. Много лет спустя от одного запаха моркови меня начинало тошнить.

Пытался я ловить в реке рыбу, но ни крючков, ни лески у меня не было, и изготовить им замену было не из чего. Поэтому я ограничивался тем, что отгораживал мелководные заливчики на берегу реки и с помощью накомарника, укрепленного на палке, вылавливал рыбью мелкоту. Но и она была пищей!

Миновала неделя со дня ухода Туганова, к концу подходила вторая, а о нем ничего не было слышно. Встревожившись, я обратился к начальнику угольного района с просьбой по рации постараться разыскать Туганова. Через несколько часов поступило сообщение, что он обнаружен, но в зело пьяном состоянии, а лошади вконец изголодались. Через два дня эта кавалькада все же появилась в весьма печальном виде.

Появился оптический пирометр, и я смог приступить к работе, так как печь была уже сложена, и на нее мы водрузили большую обсадную трубу. Тяга была отменной, и мне удавалось доводить температуру в муфеле до 1450-1500 градусов. Это позволяло отбраковывать более 90% отбираемых образцов. Туганов с рабочими стал ежедневно уходить в маршруты, а я толоч приносимые образцы, лепил из них пирамидки и проводил их обжиг. В дни ненастья, когда Туганов оставался дома, я предпочитал оттуда уходить и направлялся в штольни, где также проводил опробование углей. Я не стану останавливаться на цели этой работы (она была моим вторым заданием), так как впоследствии опубликовал в журнале «Колыма» подробную статью о всех тогдашних находках.

<sup>1</sup> Шамот – порошок из обожженной огнеупорной глины.

Но вот, наконец, подошло 28 июня 1943 года, дата, начиная с которой я становился вольным человеком; правда, оставался еще «довесок» — три года поражения в правах, но он тогда меня не беспокоил. В тот день Туганов сводил меня в поселок, где я получил продуктовые карточки и тут же их отоварил. Вечером мы устроили небольшое пиршество, а, выпив, Туганов становился слаще патоки. В этом состоянии он пускался в философствования, всячески поносил современную цивилизацию и, упившись, кричал: «Верните мне хвост!» В среднем же подпитии он мусолил сексуальную тематику, и тут проявлялась его неумная сластолюбивая начинка. Нет, все-таки неприятный это был тип, хотя геолог и труженик отменный.

Однажды обычный распорядок дня у нас был нарушен. Пришедшие из дома наши рабочие рассказали, что в поселок вошел отряд солдат и привел «пленных белогвардейцев». Из любопытства мы отправились разузнать, что это могло значить. Дело оказалось в следующем.

Недалеко от Зырянки-Угольной протянулся горный хребет Арга-Тасс. Его сияющие снежные вершины хорошо проглядывались в ясную погоду из нашего домика. Оказалось, что какая-то группа из отряда атамана Пепеляева в 1923 года, спасаясь от наступавших со стороны Охотского моря отрядов Красной Армии, ушла в предгорья Арга-Тасса, обосновалась там и сумела просуществовать двадцать лет, поддерживая очень ограниченные связи с внешним миром через охотников-якутов. Они занимались заготовкой пушнины, рыболовством и имели довольно значительное стадо оленей. Мне удалось разглядеть некоторых из конвоируемых, все они были уже стариками, с лицами, заросшими седой растительностью. Одежда их была вполне якутской, изготовленной из оленьих шкур.

Глядя на них, я подумал: неужели они кому-то мешали и двадцатилетнее самозаклечение не испортило их возможной вины? Они основали свой маленький замкнутый мирок, основанный, видимо, не на страхе кары, а на каких-то более прочных нравственных устоях. Что ожидало этих несчастных старцев в колымском мире зла и насилия? Весь день мы находились под впечатлением этой встречи.

Сборы наши множилось и, наконец, подошел день отъезда. На этот раз мы двинулись в путь целой кавалькадой: три лошади шли под вьюками, а на четвертой ехал конюх, который должен был привести лошадей обратно в поселок угольщикова. Что же касается Туганова и меня, то снова нам пришлось проделать тот же тягостный путь пешком, правда шли мы совсем налегке.

В затоне Зырянка нам пришлось несколько дней ожидать самолет. Наконец, он прибыл из Амбарчика, и мы погрузили свои баулы с пробами и личные вещи. Неожиданно перед самым вылетом командира гидросамолета вызвали к местному начальству и, вернувшись, он заявил, что получил распоряжение лететь в Дружину, речной затон на Индигирке.

Однако он нас успокоил: сидите, мол, мы быстро сможем — каких-то 350 км — и потом сразу пойдём на юг по направлению к Магадану.



«Ну что же, – решили мы, – ехать так ехать». Увы, на подлете к Дружине погода стала портиться (а мы все время летели над рекой Ожогина), и облака совсем придавили нас к земле. Бесчисленные озера расстиались внизу, и только справа виднелся горный хребет. Наконец, под накрапывавшим холодным дождем мы совершили посадку и тут же отправились в местную гостиницу – домик из трех комнат с койками, столовой и кухней. Погода все ухудшалась и вылет неизбежно откладывался на следующий день. От нечего делать мы под дождем отправились пройтись по поселку, в котором многие тротуары были выполнены в виде лежневки из тонких лиственничных бревнышек. Зашли в факторию Госторга, снабжавшего местных жителей всем необходимым, начиная от пороха и дрови и кончая стопкой круглых сыров, сложенных от пола до потолка. Никто их не покупал, и трудно было установить, сколько времени они здесь пролежали. Мы робко осведомились, нельзя ли нам купить кусочек сыра, на что продавец ответил: «Забирайте, бога ради, их хоть все!» Мы обшарили свои карманы и, оставив себе минимальную сумму, все остальное вручили продавцу. Ведь мы возвращались в город военной карточной системы, и тот огромный кус сыра, который увезли с собой, был счастливым приобретением.

На следующий день при ясной солнечной погоде мы взлетели и каким-то причудливым маршрутом, пролетев даже над Аркагалой, добрались опять до озера у поселка Майорыч, где гидросамолет заправился горючим, и к вечеру без происшествий сели в бухте Нагаево. Заночевали мы у Евгения Николаевича Костылева, ближайшего помощника Карпова.

Через пару дней, получив временную справку об освобождении, я впервые «вольняшкой» уселся в автобус, следовавший в поселок Сусуман. Дальше нужно было добираться попутками, но в них недостатка не было: множество машин шло в Аркагалу за углем. Там меня ожидал сюрприз: маленькую комнатку у входа в лабораторию, в которой когда-то жила Зыбалова с мужем, а потом Гуля, Иван Петрович освободил для меня, а сам перебрался в более благоустроенное жилье.

Когда были доставлены угольные и другие пробы, отобранные нами на Зырянке, работы стало невпроворот, но никто уже не торопил меня вечерами покинуть лабораторию, и я засиживался за работой допоздна. Иногда вечерами я давал себе отдых и шел к Соколову или Марии Рафаиловне – между ними установились близкие отношения, похожие на брак, хотя оба отрицали романтическую подоплеку их дружбы.

Пришло время подробнее рассказать о Николае Ивановиче Соколове, самом близком мне человеке из аркагалинского окружения. Москвич, сын фармацевта известнейшей московской аптеки Феррейна, он был чуть старше меня и в конце 20-х годов закончил высшее художественно-техническое училище (ВХУТЕЖ). Потом работал на заводах художественной керамики в Щекино и Гжели. Кто-то из комсомольских вожakov завода изнасилвал молодую

работницу, и все ему сошло с рук. Николай Иванович взял и женился на ней, ославленной и близкой к самоубийству. Позднее у них родилась дочь (Таня), затем сын, и тут Н.И. почувствовал, что у него нет ничего общего с женой, начались размолвки и упреки. Н.И. взял и завербовался в Дальстрой на три года, ну а война задержала его на неопределенный срок. Был он очень остер на язык, причем становился тем более резким, чем выше были общественное положение и чин его собеседника. Колымскую действительность воспринимал вполне трезво, со скорбным сочувствием ко всем жертвам режима. Вместе с тем он поддался настояниям местных партийных органов и после начала войны вступил в партию. Немалую роль в этом сыграла, очевидно, идеалистка Сорокина. Меня всегда поражала политическая близорукость этих умных и очень честных людей, которые умудрялись сохранить веру в коммунистические идеалы, находясь в среде замаскированных кровью и насквозь коррумпированных партаппаратчиков. В начале 1943 года Н.И. получил письмо жены, в котором она жаловалась на голод и трудности жизни, просила вызвать ее на Колыму. Надо сказать, что такие вызовы в ту пору стали очень частыми.

С первыми пароходами 1944 года она вместе с детьми прибыла в Аркагалу. Но недолго длилась семейная жизнь Н.И. Между его женой и Гулей завязался роман, который не мог остаться тайной в этом крохотном поселке. В дело вмешалась партийная организация с ее показушной моральной нетерпимостью, и Гуле пришлось уехать из Аркагалы. Правда, Настя (жена Соколова) с сыном последовала за ним. Н.И. тут же с ней развелся, и хозяйкой в его доме стала дочь Танюша, улыбочатая и разумная девчушка. Переписку с ней я вел до последних лет.

**В**ойна шла к концу, напряжение последних лет стало ослабевать, и меня потянуло к настоящей научной работе. Прежде всего следовало подготовить к публикации результаты, полученные за прошедшие годы. По режимным условиям такие публикации могли появиться только в местном горнотехническом журнале «Колыма», т. е. пройдя цензуру дальстроевских «органов». Направляемые мною рукописи годами вылеживались в редакции, но все же печатались. Что же касается экспериментальных исследований, то я полностью переключился на изучение процессов выветривания углей в условиях вечной мерзлоты – работу, о которой я выше обещал рассказать. Она, правда с большими перерывами, занимала меня много лет и в конце концов стала предметом моей кандидатской диссертации, которую я защитил в Новосибирске в 1966 году.

Формирование химической структуры углей происходило в восстановительных условиях, когда же угольные пласты в результате эрозии покрывающих пород приходили в соприкосновение с кислородом атмосферы, то начинался процесс окисления (выветривания) компонентов угля. Сложные конденсированные структуры при этом разруша-

лись (с образованием сначала высокомолекулярных кислых продуктов, так называемых регенерированных гуминовых кислот, а затем — более простых ароматических и алифатических кислот, которые растворимы в воде) и тут же покидали угольные пласты с грунтовыми водами. При длительном выветривании уголь распадался полностью, и от пласта оставался лишь углистый след, так называемый проводник. Мне удалось показать, что в условиях вечной мерзлоты, т. е. в отсутствии движения жидкой воды, окисление углей (а оно в мерзлотных условиях все же идет при трещиноватых покрывающих породах) сопровождается накоплением в пласте всех продуктов окислительного распада. Можно ли придумать более мягкие условия деструкции угольного вещества, чем вековое окисление при отрицательных температурах? Поэтому в образующихся продуктах должны были сохраниться все особенности исходных структур, и химическое их изучение могло принести уникальные сведения о строении органического вещества углей.

Наиболее сильно выветрившиеся части угольных пластов Аркагалы содержали свыше 10% растворимых в воде веществ, поэтому их изучение могло представить и практический интерес (100 кг химикатов с тонны!). В то же время чрезвычайная сложность состава этих продуктов влекла за собой для исследователей много трудностей, особенно учитывая уровень разделительной техники того времени, тем более недоступный в такой захудалой лаборатории, какой была лаборатория аркагалинского угольного района. Я в полной мере извещал эти трудности в первые годы работы над этим интереснейшим явлением. Да и в наши дни подобное исследование потребовало бы использования всей современной инструментальной и спектральной техники.

Близился день победы. Советскому Союзу предстояло расплачиваться за громадные долги ленд-лиза и восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Требовалось много золота и олова, а следовательно, и угля, служившего энергетической пищей горной промышленности. Множество полевых партий геологов-угольщиков обследовали необъятную территорию Дальстроя. Число проб, подлежащих анализу, все возрастало, и руководство решило создать новую лабораторию в поселке Хасын (82 км от Магадана) за счет сотрудников и оборудования аркагалинской лаборатории. В этом поселке тоже работали небольшие шахты, располагались центральные мастерские углеразведки и там же находилось ее управление. Так можно было оперативнее наладить аналитическое обслуживание геологов. В Аркагале же оставляли небольшую контрольную лабораторию для контроля качества товарного угля и обслуживания завода огнеупоров и полукоксовой установки. Конечно, с окончанием войны работа этих предприятий потеряла прежнее монопольное значение.

Руководить аркагалинской лабораторией должен был недавно освободившийся из лагеря химик Якубовский. Родом из Каменец-Подольска, он

был очень типичен в своих привычках, манере говорить, моральных принципах и политических взглядах для представителей южноукраинской интеллигенции, испытавшей на себе влияние русской, польской, украинской и румынской культур. В последующие годы он часто появлялся у нас в Хасыне для консультаций и помощи в поставках оборудования и реактивов, и я с ним довольно коротко сошелся.

Помещение для лаборатории на Хасыне нашлось не сразу, и вначале пришлось ютиться в небольшом домике. С Аркагалы переехали Вася Ерофеев, Коля Смирнов и я, из эльгенской лаборатории прибыл химик Багадуров. Кроме того, вскоре в лаборатории начала работать Клавдия Семеновна, жена Пахомова, начальника Углеразведки, — москвичка, кончавшая МГУ и до того работавшая в магаданской ЦНИЛ. Ну а возглавлял лабораторию непотопляемый И.П. Гуля, которого как-то простили за аркагалинские шалости. Вскоре мы перебрались в большущий деревянный дом, расположенный в самом центре поселка, постепенно дооборудовали помещения (водопровод, тяги и проч.), и работа закипела.

Хочу сказать несколько слов о новых людях, с которыми меня свела судьба. Багадуров, высокого роста, полный человек лет сорока с лишним, был сыном профессора московской консерватории (кажется, по кафедре истории музыки), заканчивал политехникум в Праге и по возвращении тут же был посажен и водворен на Колыму. За лагерные годы, прошедшие для него очень благополучно, он успел несколько «приблатниться», выпивал, поигрывал в картишки и был великим циником. Эти черты мешали нам ближе сойтись, хотя Багадуров был первым человеком на Колыме, с кем я мог всерьез поговорить о музыке и позволить себе воспоминания, с ней связанные. Вскоре по ходатайству отца он был отпущен из Дальстроя и вернулся в Москву.

Большое оживление в наш мужской коллектив внесла Клавдия Семеновна. Умница и по натуре веселый человек, интересная и далеко не старая женщина, она одним своим присутствием и острым словом заставляла нас подтягиваться, следить за своей одеждой (насколько это было возможно) и внешностью. В этой связи хочу вспомнить такой комический случай. Все мы ходили в одежде преимущественно цвета хаки — такие ткани поставлялись на Колыму из Штатов. Вася Ерофеев, самый молодой и франтоватый из нас, решил перекрасить свои брюки в синий цвет и воспользовался для этого единственным имевшимся в лаборатории красителем конго-рот. Покрасив брюки в ярко-красный цвет, он затем погрузил их в разбавленную соляную кислоту и получил «шкарята» великолепной глубокой синей окраски. Его торжество, увы, было недолгим: в самых интимных местах от щелочных выделений цвет стал понемногу меняться, и вскоре нарядный Вася являл собой какое-то подобие павиана. Так и пришлось ему, бедному, через день купать свои брюки в солянке, пока они от такого отношения не рассыпались в прах.

В зиму 1945/46 года мне довелось совершить многодневное зимнее путешествие с геологом Костылевым (см. выше). А дело заключалось в следующем: в ГРУ ДС<sup>1</sup> (явился якут и заявил, что он нашел на Колыме нефть («из горы течет»)) и даже привез образец, который, к сожалению, разошелся по рукам начальства и ко мне не попал. Что означала бы для промышленности и всей жизни Колымы нефть, объяснять излишне. И начальство тут же распорядилось направить на проверку заявки отряд из геолога и химика. Вот мы и подвернулись.

Снабдили нас, правда, всем необходимым: двойными кукулями (спальными мешками из оленьих шкур, сшитых так, что наружный шился мехом внутрь, а внутренний – мехом наружу), полушубками, меховыми штанами, рукавицами, а также продовольствием (тушенкой, сгущенкой), что для послевоенного времени было весьма кстати. Со всем этим весомым грузом мы вылетели легким самолетом на лыжах в знакомую уже мне Зырянку. Теперь, правда, этот поселок был точно погружен в зимнюю спячку. Нас ожидал уже олений транспорт из десятка нарт и двух десятков запасных оленей с пятью каюрами, которые направлялись в стойбище, расположенное в верховьях реки Рассоха, левого притока реки Ясачной. Они везли туда груз, а по пути должны были посетить ключ, где был обнаружен выход «нефти».

Еще до света (очень позднего в эту пору) мы выехали по льду реки, покрытому нагнетам снега, и уже скоро почувствовали, что значит зимнее путешествие на оленях. Следует рассказать, как с этим справляются каюры. Одеты в легкую, но теплую меховую одежду и торбаза с широкими, подшитыми мехом подошвами, они, усевшись на нарты, временами покрикивая на оленей, проезжают километр-два. Озябнув, соскакивают с нарт и бегут за ними на своих «снегоходах» до первого пота. Затем на ходу вскакивают на нарты и снова едут до очередной пробежки.

Когда в первый же час пути, продрогнув до костей и едва не обморозив себе лицо, мы попытались последовать примеру каюров, то тут же забурились в снег в своих круглых неподшитых валенках и стали, несмотря на все усилия, отставать от каравана. Пришлось каюрам нас дожидаться. Цель была все же достигнута – мы дышали, как паровозы, и хорошо разогрелись. «Дышать, как паровоз» – это не избитая аналогия, на морозе около -50 градусов дыхание действительно вырывается с шипением, подобным паровозному. В таких пробежках и остановках прошел весь день, и к вечеру мы остались совсем без сил. Уже в темноте каюры, свернув с реки на поросший редкими лиственницами берег, где был корм для оленей, разбили лагерь. Протоптали в снегу площадку, центр ее очистили до земли и развели громадный костер из сухостойных лиственниц. Одного запасного оленя тут же закололи, разрезали брюхо от головы до хвоста, а в эту парящую, кровавую

<sup>1</sup> ГРУ ДС – Геолого-разведочное управление Дальстроя.

чашу нарубили сердце и печенку. Вооружившись черпаками-ложками, каюры окружили тушу и сбили первый аппетит. Затем тушу освеживали, мясо порубили в большущий варочный котел. Стоило воде чуть закипеть, как мясо считалось уже сваренным. Подцепив такой ломоть и дав ему чуть остынуть, закусывавший впивался в него зубами и острым ножом у самых губ отсекал кусок. Не очень затрудняя себя его прожевыванием, он отправлял его по назначению и тут же брался за следующий. Все это запивалось мясным отваром. Насытившись, все уселись на кукули, разбросанные на снегу вокруг костра, и закурили трубки. Тем временем над огнем подвешивался ведерный медный чайник с фигурно изогнутым носиком, вероятно еще допетровских времен. Туда кидалась пачка плиточного чая, и начиналось долгое чаепитие. Распаренные от сытости и горячего питья, все постепенно забирались в кукули, и сразу же оттуда раздавался храп.

Мы с Евгением Николаевичем принимали участие лишь во второй части трапезы и, с трудом прожевывая полусырое мясо, заедали его лишь с поверхности оттаявшими ломтями хлеба. Сон в кукуле вознаграждал за все дневные испытания. Вот только утром клапан, закрывавший голову, с трудом удавалось открыть из-за изморози, покрывшей его от вырывающегося дыхания.

Утром быстро доедалась вечерняя оленина и допивался чай, собирались разбредшиеся олени и начинался долгий дневной путь. В первый день мы миновали русско-якутский прибрежный поселок Нелемное и ночевали где-то у устья реки Гонюха, притока Ясачной. Дальше же пошли совершенно безлюдные места, и я совсем потерял представление о нашем маршруте.

Почти неделя промелькнула незаметно. Мы оба сильно похудели, несмотря на избыточное питание, но чувствовали себя отлично и постепенно привыкли к морозу. Но вот, наконец, наступил день, когда караван с утра поднялся, а мы с двумя каюрами на двух нартах налегке отправились в узкую боковую долину, заваленную особо глубоким снегом. Через час пути якут, подавший заявку, стал беспокоиться, что-то обсуждать с товарищем. Но вот миновали крутой поворот долины — и перед нами открылся борт ключа, белоснежный покров которого прорезал бурый, застывший на морозе поток. Нефть? Увы, стоило подойти поближе, как ясно почувствовался резкий креозотовый запах. Угольный деготь — вот что это было. Надежды на нефть рушились, но откуда здесь взялся деготь? Мы по очереди брались за лопату и через пару часов расчистили весь пологий борт. Красно-коричневые обожженные и потрескавшиеся плиты песчаника говорили сами за себя. Я благодарил судьбу, которая дала мне возможность широко пронаблюдать подобные же обрушения в штольнях Зырянки в 1943 году. Все объяснилось просто: здесь горел угольный пласт, видимо давно уже подоженный на выходе лесным пожаром. Огонь ушел на глубину, притих из-за малого притока воздуха, и летучие вещества вместе с продуктами горения выходили на поверхность. Они конденсировались на снегу и медленно стекали вниз в русло ключа. Костылев сделал зарисовки, я упаковал пробы, и мы отправились в

обратный путь. Дорогой я пытался объяснить огорченному «первооткрывателю» его ошибку. Впрочем, горевал он недолго. К вечеру следующего дня мы добрались до стойбища, где устроили дневку. Потом облегченный караван за три дня доставил нас в Зырянку. Тут же подвернулся попутный самолет до Сеймчана. Далее до Магадана пришлось добираться попуткой. Наши кукули и тут пригодились: мы без хлопот расположились в пустом кузове и, отсыпаясь на этом тряском ложе, благополучно добрались до Хасына.

**Н**аселение поселка Хасын росло, и менялся его состав. Поселковым начальством были по очереди руководители размещавшихся в нем учреждений, которые быстро сменяли друг друга. Это были и ДСуглеразведка<sup>1</sup>, и РайГРУглеразведка, и Центральные мехмастерские управления ДСуголь, и Приморская геолого-разведочная экспедиция. Последняя просуществовала, пожалуй, дольше всех, во всяком случае, до нашего отъезда с Колымы.

Лаборатория хозяйственно подчинялась каждой из перечисленных организаций, но до 1949 года и даже позже прямым руководителем оставался Н.Ф. Карпов. Целая плеяда геологов и геофизиков прошла за годы жизни на Хасыне перед моими глазами. С многими я сходил, с некоторыми довольно близко. Из них мне хотелось бы назвать здесь Трибунского, Домохотова, Гурина; особо следует упомянуть Георгия Георгиевича Попова. Возрастом постарше и как геолог поопытнее, он успел за те годы сменить несколько должностей, но потом перешел в главк (СВГУ)<sup>2</sup> и, переехав в Магадан, занял место Карпова после отъезда того в Ленинград (1951). Георгий Георгиевич был правозерным коммунистом, и в силу этого наши отношения не могли стать сколько-нибудь близкими, но чувство взаимного уважения помогало нам сохранить всегда деловую доброжелательность и доверие.

Так же росли и менялись штат лаборатории и профиль ее деятельности. Все большая доля работ приходилась на анализы не углей, а горных пород, рудных образцов и минералов. Хотя Клавдия Семеновна была неплохим аналитиком, но мне как фактическому методисту и научному руководителю лаборатории приходилось все больше времени отдавать ознакомлению и освоению новых областей аналитической химии: силикатному и рудному анализу.

Вскоре, после того как американцы взорвали атомную бомбу над Японией, у нас организовали поиски урановых руд. Одну из комнат лаборатории изолировали, закрыли окно решеткой, посадили туда жену Попова и со всякими строгостями начали радиометрическое обследование образцов,

<sup>1</sup> ДС – Дальстрой.

<sup>2</sup> СВГУ – Северо-Восточное геологическое управление.

свозимых со всех концов Колымы. Меня как бывшего зк и «пораженца» (у меня заканчивался срок поражения в правах) к этим делам не допускали.

Пошло время рассказать, как протекала в эти годы жизнь самых дорогих для меня людей – мамы, Олечки, ее семьи, а также маленького человечка, занимавшего с каждым днем все большее место в моей душе, – дочурки Эрочки. Я не могу сейчас назвать точных дат отдельных событий их жизни, но общая последовательность ее была такова: из Усть-Каменогорска Павел и Оля переехали в Сарпул (какое-то время прожив в Куйбышеве), к ним из Краснодара присоединилась мама с девочками. Здесь началось бурное продвижение Павла по служебно-партийной лестнице, он сумел многого добиться для военных поставок от промкооперации и был на отличном счету у Косыгина. В 1944 году его отозвали в Москву, и вскоре он возглавил Промкооперацию РСФСР. С ним уехала и Оля, а после того, как ими была получена роскошная квартира в доме правительственных чиновников на улице Чайковского, переехала в Москву и мама с девочками. Я, наконец-то, получил фотографию дочки и буквально в нее влюбился. В том смутном будущем, которое меня ожидало, это был единственный светлый лучик.

О Лизе у меня известий не было, и я раз и навсегда зарекся их получать после того, как Сережа Лунин, уже освободившись из лагеря и будучи в Магадане, посетил ее по моей просьбе и застал там по-домашнему расположившегося мужчину. К описываемому времени она уже давно выехала из Магадана и заняла во Владивостоке тот же пост.

Я поставил себе задачей каким угодно путем вырваться в отпуск в Москву, чтобы повидать близких. В этом деле мне помогало неожиданное обстоятельство: в ту пору колымчане получали из Америки в виде благотворительной помощи много поношенной одежды, и большие, и малые «начальнички» грабастали ее тюками. Пахомов (муж Клавдии Семеновны) как начальник ДСугля имел, очевидно, большие возможности проделать то же самое. К тому же он за колымские годы очень раздобыл, и старая одежда ему оказалась мала. И вот он задумал такую коммерческую операцию: переслать все ненужное в Москву своей матери для реализации через комиссионки. Нужен был надежный посланец, а тут подвернулся я (Клавдия Семеновна ему говорила о моих намерениях). Преодолев под какими-то деловыми предложениями запреты на мой выезд из Колымы (вместо паспорта у меня была бумажка с пресловутой 39-й статьей о паспортизации), Пахомов предоставил мне летом 1946 года отпуск. Я вез с собой немалый тюк одежды Пахомова и крохотный самодельный чемоданчик со своим добром. Одет я был весьма живописно: френч из грубого хаки, такие же брюки галифе и брезентовые сапоги. Но так одевалось большинство российских граждан в те тяжкие послевоенные годы.



С великими муками я погрузился на пароход, и в твиндеке, подобно тому, как возили заключенных, нас, отпускников, довели до Находки. Там только только зарождался порт, но были уже выстроены огромная пересылка для заключенных, а также лагерь для пленных японцев. Городок жил отголосками недавнего происшествия: взорвался пароход «Дальстрой», загруженный взрывчаткой, и его обломки встречались далеко от портовых сооружений. Говорили, что это диверсия, организованная японскими пленными, работавшими в порту. Добрался я, наконец, и до Владивостока, остановился в гостинице Дальстроя на углу Пологой-Бородинской и Суйфунской<sup>1</sup> улиц. Здесь я мог немного отоспаться, так как всю дорогу, почти сутками, бодрствовал из-за воров, которые так и шныряли по твиндекам: отпускники ехали надолго и с деньгами и были добротной добычей.

С рассвета до вечера я проводил время в очередях у билетных касс по предварительной продаже и никого из знакомых не пытался повидать (видок у меня был ультрадорожный!). После четырех суток бесполезных попыток я понял, что билета мне не достать. В ту пору огромная масса отпускников и демобилизованных из дальневосточных армий рвалась на запад.

Утром я вышел с вещами на перрон железнодорожного вокзала, дождался, когда подали состав дальнего поезда, втиснулся с толпой пассажиров в один из вагонов и забрался на третью полку. После отправления сразу же предупредил проводника, что еду без билета. Он прямо назвал сумму (10 рублей) и сказал, что на первой остановке (станции Угольная) билет мне достанет. Так все и произошло. К сожалению, оказалось, что поезд идет только до Новосибирска. Все купе были заполнены военными, которые оживленно обменивались военными впечатлениями и планами будущей жизни. Все ждали каких-то чудесных перемен, за которые было плачено большой кровью.

Ну а пока в дороге было довольно голодно, и так называемые рейсовые карточки удавалось отоварить лишь в особо счастливые дни. Под непрерывные взвизги гармошек и баянов, пьяные выкрики и ссоры мы на седьмой день добрались до Новосибирска. Здесь нас ожидала безрадостная картина: все огромное недостроенное здание вокзала было до отказа забито гудящей массой пассажиров всех возрастов, национальностей и обличий. Эта масса непрерывно перемещалась, кипела, подобно бродящему суслу. Слухи о реализации билетов и подаче составов мгновенно облетали все человеческое скопище, и тогда в нем возникали бурные струи к кассам и выходным дверям на перрон.

Я попытался повторить владивостокский эксперимент, но безуспешно: было слишком много охотников проникнуть в вагон без билета. Постепенно нас сколотилась целая группа транзитников-дальневосточников, и вот как-то глубокой ночью мы ворвались в кабинет транзитного диспетчера и ультимативно заявили, что не уйдем без билетов. Совсем одуревший от бессонницы диспет-

<sup>1</sup> Ныне улица Уборевича.

чер, наконец, сдался и дал нам записку к кассиру, которая читалась, как непонятная шифровка. Когда мы ее отоваривали, пришлось заплатить за два лишних билета. Это было по-божески. Часов в 10 утра был подан состав, и в страшной давке я со своим узлом еле-еле попал в вагон.

И вот поезд остановился у Ярославского вокзала. С некоторой робостью я вышел на Каланчевскую площадь. Вид у меня был аховый. Тащил я явно лагерный «сидор» и огромный тюк. Первый же милиционер мог остановить меня и тогда предстояла высылка в 24 часа (это в лучшем случае!) за 100 км от Москвы. Я не решился пользоваться транспортом и направился пешком к Курскому вокзалу, далее на Таганку и в Замоскворечье. Направлялся я на Арбат в Большой Левшинский переулок, где жили Мишуковы. Там мне была приготовлена приличная одежда, в которой я мог показаться в правительственном доме, где жили все наши. Мишуковы встретили меня очень тепло, я поблаженствовал час в горячей ванне, переоделся и отправился к своим. Десять лет — и каких! прошло с момента нашего расставания, и, кроме того, мне предстояло увидеть свою дочь, о которой столько было продумано. Прежде чем выйти, я позвонил им — кто знает, какие там порядки в этом охраняемом доме? — и, только услышав Олечкино «Иди, иди скорее, встретим!», побежал на Смоленский бульвар.

Все было радостно в этой встрече, был и сюрприз: у Оли недавно родился сын Володя. Мы засиделись с мамой до поздней ночи, и она подробно рассказала, как состоялось знакомство с Лизой и как развивались их отношения после моего осуждения. Мама еще раз рассказала о неблагоприятной роли матери Белопольского в возникновении между ней и Лизой ненормальных отношений. Во всяком случае, с отъездом Лизы в Магадан все заботы о воспитании девочки пали на мамины плечи. Она стала маминной любимицей, и это можно было понять: очаровательная девчушка с живым умом и веселым нравом — вот какой оказалась моя доченька.

Время пребывания в Москве я делил между домом и библиотекой. Да, это была та же полюбившаяся мне еще в 1929 году библиотека на площади Ногина. Я встретил там тех же предупредительных сотрудниц на абонементе, но, Боже, как они постарели! Мне нужно было пересмотреть кучу книг и журналов по совсем новым для меня вопросам рудного анализа, не говоря уже об углехимических работах, особенно по окислению углей. Но я старался просиживать в библиотеке те часы, когда Эрочка была в школе, а остальное время быть с ней.

Эре и Инне очень нравилась игра, которую я им предложил: на вечерних прогулках они брали меня под руки и закрывали глаза. Я вел их по переулкам Садового кольца и потом предлагал угадывать, куда мы забрели. Но плутовка Эрочка тайком подглядывала и всегда угадывала верно, к огорчению Инночки, честно выполнявшей условия игры. Эра в те дни как раз сдавала испытания для поступления в школу Гнесиных. Она была очень музы-

кальна, благополучно прошла экзамены и была зачислена в это престижное музыкальное училище.

С Павлом у меня установились ровные дружеские отношения, хотя видел я его мало — он приходил очень поздно с работы, а я рано отправлялся в библиотеку. Так бы и остался я в этом родном гнезде, но время спешило, срок истек (слишком много его ушло на дорогу). Павел достал мне билет в спальный вагон, и пришлось собираться в путь в мою одинокую безрадостную жизнь.

В Москве мне стали известны некоторые детали из жизни Лизы. Она поселилась во Владивостоке в нашей старой квартире по улице Жертв Революции с тем субъектом, с которым прожила последние годы в Магадане, и заняла должность архитектора города. Но, по сведениям знакомых мамы и особенно партийных приятелей Павла, у нее начался роман с секретарем крайкома партии Пеговым. С ним она и находилась в те дни на курорте где-то в районе Минеральных Вод. Естественно, что я и не пытался как-то с ней связываться.

В поезде в двухместном купе со мной ехал сосед, недавно демобилизованный и ныне направлявшийся на должность директора Новосибирского цирка. Он рассказывал любопытные истории из жизни высшего офицерства наших оккупационных войск в Германии. Состоял он адъютантом у генерала-артиллериста. И вот вызвал его генерал, вручил командировку и посадил с шофером в студебеккер, загруженный ящиками со швейными иглками. Нужно было отвезти их в Одессу (это из-под Дрездена!) и реализовать на черном рынке. Обратного генералу были привезены несколько десятков миллионов рублей, да и себя посланец, видимо, не обидел. Когда я читал в 1989-1991 годах в журнале «Огонек» материалы о коррупции и злоупотреблениях высшего генералитета Советской Армии, мне невольно вспоминалась и эта дорожная байка.

Вернувшись во Владивосток, я не удержался и побывал у Игоря Кизеветтера (он встретил меня на улице и пригласил к себе). Как ни настороженно я относился к нему после следствия, стопроцентной уверенности в его стукачестве у меня еще не было. Могли быть и другие варианты (Готовец, Клейе), и нужно было просто задать Игорю несколько вопросов и посмотреть ему в глаза. Увы, ничего подобного сделать не удалось: меня сразу же усадили за стол, и всю инициативу разговора взяла на себя его жена Зоя. Остаться со мной с глазу на глаз Игорь явно не хотел. Я тут же собрался и ушел, сославшись на вечерний отъезд в Находку.

После трудной посадки на пароход и недельного плаванья по осеннему Охотскому морю я прибыл в Магадан. Хасын встретил меня очень приветливо. В первый же вечер я посетил Пахомовых и рассказал о встрече с матерью Якова Дмитриевича, которой передал с таким трудом доведенную посылку.

Настроение у меня было какое-то приподнятое, встреча с дочкой дала мощный заряд надежд и оптимизма, и я горы готов был свернуть. Появилась также уверенность в научной ценности тех наблюдений и экспериментов, которые относились к процессу выветривания углей.

Но эти светлые дни оказались короткими. Пришло письмо от мамы, в котором она сообщала, что вслед за моим отъездом к ним явилась Лиза и потребовала отдать ей Эрочку. Она была разъярена своей неудачей в матримониальных расчетах на Пегова, Илья, ее давний сожитель, в счет не шел, а я, видите ли, даже не известил ее о своем приезде, т. е. явно не собирался восстанавливать наши отношения. Как будто это давно уже не было нам обоим очевидным и все ее поведение за семь лет, истекших с нашей краткой встречи, не было тому подтверждением.

Конфликт в Москве разгорался. Лиза подала заявление в суд, и тут был пущен в ход весь арсенал политической дискриминации и клеветы на меня и маму: «чуждая идеология», «враг народа» и т. д. и т. п. Досталось и Павлу, и эта клевета так или иначе оказалась в его досье, что спустя несколько лет привело к его снятию с должности. Ничто в те годы не могло противостоять подобным обвинениям, и суд вынес решение в пользу Лизы. Это было тяжелой трагедией для мамы и Оли, да и для самой Эрочки, которую отрывали от всего дорогого, что было в ее начинающейся жизни. Безжалостно разорвав связь со школой Гнесиных, Лиза на всю жизнь лишила Эрочку профессионального музыкального образования, к получению которого Эра впоследствии стремилась, что называется, до седых волос. Тяжело было маме и всей Олиной семье, и не менее тяжело было мне сознавать свою полную беспомощность и бесправность. Так или иначе, Эрочка оказалась во Владивостоке, и у меня зародилась мысль увести ее тайком на Колыму. Нужно было ждать следующего лета, т. е. открытия навигации.

**В** 1946 году была начата разведка углей в самом удаленном районе деятельности Дальстроя — на побережье реки Алдан в бассейне рек Хандыга, Томпо, Герби и др. Угли этого района содержали множество включений смоляных тел, т. е. приближались к липтобиолитам, и давали при полукоксовании до 20 и более процентов дегтя. Тут опять строгая деловая информация породила у начальства вздорное намерение блеснуть перед Москвой своими достижениями, и был поднят вопрос о получении местного жидкого топлива. В ту пору вопрос этот был моден: из Германии широким потоком шло демонтированное оборудование заводов Лейна-Верке, в том числе и установок по получению из углей искусственного жидкого топлива. Но при этом «руководство» совершенно игнорировало все технические, технологические и транспортные трудности, которые связаны с созданием подобного производства в этой глухомани вблизи полюса холода. Отчасти сбил с толку начальство пример Главсевморпути, который в поселке Тикси на

базе уникального сырья оленекских богхедов создало в годы войны небольшое производство дизельного топлива для каботажных судов.

И вот ГРУ ДС получило приказ доставить в Тикси образец туматского угля (месторождение бассейна реки Хандыга) и провести там его опытную переработку в жидкое топливо. Дело поручалось Карпову и мне. В наше распоряжение был выделен грузовой (т. е. холодный) самолет ЛИ-2, и в середине февраля 1947 года – в самую лютую пору – мы вылетели из Магаданского аэропорта в направлении Якутска.

Заправлялись бензином в Сеймчане, поселке Теплый Ключ (здесь приняли 1,5 тонны угля), и вечером прилетели в Якутск. Как ни тепло мы оделись, но за несколько часов лета до очередной посадки успевали промерзнуть до костей, ведь в кабине самолета температура не поднималась выше -30 градусов. Мне показалось очень странным, что на всех промежуточных аэродромах были выстроены одинаковые, очень живописные туалеты: домики из аккуратно подогнанных бревнышек с резными ставенками и наличниками, петушками на коньке крыши. Их вид совершенно дисгармонировал с самими «аэровокзалами». В Теплом Ключе, например, вокзалом служила небольшая юрта из неошкуренных лиственниц с односкатной крышей, покрытой дерном. Только мачта с полосатой «колбасой» указывала на принадлежность этого сооружения авиаслужбе. Когда я попросил диспетчера в Теплом Ключе разъяснить мне причину такой дисгармонии, он поведал мне следующую историю. В годы войны по этому маршруту американские летчики перегоняли с Аляски в СССР военные самолеты, поставляемые по ленд-лизу. Когда первые американские пилоты, приземлившись для заправки на одном из промежуточных аэродромов, спросили, где находится туалет, им показали на стоящее метрах в 300 трехстенчатое сооружение с куском брезента вместо двери (а морозы стояли за 50 градусов). Вначале они, думая, что их не поняли, стали жестами объяснять, в чем они нуждаются, но когда до них дошло истинное положение вещей, то они, справившись как-то с делами, немедленно подали рапорт своему начальству, что в подобных условиях летать здесь совершенно невозможно. Тут же наши военные спецы спроектировали комфортабельные клозеты, и в разобранном виде они были развезены по всей авиатрассе. Было бы очень любопытно узнать судьбу этих «удобств» в последующие годы: когда мы летели, они уже были заперты на ключ. Вероятно, их заняли под жилье.

Приземлившись для ночевки в Якутске, мы с Николаем Фокичем решили сходить в город. Он начинался в получасе ходьбы от аэропорта. Первое, что привлекло внимание на улицах, – это капитальнейшие заборы из толстых деревянных плит. Глухие заборы и ворота, полностью крытые дворы у домов и задраенные ставнями окна придавали улицам настороженный вид, точно жители затаились от какой-то грозной опасности. Проголодавшись, мы зашли в вечернюю столовую и устроились за одним столиком с молодым якутом. Очень любопытно было наблюдать, как, закусив ~~чем-то мясным~~, наш сосед принялся за водку, запивая ее чаем.

Заночевали в гостинице при аэровокзале. Наутро нас огорчил командир самолета – на трассе «погоду» не дали. Пришлось снова идти в город продовольствоваться. Впрочем, мы не пожалели об этом, так как с интересом осмотрели деревянный острог постройки XVII века. Не успели вернуться в аэропорт, как нас разыскали наши пилоты и велели срочно садиться в самолет: до Булуна открылась погода. Опять час борьбы с морозом, который показался еще злее вчерашнего.

Под нами расстилалась бескрайняя долина Лены с ее бесчисленными меандрами<sup>1</sup>, отмеченными темной опушкой пойменного леса. Хотя летели мы достаточно высоко, но границы долины так и не просматривались. И вот – посадка в Булуне. Холодная, заснеженная тундра вокруг аэровокзала и поселок в 2-3 км. Н.Ф. так намерзся, что решил скоротать время в вокзале, а мы с бортмехаником как самые молодые были делегированы за выпивкой для пилотов в поселок. Убогие редкие домики, речная пристань, узкие проторенные дорожки в метровых снежных сугробах – больше ничего не рассмотрел в сгущавшихся сумерках (а было лишь около 4 часов дня!).

Зашли в столовую закусить, и тут мой спутник, что называется, пустился в загул. После повторных стограммовок спирта он сильно опьянел и вовсе не собирался возвращаться в аэровокзал. Бросить его я не мог – зимой пьяному долго ли до беды, и мне пришлось дожидаться, когда с него сойдет хмель. Но события развивались не по задуманному. В столовой стали появляться женщины – молодые и не очень, говорившие с сильным прибалтийским акцентом. Две из них обратились к нам с просьбой чем-либо их угостить. Это были эстонки, сосланные в Булун поле занятия Эстонии нашими войсками. Им инкриминировали связи с немецким офицерством, но были и семейные, прибывшие сюда вместе с мужьями. Трудно себе представить более жестокое наказание. Они были не способны чем-либо себя прокормить в этом оленеводческом районном центре Якутии. Был один выход – проституция, но и на этом поприще предложение явно превышало спрос.

Мой спутник легко поддался на уговоры подошедших женщин и решил отправиться к ним на квартиру. Что мне оставалось делать? Я вынужден был его сопровождать, рассчитывая на то, что присутствие трезвого спутника уберезит гуляку от больших неприятностей. Как никак он был членом экипажа, и без него наш вылет был невозможен. Мы долго пробирались узкими тропинками, и мне большого труда стоило удерживать этого пьянчужку в вертикальном положении. Наконец, нырнули в какую-то землянку. Тут было относительно тепло, и я, усевшись у выхода и обогревшись, задремал. Меня разбудил лишь поднявшийся шум: видимо, мой спутник, несмотря на хмель, не слишком щедро расплатился за оказанные услуги, и его попросту выставляли вон.

<sup>1</sup> Меандр – геометрический орнамент из непрерывной кривой или ломаной линии.

К счастью, ярко светила луна, и я мог выбрать верное направление на аэровокзал. Провожаемые лаем сотен псов, мы проследовали ночными закоулками и, наконец, уже к утру добрались до аэровокзала. Николай Фокич, встревоженный нашим отсутствием, начал было ворчать, но, убедившись, что я абсолютно трезв (я даже и не пригубил спирта – болела язва), обратил свой гнев на бортмеханика. Еще суровее его отчитали товарищи, зря прождавшие выпивку весь вечер. Чтобы покончить с этим не слишком благовидным и унижительным приключением, остается добавить, что на обратном пути из Тикси мой спутник почувствовал последствия своего «романтического» приключения.

На другой день мы так и не вылетели из Булуна. Дважды грели моторы с помощью особого устройства, и оба раза, когда самолет был готов к вылету, Тикси закрывался. Мы с Н.Ф. ходили в поселок питаться (пилотов кормили в аэропорту) и по дороге наблюдали, как огромная тысячная стая полярных куропаток, подобная белому облаку, перелетала вдоль нашего пути, и там, где они приземлялись, все вершины ивняка, торчавшие из-под снега, были начисто общипаны.

Наконец, на третий день взлет состоялся, и буквально за 50 минут мы сели на ледяном аэродроме Тикси. Тот заводик, который был целью нашего прилета, оказался на простое (отказала котельная), но мы решили переждать день-два в надежде самим поприисутствовать при проведении испытаний и отобрать нужные пробы. Остановились мы при заводе, который располагался на возвышенном месте над поселком. Любопытно были устроены жилые дома: они не имели окон с одной стороны, и эта стена была облита водой и заморожена – так спасались от ураганных южачков, которые вдували в дом любую конопатку. В окна были вставлены четыре стекла – по два в каждой раме. Мы и на себе испытали, что значат эти шквальные ветры: как-то вечером, когда мы ужинали в поселковой столовой, поднялся сильный ветер. Посетители столовой, привычные к подобным погодным сюрпризам, стали подстилать на полу газеты и верхнюю одежду, устраиваясь на ночевку – выйти на улицу никто не решался. Говорили, что незадолго до нашего прилета главбух порта решил в такую погоду вернуться с работы домой, и спустя неделю его нашли под морским обрывом на льду, обглоданного песцами. Лишь под утро мы вернулись в свое жилье.

Тикси не знал карточной системы даже в войну, а теперь магазин Госторг был завален разными товарами. Я приобрел себе чудесный свитер, копченых осетров для подарка хасынцам и американский солдатский шоколад в толстых картонных плитках. На большее у меня не оказалось денег.

Как ни хотелось нам завершить порученное дело, но командир самолета получил радиоприказ срочно возвращаться в Магадан, и мы вынуждены были перепоручить испытания персоналу завода, а сами вылетели в обратный путь. Он не представлял никакого интереса, мы по-прежнему мерзли в самолете и всю дорогу грызли «для сугрева» американский шоколад. С нами до

С.С.С.Р.

Народный Комиссариат  
Внутренних Дел

**УПРАВЛЕНИЕ  
СЕВЕРНО-ВОСТОЧНЫХ  
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ  
ЛАГЕРЕЙ**

**Чай-Урянский лагерь**  
"19 -го февраля 1943 г."  
№ 3/1/328

Бухта Нагаево, ДВК

Паспорт серия **ДТЗМ 652507**

Форма № А.

№ **061000** в  
видом на жительство не служит.  
М.А.В. записка Упол. Визит по ЛПР при утере не возобновляет.

**С П Р А В К А № 44328**

Выдана граждан **ЧУ МАКШИМОВУ**  
**Олегу Борисовичу**

**1911** года рождения, урожен **чу г.ор. Москва**  
гражданство (подданство) **ОССР**  
национальность **Русский** осужден **В.Т. Тихомиренко**  
**Флоя В. Г. ВЕДИКОЛОВ, 19** июля 19 **27** года  
по ст. ст. **58-7 58-10 ч. 1 и 58-11** к лишению свободы на  
**восемь** лет с поражением в правах на **три** года, имевш **в**  
прошлом судимость **за кражу в крупном размере**

в том, что он — отбывал — меру наказания с **20** **16** марта  
19 **36** года по **28** **июня** 19 **43** года и **по**  
**на основании постановления Особого Совещания при**  
**с применением ст. 58 ОССР от 24/2-43 года срок наказания**  
**изменился на девять месяцев** божден **с 28** **июня** 19 **43** года  
и следует к избранному месту жительства в г. \_\_\_\_\_  
железной дороги.



Настоящая справка выдана **18** **ноября** 19 **43** года.

Начальник Управления Чай-Урянского  
лагеря СВЯТОСЛАВ  
С. **Начальник Управления**  
*(Signature)*  
**БЫКОВ**  
**Иванович**



Справка о досрочном освобождении.



**МРП-СССР**  
**Тихоокеанский**

Тихоокеанский Научно-Исследовательский Институт Рыбного Хозяйства и Океанологии  
Владивосток, ул. Ленина № 20. Телеграф. адрес: ТИПРО

№ 2110.

15 июля 1937 г.

Старшему Инженеру Центральной топиливой лаборатории при Управлении "Дальстройтоль" **О.Б. МАКСИМОВУ**.

По поволу Вашего заявления о переходе на работу в Тихоокеанский Институт Рыбного Хозяйства и Океанологии могу сообщить, что вопрос о возможности Вашего проживания в г. Владивостоке, получил отрицательное решение. В связи с этим Институт пока не может пригласить Вас на работу.  
Возвращаю Вам копии Ваших документов.  
Приложение: упомянутое на трех листах.

Брид. Директора Тихоокеанского  
Института МРП ВР СССР

  
Полисев

Ответ из ТИПРО.

Якутска попросился какой-то член правительства Якутии, укутанный поверх всех европейских и якутских одеяний еще в доху из шкуры белого медведя, в которой он спокойно проспал все шесть часов лета до Якутска. Вез он с собой гигантскую замороженную нельму – я впервые видел эту чудесную рыбину.

Запомнился мне лишь пролет через Верхоянье. На сколько хватало глаз под самолетом расстилось нагромождение остроконечных конусов сопок, разделенных узкими ниточками долин. Мне подумалось, что, случись что-нибудь с самолетом, нигде вокруг не нашлось бы даже малого пятачка для посадки. Но мы благополучно долетели до Магадана и, заночевав у Карпова, я поутру отправился в Хасын.

Зима закончилась, и у меня созрело намерение побывать во Владивостоке. К этому времени Пахомовы решили расстаться с Дальстроем, а без их протекции выехать в отпуск было не просто – такая масса желающих скопилась после долгих военных лет и безвыездного проживания на Колыме. К счастью, у меня закончился срок поражения в правах и кроме криминального паспорта с 39-й статьей о паспортизации я обрел все права договорника-дальстроевца.

Я уже не помню, как сумел сесть на пароход, но без каких-либо происшествий добрался до Находки. Во Владивостоке опять поселился в гостинице Дальстроя. Прodeжурился несколько часов возле нашего дома на улице Жертв Революции, я, наконец, встретил Эрочку и проводил ее в магазин и обратно. Бедная, она так мне обрадовалась, хотя наша московская встреча перед тем была в общем-то очень коротка. Повела она о своей нелегкой жизни: мать целые дни отсутствовала, и Эрочке самой приходилось во всем заботиться о себе и выполнять хозяйственные поручения матери. Постоянные шумные скандалы между Лизой и Ильей, очевидно, были фоном жизни этой убудочной семьи. К моему предложению уехать со мной на Колыму Эрочка отнеслась с восторгом. План мой заключался в том, чтобы приурочить отъезд ко дню отплытия парохода, чтобы Лиза догадалась о нашем отъезде, когда мы будем уже в море. Дальний расчет был на то, что Лизе уже наскучило возиться с совершенно ненужной ей девочкой.

В дни, предшествовавшие отъезду, я впервые после одиннадцатилетнего перерыва зашел в ТИНРО, но, кроме Леночки Лаговской, Любы Шмельковой, микробиолога Анны Марковны Теплицкой, никого из знакомых сотрудников не встретил. Наша встреча с Леной была трогательной, она всколыхнула прежние юношеские чувства у нас обоих, чья личная жизнь так и не устроилась за эти годы. Лена пригласила меня посетить их семью, и вот вечером я к ним зашел. Неодинаково меня встретили. Алексей Михайлович, жизнь которого после 1922 года протекала под постоянной угрозой репрессий (он был врачом в кадетском

корпусе на Русском острове в 1920-1922 годы), как истинный интеллигент был радушен и не подавал виду, что визит бывшего «врага народа» в то тревожное время ему не совсем по душе. Миша, с которым нас связывала совместная учеба в ВИТе (он окончил горное отделение), тоже отнесся ко мне как к товарищу, незаслуженно попавшему в беду. А вот его молодая супруга Муся встретила меня настороженно. В ней чувствовалась убежденность ортодоксальной коммунистки (в партию по ее настоянию недавно вступил и Миша) в том, что безвинно преследуемых в нашей стране быть не может. В последующие годы я с интересом наблюдал, как с Муси, точно истлевшие одежды, постепенно сходила эта партийная закваска и она становилась простой здравомыслящей женщиной.

Засиделся я в тот вечер у них допоздна и, расставаясь, условился с Леной о следующей встрече. Лена была вполне в курсе событий, происходивших в нашей семье, так как мама в письмах к ней просила время от времени встречаться с Элочкой и передавать ей посылочки, а также сообщать в Москву о настроении и здоровье девочки. У нас тогда состоялся знаменательный разговор. Я поведал Лене свои планы похищения Эrotchки. Из всего этого следовало, что у меня с Лизой все безвозвратно покончено. И тут я решился попросить Лену подумать о том, что мы могли бы создать неплохую семью. Все юношеские увлечения были позади, жизнь меня достаточно потрепала, и хотелось отогреться душой возле родного человека в кругу собственной семьи. При этом я ничуть не скрывал, чем Лена рискует, если согласится разделить мою судьбу: быть может, долгие годы предстояло прожить в суровой северной глуши с человеком, отнюдь не гарантированным от рецидивов политического геноцида. Единственно, что я мог обещать, — быть преданным семьянином и заботливым отцом будущих детей. (Я убежден, что эти свои обещания я в дальнейшем выполнил полностью: оставался всегда верен семье и в последние четыре года делал все от меня зависевшее, чтобы как-то скрасить жизнь парализованной Лены.) Словом, мы тогда расстались так, точно между нами состоялась помолвка, Лене предстояла защита диссертации, и после этого она должна была прийти к окончательному решению.

На следующий день я должен был с Эrotchкой выехать в Находку, но увы, меня постиг очередной удар: в гостинице ожидала меня разъяренная Лиза, ее приспешник Илья и милиционер. Все объяснилось просто: за невыполненное поручение Лиза наказала (побила?) Эrotchку, и та, разобиженная, заявила ей, что не станет с ней больше жить и уедет с папой. Лиза сейчас же все сообразила, связалась, очевидно через Пегова, с милицией и стала меня дожидаться. Мы обменялись с ней несколькими более чем «теплыми» словами, а милиционер дал мне расписаться в подготовленном административном предписании в 24 часа оставить Владивосток и более здесь без соответствующего разрешения не появляться.

Ночным поездом я выехал в Находку и Эрочку более не видел. Безрадостным было возвращение в Хасын, а вскоре еще более горестную весть сообщила мама. Ей написали наши бывшие соседи, что Лиза отправила Эрочку куда-то к своей сестре. Она, очевидно, ожидала моих повторных и более удачливых попыток увезти Эрочку. Противодействовать своеволию злой сбесившейся женщины я никак не мог. Признаюсь, это было единственное за всю жизнь время, когда я систематически уходил от охватившего меня горя и полной безнадежности в алкогольное забвение.

Окружавшие меня доброжелательные люди устроили мне тогда командировку в Хандыгу, крайний западный пункт деятельности Дальстроя. После неудачи в Тикси начальство решило продолжить эксперименты с туматским липтобиолитовым углем в нашей лаборатории. Для этого нужны были образцы, и вот на грузовом фургоне «ЗИС-5» я в сопровождении нескольких попутчиков-геологов выехал из Хасына в далекое (почти в полторы тысячи километров) путешествие. Незнакомые места начались за Кадыкчаном, там, где дорога расходилась: одна шла на Индигирку в поселок Нера, а другая протягивалась до самого Алдана. Это был очень мало посещаемый путь. Промышленных предприятий после Куйдусуна поблизости от дороги не было, а районный центр Оймекон лежал в стороне от трассы. Через каждые 50 км располагались дорожные командировки, где можно было зимой обогреться и перемотировать баллоны. Обитали там те же зеки, которые должны были следить за сохранностью дорожного полотна. Эти микролагеря могли оказаться и счастливой удачей, и несчастьем для их бесправных обитателей — все зависело от личных качеств местного «начальничка», царя и бога в таких уединенных поселениях.

Проезжая по этой тысячекилометровой трассе, пролегшей по горным хребтам и тундровым низинным участкам с ледяными плавунами и большими и малыми реками, невольно думалось о том, ценой каких невероятных страданий и тысяч жизней осуществлена идея этого практически никому не нужного в те годы строительства. Вероятно, все топкие мари, встретившиеся на пути, можно было забутить скелетами безвестных зк, погибших здесь от морозов, голода и непосильного труда. Но так и остались не отмщенными эти безвинные жертвы!

От этих скорбных мыслей невольно отвлекали своеобразные красоты окружающих мест. Мне особенно запомнилось озеро возле поселка Ага-якан: оно заполняло межгорную впадину, и его зеркальную гладь совершенно не трогали ветры. Только несколько стай гусей, встревоженных моим появлением на берегу, пробежали метров триста по его поверхности. Им, видимо, трудно было взлететь, так как начиналось время линьки, да и бояться в этих местах было некого.

Вскоре дорога пошла на подъем: мы приближались к хребту Сунтар-Хаята. Долины резко сузились, и на дне их бирюзовыми лентами залегали

многолетние многометровые наледи. Ключи и речки прорезали в наледях узкие щели, которые зимой вновь заполнялись льдом. Особое впечатление оставил перевал через хребет: узкая дорога лепилась к почти отвесной скале. Сверху нависал козырек в несколько сот метров, а ниже дороги зиял обрыв, тоже не в одну сотню метров. Попадись нам встречная машина – и кому-то пришлось бы задом возвращаться до редких расширений, где машины могли бы разминуться. Высоко-высоко над дорогой промелькнуло здание метеостанции. Какого мужества люди обитали добровольно в этих неприятных местах? И опять мысли возвращались к мученикам-строителям, кайлом, лопатой и тачкой пробившим путь через эти дикие горы.

За перевалом дорога быстро побежала вниз, и мы сразу попали в иной мир. Среди колымчан бытует понятие «материк» – очень емкое понятие! Материк – это все не колымское: земля и леса, города и деревни, деревенская живность (которой вообще нет на Колыме), да и сами люди, в них обитающие. Так вот, за перевалом на меня так и пахнуло этим «материком», хотя разительные перемены начались много позже, уже на подъезде к Хандыге, т. е. побережью реки Алдан. До него мы добрались лишь на следующий день, заночевав в аэропорту Теплый Ключ. Хандыга – типичный якутский поселок с молочным скотом, низкими большеголовыми лошадьми, лодками, развешенными сетями. Дома старинные, сложенные не на одно поколение. Как все это отличалось от золоторудных поселков Колымы, где люди временно обосновались, чтобы лишь взять металл и переселяться дальше...

Я с геологом Гуриным отобрал множество проб липтобиолитовых углей из речных обнажений Алдана и его небольших притоков, спускаясь и поднимаясь по реке на лодке. Главные же пробы были взяты в поселке разведчиков Тумат на речке того же названия. Машина, на которой мы прибыли на Хандыгу, должна была поработать у разведчиков некоторое время, поэтому я, поручив доставку проб шоферу, вскоре улетел в Магадан с аэродрома Теплый Ключ случайно подвернувшимся самолетом.

**Н**езадолго до этого времени мне удалось приобрести одноствольное охотничье ружье 28-го калибра, так называемую фроловку. Несмотря на изношенность, это оружие позволило мне вернуться к былому юношескому увлечению – охоте. Осенью и весной вдоль реки Хасын тянулись стаи уток и гусей, направлявшихся к реке Колыма, большой дороге их перелета к местам гнездования.

Недалеко от поселка Хасын в пойме речки располагалась старица, превратившаяся в изолированное озерцо. На нем ставили свои скрадки все охотники поселка, а среди геологов их было немало. Верховодил охотничьим коллективом еще молодой парень, заведующий механическими мастерскими Николай Иванович Соколов (полный тезка моего аркагалинского друга). Это был болезненно хвастливый человек, и на какие только плутни

он не пускался, чтобы доказать свое охотничье мастерство и превосходство! Зимой, выходя из дома на охоту на полярных куропаток, он прихватывал в рюкзаке специально хранившуюся на морозе добычу прежних охот и, возвращаясь в поселок, обвешивался этими жетрофеями. Товарищи не раз уличали его в этом обмане, но и это не помогало. Я предпочитал менее добычливое, но уединенное место охоты у устья ключа Волчьего, и эти одинокие утренние и вечерние прогулки как-то отвлекали меня от грустных мыслей о будущем.

Лаборатория между тем росла, и штат ее пополнялся. С материка приехала одинокая женщина с сыном, Анна Алексеевна Пряникова, и жена местного начальника снабжения, демобилизованного офицера и занятого рыболова В.И. Мрачковского – Анна Павловна. С этими людьми мне предстояло проработать долгие годы, и я много времени и труда вложил в их обучение лабораторной работе. Расширились и мои контакты с геологами. В ту пору я усердно занимался углублением своих знаний в области геологии, и большую помощь в этом мне оказывали геологи Турин, Домохотов и Трибунский. С последним меня связывали давнее знакомство (еще с Аркагалы) и общая судьба – он тоже недавно освобожден из лагеря.

Геологические познания (сюда я отношу и сведения из области минералогии, петрографии и геохимии) очень пригодились мне впоследствии, когда пришлось ставить в лаборатории анализы руд, силикатов и мономинеральных проб, да и при осмысливании наблюдений над процессом выветривания углей.

**П**осле нового (1948) года я получил сообщение об успешной защите Леной диссертационной работы. Вообще наша переписка налаживалась, и те намерения, которые были высказаны в прощальном разговоре, из очень зыбких становились все более реальными. Но нужно было время, чтобы Лена могла подвести черту под прошлой своей жизнью и работой и решила бы на переезд ко мне. Тут чувствовалось и некоторое противодействие семьи: увы, я был отнюдь не завидной партией! У Лены появилась маленькая племянница Олечка, и она к ней привязалась. Но это способствовало и ее намерению скорее обзавестись собственными детьми. События 1948 г. как-то слабо удержались в моей памяти: все время уходило на напряженную работу и ожидание перемен в личной жизни. Из Москвы пришли убийственные новости: Элочка заболела туберкулезом, и сестра Лиза тут же переправила ее во Владивосток, а Лиза, не задерживаясь, посадила Элочку в поезд (одну в 11 лет!) и переправила в Москву.

Возиться с большим ребенком – нет, это было не в ее характере! Если до этого у меня где-то в подсознании сохранялось чувство вины перед Лизой за то, что мои беды помешали ей в свое время обзавестись полноценной семьей, то после судебной тяжбы и возмутительного отношения к дочери я вычеркнул из своей жизни всякую память об этом человеке.

В 1991 году она делала попытку встретиться со мной во Владивостоке, где почему-то оказалась, но я не пошел на это, хотя и сообщил Эрочке координаты ее матери, дабы она могла сама решать все вопросы, связанные с их взаимоотношениями.

**Н**а рубеже 1947-1948 годов мне стало известно, что совсем рядом со мной на стекольном заводе 72-го км трассы работает в лаборатории Михаил Павлович Белопольский. Он попал туда после инвалидной командировки, где находился из-за тяжелого состояния здоровья. Михаил никогда не отличался крепким здоровьем, всегда, даже на домашнем питании, был устрашающе худ, ну а лагерь, естественно, довершил эту природную склонность. Чуть позже он как-то попал в Магадан в так называемую ЦНИЛ, где была нужда в химиках-аналитиках, случилось это сразу после его освобождения. Не помню, как и когда мы с ним встретились в первый раз после всего пережитого. Вскоре я узнал, что он женился на молодой женщине, которая приехала в Магадан по договору с матерью и маленьким ребенком после разрыва с первым мужем. Изредка я стал у них бывать, т. е. заходил на короткие минуты, когда по делам приезжал в город.

Что-то изменилось в наших отношениях с Михаилом, и я никак не мог понять, что именно. Хотя нас по-прежнему сближали глубокая приверженность к химической науке и трудно осуществимое в наших условиях стремление к научной деятельности, но всего, что касалось общественно-политических вопросов, мы как-то избегали касаться. Я был твердо убежден, что Михаил не пойдет доносить на меня чекистам, если я выскажу при нем какие-либо антиправительственные взгляды. То же, полагаю, думал и он обо мне. Вместе с тем та легкость, с которой «раскололся» Михаил в первые же декабрьские дни 1936-го, настораживала и внушала опасения, что все еще может повториться, стоит операм пустить в ход свой арсенал методов дознания, и самонаговора от него я не исключал. К тому же Михаил очень изменился, после брака он как-то быстро и незаметно попал под влияние своей новой женушки, внешне относившейся к нему чуть ли не с подобострастием, но всем укладом их семейного существования постепенно подчинившей его своим очень земным жизненным устремлениям. Михаил, уставший от многолетних тяжелых физических лишений, охотно подчинялся заботам Татьяны Леонидовны и ее матери, и постепенно обрел их «модус вивенди».

Подошел 1949 год. Неожиданно Гулю забрали на время начальником на завод по патронированию аммонита (в который раз!). Мне же вручили приказ начальника ГРУ ДС В.А. Цареградского, которым поручалось заняться организацией в Хасыне крупномасштабной центральной лаборатории геологического управления. В ее задачу входило, кроме анализа руд, силикатов, минералов и углей, также проведение пробирных анализов золотосодержащих проб. Дело было для меня совершенно новым, и я намеревался от него

отказаться (бывшему зк иметь дело с оценкой золотых запасов Колымы по тем временам было слишком рискованно), но меня успокоил Карпов. Он общил о приглашении к нам на Хасын специалиста-пробирера Антонины Георгиевны Сочковой для помощи в создании пробирного цеха и последующей работы в нем. Вскоре она у нас появилась. Мы быстро нашли с ней общий язык, отчасти потому, что ее муж (Журавлев) только что освободился из лагеря, и с этим был связан приезд Антонины Георгиевны на Колыму. Антонина Георгиевна была голубоглазой блондинкой лет сорока, очень доброжелательной и отзывчивой, но при этом весьма деловой женщиной и отличным знатоком своего дела. Нам в короткий срок удалось совместными усилиями построить и оборудовать пробирную лабораторию с мощным измельчительным цехом (пробы, используемые при пробирном анализе на золото, очень велики – 200-500 г), нефтяной горновой печью – словом, целую фабрику. Не прошло и полугода, как новая лаборатория была запущена. Нам бы теперь такие темпы!

**В** этих организационных хлопотах подошла, наконец, давно уже намеченная дата: Лена вылетела в Магадан. Но надо же было так случиться, что в день ее прилета в Хасын решил заехать сам Цареградский (начальник ГРУ ДС), чтобы ознакомиться с созданной новой лабораторией. Пришлось мне делегировать на аэродром Васю Ерофеева с тем, чтобы он встретил Лену и завез ее к Белопольским. Все так и произошло. Я тогда же попросил у Цареградского отставки, мотивируя свою просьбу огромным объемом методических работ, которые необходимо было выполнить для запуска всех новых видов анализов. Совмещать эту работу с хозяйственными заботам и огромной отчетностью (полностью рукописной!) мне было не по силам, да и хотелось, наконец, обрести личный досуг. Цареградский всем остался весьма доволен и обещал при первой возможности мою просьбу удовлетворить. На следующий день я отправился в Магадан и привез усталую и обиженную Лену. Все это было быстро забыто, и мы с увлечением стали оборудовать свое семейное гнездо: полторы весьма холодные комнатки при лаборатории. Нам столько нужно было рассказать друг другу о прожитых тринадцати годах!

Цареградский сдержал свое слово, и вскоре на Хасын вернулся Гуля и принял у меня лабораторию. Ему по настоянию «органов» пришлось расстаться с Настей (бывшей женой Соколова) и выписать из Ленинграда свою первую супругу с дочкой. Серафима Павловна была химиком-пищевиком и работала в высоких инстанциях ленинградского НКВД по контролю питания чекистской элиты. Ей ничего не стоило по партийной линии оказать на Ивана Петровича соответствующий нажим и разлучить с новой семьей (хотя уже появился ребенок). Насте же пришлось вскоре выехать с Колымы с двумя детьми – сыновьями Соколова и Гули. Так высокоморально был разрешен властной рукой партии этот семейный конфликт.



Штат лаборатории все расширялся. Из Кировска приехали две выпускницы химического техникума – Маша Кондрашина и Галя, ставшая вскоре женой Соколова (охотника и механика). С Серафимой Павловной отношения у меня не сложились, хотя она поначалу пыталась взять на себя роль опекуни нашей семьи. Работала она в лаборатории спустя рукава и, выполняя анализы углей, частенько прибегала к подгонке результатов, на чем я ее не раз ловил и что для химика-аналитика является крайней степенью профессионального падения.

Появились два грузина, бывшие заключенные – Кобаидзе (в прошлом учитель) и П.А. Челидзе. С последним мне много позже, уже в 60-е годы, довелось встретиться в Тбилиси; посетив его дом, я познал весь обряд грузинского гостеприимства.

Лена вскоре сдружилась с Анной Павловной Мрачковой, которая так же, как и она, ожидала ребенка. С Виктором Иосифовичем же нас сближало пристрастие к рыбалке. Мы сообща совершали далекие прогулки вокруг поселка, но однажды забрели в такие непролазные стланиковые дебри, что еле-еле, чуть ли не на руках вывели из них наших сугубо оберегаемых жен.

Несмотря на все мои усилия, трудно было обеспечить Лену полноценным питанием. Из овощей только к осени появилась очень дорогая картошка и репа. Вместо них в ходу был молодой турнепс, который выращивали на корм скоту. В реке Хасын в изобилии водились хариус и мальма, и я часто доставлял их к нашему столу. В поселковом же магазине были в неограниченном количестве дешевые крабовые консервы и кетовая икра да шампанское, остальное же выдавалось по очень скудной норме.

Зато в великом изобилии мы поедали и запасали различные ягоды. От самых домиков поселка в пойме реки Хасын тянулись заросли жимолости и шиповника, местами встречались поляны, густо поросшие голубицей, к осени они становились синими от обилия ягод. К сентябрю на склонах ближних сопок созревала брусника, которую собирали особыми «комбайнами» – жестяными совочками с припаянными к краю металлическими стерженьками. Таким гребешком прочесывали поросли брусники, и сбор очень ускорялся, хотя ягоду приходилось очищать от мусора: по наклонно постеленному одеялу ее порциями ссыпали в сборник, причем листочки и веточки оставались на одеяле.

Но поистине королевской ягодой была княженика. Ее не часто падающие кустики были обсыпаны ягодами, напоминавшими малину. Но каким тонким, завораживающим ароматом они обладали! Что же касается очень обильных по болотистым местам морошки и шикши, то я как-то не смог оценить их вкусовых достоинств при изобилии такого числа конкурентов. Лена понемногу осваивалась в новой обстановке. Близилось время родов, и мы решили дать будущему сыну (мы почему-то не сомневались, что будет сын!) имя Ленинского отца – Алексей.

В середине декабря произошел неприятный казус: я захворал, поднялась температура, мучили тошнота, рвота, и поселковский фельдшер (врача поблизости не было) после долгих колебаний решил отправить меня в магаданскую больницу. Путешествие было для меня мучительнейшим, я еле-еле добрался до больницы и сразу же попал на операционный стол с диагнозом: запущенный гнойный аппендицит. Но и после операции мне не полегчало. Началось тяжелое воспаление, температура поднялась до 41 градуса, я почти без сознания круглосуточно лежал с капельницей, и через меня прогоняли дикие количества модного тогда стрептоцида. Наконец, медленно, с рецидивами я стал поправляться. И тут мне передали записку о том, что Лена в магаданском роддоме и у меня появился сын. То ли эта весть меня взбодрила, то ли организм сам переломил ход болезни, но с этой минуты дело быстро пошло на поправку. Все же дома я оказался лишь после месяца пребывания в больнице и стал в меру своих малых еще сил помогать Лене. А хлопот у нее было достаточно. В нашей холодной квартире купать ребенка было сложно, да и опыта Лена еще не набралась. У меня долго не заживал шов, и лишь после того, как за умопомрачительную сумму удалось достать флакончик пенициллина с 200 000 единиц и его проколоть, выздоровление быстро завершилось.

Алеша родился худеньким (2900 г), но вначале молока у Лены было много, и он быстро набирал вес. Но случилось так, что к весне Лена вновь оказалась в положении, и Алешу пришлось постепенно переводить на искусственное питание.

В связи с этими обстоятельствами нам дали небольшую новую квартиру (две комнатки и кухню) в деревянном одноэтажном домике на краю поселка. Чтобы ее протапливать зимой, требовалось 6-7 кубометров дров, их нужно было как-то добыть, распилить и наколоть. За большие деньги коногоны привозили хлысты сухостойных лиственниц, не толще 20-25 см в комле, а также сухой стланик. И то, и другое топливо было каменной твердости, требовалась большая физическая сила, чтобы в одиночку справиться с его разделкой. Но что все это значило по сравнению с тем счастьем, которое царило в нашей семье! В период между двумя декретными отпусками Лены нам все же пришлось прибегнуть к услугам няни. Ею была жена местного мастера-печника Ксения Шилова, приехавшая к нему после его освобождения из лагеря. Эта славная веселая женщина, конечно, по-своему ходила за ребенком. Так, однажды я застал Алешу с куском селедки, которую он с наслаждением высасывал – и это ребенок, только-только оторванный от груди! Но в общем с Ксенией мы прекрасно ладили.

Между тем в лаборатории произошли существенные перемены. В ГРУ ДС всем было очевидно, что Гуля не справляется с руководством столь значительно выросшего коллектива сотрудников лаборатории. И вот однажды в лаборатории появился Павел Васильевич

Глушков, среднего роста лысоватый мужчина лет 40-45, с какими-то пустыми, обесцвеченными голубыми глазами алкоголика. Он ранее заведовал лабораторией в поселке Усть-Омчуг и был хорошо знаком с рудным анализом. Гулю же Карпов все же пожалел и послал создавать лабораторию в Хандыгу, Серафима же Павловна временно оставалась в Хасыне.

Глушков был умницей и очень деловым человеком. Одно было плохо — пил запоями. Была у него жена Нина Григорьевна, тоже химик, злая и истеричная женщина, всем говорившая дерзости, и немудрено, что Павел Васильевич от такой сожительницы уходил в запой. Был он очень привязан к сыну, мальчику лет пяти.

Лабораторию стали заваливать массой силикатных анализов, и нужно было привлекать квалифицированных сотрудников для выполнения этих непростых работ. Как-то Михаил Белопольский пожаловался мне на тяжелую обстановку в ЦНИЛ, где он работал. Во главе этого зарождающегося института широкого профиля стоял Н.А. Шило, будущий академик, а в ту пору типичный дальстроевский сатрап. Про него в шутку рассказывали, что когда к нему являются посетители, то секретарше он командует: «Введите!»

Химическим отделом заведовал Борис Петрович Пентегов, бывший профессор Дальневосточного университета, знакомый нам с Михаилом еще по «шефнеровке», где кафедра и лаборатория общей химии, возглавляемая Пентеговым, располагалась этажом ниже лаборатории Любарского. В начале 30-х годов Пентегов попал в лагерь, позднее его привезли на Колыму, где он в войну освободился. Стал он уже очень стар, все позабыл и мало что смыслил в практической аналитической работе. Ну а его панический страх перед Шилов и его заместителями делал работу под его руководством крайне неприятной и даже опасной. Я рассказал Глушкову о желании Михаила уйти из ЦНИЛ, и Павел Васильевич быстро все это организовал. Так случилось, что после 14 лет мы вновь стали работать с Михаилом в одной лаборатории.

Заняты мы, правда, были совершенно разными делами. Михаил стал выполнять ответственные силикатные анализы и анализы мономинеральных проб, а я руководил всеми углехимическими исследованиями и проводил методические разработки. Вскоре (после второго декретного отпуска) с Михаилом стала работать Лена, она стала заправским силикатчиком и в дальнейшем до конца своей трудовой деятельности сохранила верность этой области аналитической химии.

Весной 1950 года в соседней с Хасыном поселок (72-й км), где находились стекольный и кирпичный заводы, переехал Николай Иванович Соколов. За годы, пока мы не виделись, он успел какое-то время поработать в Магадане, где вновь женился. Александра Дмитриевна, его новая жена, была партийным работником, близким к Гридасовой — жене начальника Дальстроя Никишова. Гридасова шефствовала над стекольным заводом

(«ее заключенные» его задумали и построили). Видимо, по этой цепочке Николай Иванович и получил назначение директором стеклозавода. Долго он там задерживаться не собирался и намеревался возвращаться в Москву, но Александра Дмитриевна была в положении, и они решили дождаться рождения ребенка на Колыме.

Лена тоже ждала роды, и это очень сблизило наши семьи. Надо заметить, что, как и Николай Иванович, Александра Дмитриевна была вполне «трезвым» членом партии. То есть здраво оценивала изуверскую политику Сталина. Колыма ее многому научила. До их отъезда мы часто навещали друг друга, а позже, до самой смерти Николая Ивановича поддерживали и письменную связь, а в редкие наезды в Москву обязательно у них бывали. Хорошие это были люди...

При отъезде с Колымы Соколовы оставили нам свою собаку – немецкую овчарку Зерку. Я не очень-то долюбиваю эту породу собак – большую гнусную роль их научили выполнять люди в лагерях, но Зерка стала истинным другом нашей семьи. Она же открыла долгую серию наших семейных «друзей меньших».

Следует сказать несколько слов о судьбе моего аркагалинского приятеля – Тимофея Яковлевича Родионова, который незадолго до описываемых событий побывал у нас. После освобождения из лагеря он занимал ряд ответственных инженерных должностей и успел обзавестись семьей. Произошло это после того, как в конце войны его известили о гибели жены и дочери при бомбежке эшелона, вывозившего людей из Ленинграда. Через пару лет, работая в управлении ДСугля, Тимофей сумел «отбить» жену главного инженера этого учреждения Любовь Георгиевну. Несмотря на последовавшие за этим гонения, они сумели создать прочную, хорошую семью. Забегая далеко вперед, хочу сказать, что сообщение о гибели первой семьи оказались ложными, но Т.Я. к ней уже не вернулся. Так у него оказалось две дочери Нины. С Т.Я. я поддерживал добрые отношения до самой его смерти. Он жил в Ленинграде и работал начальником научно-исследовательского сектора Горного института. Но все это было потом, а в 1950 году Т.Я. был направлен на работу в поселок Тумат возле Хандыги, где начинались эксплуатационные работы на угольных шахтах, и несколько дней прожил с семьей у нас на Хасыне.

Я уже писал, что туда же был направлен на работу Гуля, а позже к нему выехала и Серафима Павловна с дочкой, обозленная на меня после разоблачения ее плутней с результатами анализов. И здесь я совершил глупость, которая чуть не принесла мне большую беду. Я написал Тимофею о том, что Симочка Гуля – штатный работник органов (она об этом как-то со зла во всеуслышание заявила в лаборатории), что она хитрый и склочный человек, и предупредил, чтобы он был

с ней поосторожнее. До сих пор мне не ясно, каким образом содержание этого письма стало известно «органам», но однажды к нашей лаборатории подкатила машина с двумя товарищами вполне профессионального вида. Они закрылись в кабинете Глушкова и долго там что-то обсуждали. Потом меня вызвал Глушков (от него уже «попахивало» и глазки блестяли) и пригласил меня на беседу с приезжими, а сам в кабинет уже не вернулся. «Кто дал вам право дешифровать наших секретных сотрудников? Что нужно было Родионову скрывать от органов? Понимаете ли вы, что ваша информация вредна и наказуема?» – посыпались на меня вопросы приезжих. Собственно, отвечать мне не давали, допрос шел «крещендо», сыпались угрозы уечь меня на новую «десятку». «Лена, что будет с Леной, Алешенькой и будущим ребенком?!» – Эти разящие в самое сердце мысли совершенно меня парализовали. Я стоял у стола (мне и сесть, как это и водится, не предложили) и почти перестал понимать обращенные ко мне выкрики... Так прошло минут, наверное, двадцать. Гости видели произведенный ими эффект и забавлялись как кошка с мышкой. Наконец, в дверях появилась голова Глушкова: «Пошли, ребята, Нина там пригостила»... «Идите и не отлучайтесь», – бросили мне.

Глушков и его гости не показывались два дня, машина их куда-то ушла. Наконец, появился Павел Васильевич, опухший и хриплый. «Ну, отпоил вас, – шепнул он мне походя. – Благодарю». Все было понятно.

Лене эту историю я рассказал много позже. Всякая услуга требует оплаты. Вскоре Глушков задержал меня вечером в лаборатории и рассказал под великим секретом свою идею переработки сульфидных оловянных руд. Меня не опасался, – я был у него в руках.

Суть этого дела такова: по мере выработки верхних горизонтов местных касситеритовых (оловянных) рудных тел в них все больший процент олова содержится не в виде двуокиси (касситерита), а в виде сульфида – станита. Последний, обладая малым удельным весом, с трудом может быть выделен при обогащении, и выход концентрата, даже при общем высоком содержании олова в руде, катастрофически падает. Глушков, оказывается, пробовал спекать такую руду с сульфатом натрия и углем и получал водорастворимую форму олова – натриевую соль сульфооловянной кислоты. Выщелачивание такого спека водой и упаривание давали оловянный концентрат, который далее легко было транспортировать для дальнейшей переработки. Все было, конечно, не так просто, требовались долгие хорошо продуманные эксперименты, и вот эту работу Глушков решил возложить на меня, как истинный плантатор на своего чернокожего раба.

Много времени было мною потрачено на эту работу, не раз я травился сероводородом из-за плохих вентиляционных устройств в лаборатории. Каждую бумажку с записями под конец весьма успешных опытов Павел Васильевич тут же забирал. Только выезд Глушкова с семьей «на

материк», на котором настояла его жена ради учебы сына, избавил меня от этой тяжелой повинности, бывшей, кстати, дополнительной нагрузкой к немалым служебным обязанностям.

**Н**о я забежал с этим рассказом вперед. Лето и осень 1950 года были вообще счастливым временем. Алеша рос худеньким, но в общем здоровым ребенком. С наступлением холодов я по утрам относил закутанного в лисий конверт Алешу к Ксении, а после работы забирал домой. Трудно было с детским питанием, но нас выручало молоко, получаемое в лаборатории в связи с вредными условиями работы. Подошло время Лене рожать, и я отвез ее в Магадан. Так появился на свет Сережа, и дом наш наполнился счастливыми хлопотами. Ко дню рождения Алеши и новогоднему празднику я соорудил подобие елки из стволика лиственницы и веток стланика, и эта традиция сохраняется в нашей семье и по сей день.

Все было бы хорошо, но тревожили вести о болезни Эрочки: кроме денежной помощи на всяческие лечебные процедуры, я ничем активно не мог участвовать в борьбе с ее недугом. В остальном же, судя по письмам, жизнь нашей московской половины семьи складывалась вполне благополучно.

В отличие от Алеши, покладистого, ласкового ребенка, Сережа с первых же дней показывал свой особый характер. Конечно, это не было сознательным деянием, но при каждом купании он считал нужным избавляться от переваренной пищи, что доставляло нам кучу хлопот из-за необходимости менять содержимое ванны. И так в каждом деле его «супротивный» характер давал себя знать.

К тому времени я обзавелся приличным ружьем («ИЖ-49») и по выходным спозаранку уходил на охоту за куропатками и зайцами. Против поселка Хасын за рекой и автотрассой высилась сопка Южная, на верхушке которой располагались шахтные сооружения. Там раньше добывали очень зольный уголь, шедший на отопление Магадана. К 50-м годам все шахты были полностью отработаны и заброшены, но на сопку сохранилась очень крутая дорожка. И вот с лыжами под мышкой и ружьем за плечами в кромешной тьме зимнего утра я карабкался по заносимой постоянными снегопадами тропке вверх на сопку. Тяжкий это был подъем, и до верха я добирался через семь потов. К этой поре чуть-чуть светало, наверху потягивал ледяной тридцатиградусный ветерок, и нужно было оттирать вспотевшие щеки и нос. Лыжными палками я редко пользовался, разве только прихватывал одну для торможения на крутых спусках. Начиналось самое захватывающее: куропатки, ночевавшие в лунках, вырытых в снегу, услышав скрип лыж, по одной-двум неожиданно срывались и стремительно улетали вперед. Часто поднималось их до десятка, и в полумраке легко было растеряться и промазать, что часто и случалось. Начинались преследование, обходы, словом, настоящая азартная охота. К полудню, совсем уже без сил, но со связкой чудесных ослепительно белых птиц на поясе я уже другой, более пологой, дорогой спускался

к автотрассе и возвращался домой. Как правило, Лена неласково меня встречала: домашние хлопоты с двумя детьми, топка печей ее утомляли, но и мой труд был нелегким и необходимым: свежий бульон и котлетки из дичи дети имели всю зиму. Иногда удавалось добыть и крупного зайца-беляка. Я очень редко прибегал к петлям, а больше тропил их по поймам ключей. Распутывать их наброды было увлекательным занятием.

Я уже писал, что Соколовы, уезжая, оставили нам овчарку Зерку. Это было очень привязчивое существо, быстро ставшее членом нашей семьи. Она мирно уживалась с кошкой Зиткой. Однажды произошел забавный эпизод. Зерка, очень любвеобильная дама, регулярно дважды в год приносила нам щенков, которых мне приходилось топить. Но по одному щенку мы всегда оставляли, а тут что-то с ним случилось, и он сдох. В эту же пору у Зитки был котенок, а она вдруг куда-то исчезла. Вероятно, ее загрызли поселковые псы. Нам ничего не оставалось, как попытаться подложить котенка Зерке. Она сразу же его приняла и ласково вылизывала, а тот избавлял ее от избытка молока. Так выросла у нас Зитка-два, и она уже взрослой кошкой присосеживалась к Зеркиным щенкам и усердно ее сосала. Даже когда у самой Зитки был котенок, она не оставляла это занятие, и мне как-то удалось сфотографировать подобный «тандем».

Мы по случаю приобрели фотоаппарат «ФЭД» и очень увлеклись фотосъемкой ребят. Ныне я изредка доставляю себе щемящую радость, вновь и вновь перелистывая многочисленные накопленные фотоальбомы. За вереницей протекших с той поры лет все зафиксированные фотографиями события представляются таким полным незамутненным счастьем! А между тем жизнь и в те годы приносила свои огорчения и болезни, служебные неприятности и трудности быта. Но все это с лихвой искупалось нашим семейным согласием, крепнувшей привязанностью друг к другу. После трех лет, прошедших с приезда Лены на Колыму, мы стали очень близки и дороги друг другу.

Подошел 1952 год. Ребята подросли, были очень дружны. Алеша уже тогда заботливо относился к Сергею — «Уойке», как он его окрестил с первых же дней появления. Нам представилась возможность выехать в отпуск «на материк». Раз в три года Дальстрой предоставлял отпускникам значительные материальные и временные льготы. Лена обязательно хотела показать ребят отцу, Алексею Михайловичу, и Мише, а мне во Владивостоке не стоило появляться из-за данной в 1947 году расписки. В любую минуту я мог ожидать очередной пакости от Лизы, которая, по слухам, была еще во Владивостоке. И вот мы решили, что Лена с ребятами отправится самолетом в Хабаровск, доберется поездом до Владивостока, проведет какое-то время у отца, а потом возьмет билеты в поезд до Москвы, а я прилечу в Хабаровск и подсяду к ним. Конечно, путешествовать с двумя малыми ребятами зимой (мы собирались выезжать в марте) и всеми необходимыми разносезонными вещами Лене было нелегко, но уже тогда Алеша всячески пытался ей помогать.

Все так и получилось. В Хабаровске они были встречены Шурой Капица, другом и соучеником Миши Лаговского, и благополучно добрались до Владивостока. Лена горделиво демонстрировала свое потомство бывшим сослуживцам, которые в свое время провозжали ее на Колыму как в тягчайшую ссылку. Алексей Михайлович тоже был обрадован внуками. С Алешей тогда произошел забавный случай. Он впервые увидел у Лаговских женщину с сережками в ушах. Несколько раз, обойдя ее и приглядываясь к таким забавным висюлькам, он, наконец, указал пальчиком на серьгу и спросил: «А что это такое?» «Сережка», – последовал ответ. Тогда он зашел с другой стороны и, улыбаясь, с ехидцей спросил: «А это Алешка?»

До Москвы мы добрались благополучно, без простуд и прочих хворей. Время было не очень сытое, но картошку и сметану бабы на станциях продавали в изобилии. А что другое нам было нужно после Колымы? К этому времени Олина семья переехала в новую большущую квартиру на Народной улице возле Таганки. Этот правительственный дом был заселен преимущественно заместителями министров РСФСР и эквивалентными им по категории чиновниками, но видимой охраны в нем не было (а я этого опасался, так как из-за своего паспорта не мог жить в Москве более суток). Мне трудно описать, сколько тепла и заботы обрушили на нас все близкие, начиная с самого Павла, мамы, Олечки и кончая мальшом Володей, тут же взявшим шефство над ребятами. Элочка, ставшая уже большой девочкой, тоже занялась хлопотами с братьями.

У Володи была игрушечная круговая железная дорога, и Алеша с интересом и великим терпением ее собирал и запускал по ней поезда. Не то Сережа! Он норовил обязательно что-нибудь подставить под идущий поезд, чтобы тот слетел с рельсов. Его закрывали в соседней комнате, когда Алеша играл с поездом. Но временами раздавался горестный Алешин крик: «Уойка пловался!»

Долго оставаться в Москве мне не хотелось – боялся скомпрометировать Павла, и поэтому мы с Леной поспешили оформить курортные карты в московском представительстве Дальстроя. Я достал путевку в Трускавец – меня время от времени донимали язвенные боли (о чем я забыл в лагере!), а Лена – в Вирштонас (Литва), где подлечивали гипертонию, зачатки которой стали у нее появляться после вторых родов. Но отпуск у нас был долгий (более полугода), и следовало подумать о том, куда же нам направиться с ребятами после курорта. Вначале я поездом отправился в Невинномыск, где один из знакомых колымчан обещал обеспечить нам приют у его родных. Мне очень не понравилось в этой утонувшей в размокшем черноземе большой неустроенной деревне, и я отправился в Трускавец, так и не решив вопроса. Была, правда, у нас одна возможность, которую оставляли про запас. Тот самый Алексей Якубовский, который принял у меня с рук на руки аркагалинскую лабораторию и потом неоднократно гостил у нас на Хасыне, предлагал нам поселиться в городке Подволочиске (Западная Украина), где постоянно проживала семья его молодой жены. Сам он с женой и сыном, ро-



весником Алеши, как раз в том году тоже выехал в отпуск. Пока я отбывал курортную повинность в Трускавце и обпивался водичкой «Нафтуса», успел списаться с Якубовским и попросил его подыскать нам жилье.

Трускавец в ту пору деятельно строился, всюду высились строительные леса и пахло свежей краской. Вокруг города в горах сохранились еще отряды бандеровцев, и курортникам рекомендовалось в одиночку не уходить далеко от города. Но я пренебрег этими советами, много бродил по еловым зарослям, ходил пешком в Дрогобыч любоваться знаменитыми многоохватными дубами, которые как-то связывали с именем Богдана Хмельницкого.

Когда срок путевки закончился, я отправился в Киев и там дождался приезда Лены с детьми и кучей пожитков. Мы поездом благополучно добрались до Подволочиска, где нас встретил Алексей и на подводе довез наши пожитки до окраины этого городка. Там мы и поселились в хате с соломенной крышей и глинобитным полом. Половину хаты занимали хозяева. Главной семьи был высокий хмурый украинец с длинными усами, и только оселедца и шашки ему не хватало, чтобы обрести облик типичного запорожца. Вначале он относился к нам настороженно. Однако позже, узнав, что я «казацкого роду», т. е. не «москаль», а главное, проведав о моем недавнем заключении, он оттаял и даже поделился своим горем: его дочь за «связь с бандеровцами» сослали куда-то в Иркутскую область.

Впервые же часы нашего пребывания обнаружилось одно печальное обстоятельство: при хате вообще не было туалета — да, да — никакого подобного устройства! Хозяйка указала на овин и предложила устраиваться за его стеной. Пришлось на базаре обзаводиться глиняной макитрой и соорудить из стеблей польны ограждение. Вообще в быту хозяев и их домашнем обустройстве удивляло много парадоксальных несопоставимостей: чисто европейские (польские, сербские) домашние вещи и кулинарные приемы наряду с чуть ли не древнеславянским инвентарем и обрядными традициями. В отношениях людей и их речи сказывалось глубокое влияние католичества (распятый Христос на обочине всех уходящих из городка дорог, «матка Бозска» через каждые десять слов). Вскоре стало тягостным иноязычье: радиопередачи из Киева и Львова, базарная речь — все сплошь на украинском. Вывески: взуття, одяг, перукарня<sup>1</sup> (я туда зашел как-то за хлебом!). Было от чего почувствовать себя за границей.

Несмотря на недавнее военное разорение и долгую бандеровщину, городок оказался сытым. По воскресениям на базар со всей округи съезжались множество крестьян, и тут на память приходили сцены из «Сорочинской ярмарки». В первые дни посещения базара протекали с осложнениями: никто не желал понимать русскую речь и что-либо продавать нам. Но после нескольких посещений базара вместе с матерью жены Якубовского, коренной

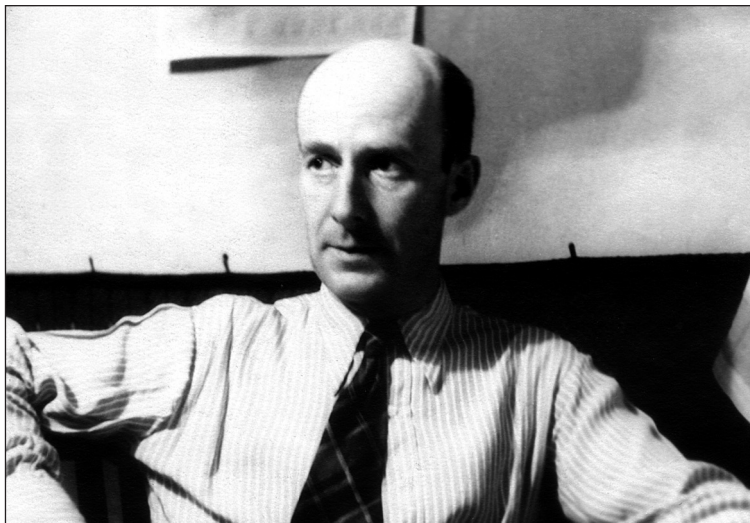
<sup>1</sup> Перукарня — парикмахерская.



Олег Борисович и дочь  
Эра. Владивосток, 1947 год.



Мама Евгения Адольфовна Максимова (Регина Адольфовна Краковская).  
Подмосковье, 50-е годы.



Олег Борисович и Елена Алексеевна. Хасын, начало 50-х годов.

жительницей, весть о нас, колымчанах, жертвах «усатого», быстро разнеслась по округе, и нас стали встречать вполне приветливо.

Недалеко от городка протекала речка Збруч – неширокая канава с коричневой мутной водой. Мы в солнечные дни ходили туда купаться, и забавно было наблюдать ребятишек, закапывавшихся, подобно пороссятам, в черный ил. Быстро промелькнули полтора месяца, мы сумели отправить множество посылок себе на Колыму с сухофруктами, чесноком, салом и прочим добром. Меня даже в местную милицию вызывали, чтобы установить, не спекулянт ли я: вот что значит хорошо поставленная деревенская информация!

На обратном пути мы вновь задержались в Москве. Я просиживал в библиотеках, а Лена бродила по магазинам в поисках детского одеяния. Мы достали ребятам чудесные козьи шубки, которые после них послужили по наследству нескольким поколениям хасынских ребят. С Эрочкой у нас установились самые теплые отношения. Инна, уже студентка химфака МГУ, часто приводила с собой подружку, пышную блондинку с неутолимым аппетитом – Лену Бурлакову. Кто бы мог тогда подумать, что с этой Леной Бурлаковой – Еленой Борисовной, профессором и доктором из Института химфизики, меня снова сведет судьба в восьмидесятых годах, когда я направил к ней свою сотрудницу в заочную аспирантуру?

Подошел день отъезда. Расставание было грустным, но не скорбным – предвиделась следующая встреча через три года. Вновь потянулись перед окнами бесконечные сибирские просторы. С родными Лени было договорено, что мы остановимся в поселке Угловое в собственном домике матери Муси, Мишиной жены. Увы, дорога без болезни на этот раз не обошлась – ребята заболели коклюшем, и мы решили перебраться в Находку. Там нужно было и отсидеть карантин, прежде чем грузиться на пароход. Время тянулось тоскливо, и в довершение ко всем неприятностям коклюшем заболел я сам – это в сорок-то лет! В дороге всякая хворь ни к месту: я задыхался, перетаскивая чемоданы в поезд, на транзитку и на пароход. Огромная масса дальстроевцев ждала пароходы, но их по-прежнему заполняли заключенными – шел последний набор, дело врачей было в самом разгаре. Каким-то чудом только благодаря малым ребятам удалось добыть приличную каюту и, несмотря на штормовую осеннюю погоду, мы благополучно добрались до Нагаево.

Такой дорогой и уютной показалась нам наша хибарка после всех дорожных треволнений. В лаборатории тоже очень тепло нас встретили и насыпали новостями. Оценивая теперь с дальних временных позиций нашу с Леной семейную жизнь на Хасыне в 1950-1956 годах, я бы отважился назвать ее вполне счастливой. Все человеческие оценки субъективны и относительны, и никакого иного мерила для этого чувства – ощущения счастья – и существовать не может. Годы тяжелейших испытаний были позади, у Лени студенчество, напряженнейшая научная работа и личные разочарования (в чем и я был повинен) тоже оставили не слишком радостные воспоминания.

А тут, несмотря на убогий и трудный быт, полное отсутствие того, что зовется удовлетворением культурных потребностей (музыка, театр и проч.), мы были переполнены чувством взаимной привязанности и радостной заботы о детях. Вечера в нашем завьюженном домике, под уютное потрескивание дров в печи и ребячий лепет, становившийся с каждым днем все более осмысленным и интересным, были для нас воистину полным счастьем.

Мы привезли из Москвы проектор и кучу диафильмов и устраивали для мальчишек что-то вроде киносеансов. На них иногда приходила Ниночка, дочка соседей (геологов Славянских), чуть старше Алеши. Эти многократно повторявшиеся просмотры никогда ребятам не надоедали, и приходилось заранее назначать временную дату, после которой все неохотно укладывались спать. Ну а мы с Леной подолгу засиживались, чтобы прослушать передачи «Голоса Америки» из Манилы или просто почитать хорошую книгу. В те годы много издавалось классики, распределявшейся по подписке, и мы за десять лет накопили такую массу книг, что пересылка их во Владивосток составила серьезную проблему.

У нас не появилось в ту пору новых друзей, подобных семьям Соколова и Родионова, но было несколько добрых знакомых, среди которых в первую очередь нужно назвать Трибунских и Сочкову с мужем Журавлевым. От зимы, северной скуки в поселке возникла традиция частых многосемейных сборищ по любому придуманному поводу. Все они сопровождались обильными возлияниями, от которых меня избавляла язва, периодически дававшая о себе знать.

Летом поселок пустел: мужья-геологи разлетались по всей огромной территории Дальстроя. Чтобы представить себе масштабы углеразведки тех лет, назову лишь несколько точек: залив Онемен в Анадыре, Кухтуй – возле Охотска, озеро Тастах у Ледовитого океана, Красная Речка – приток Индигирки, Тумат – возле Алдана. Остающиеся в поселке семьи стали обзаводиться огородами возле домов. Сажали в основном картошку, репу, редиску и зеленый лук. Но уже в начале августа ночами бывали заморозки, и чтобы верхушки кустов не подмерзли, на картошку надевали на ночь колпаки из газет, а также разводили с вечера дымокуры вокруг огорода. Дело было хлопотливым, но оправдывало себя, и в те годы, когда мы лето проводили в Хасыне (1953-1955 и 1957-1958) своей картошки нам хватало до весны.

Чтобы обеспечить детей молоком, а коров зимним пропитанием, все жители поселка летом привлекались в выходные дни к заготовке веточного корма. В пойменном лесу вдоль реки Хасын преобладали зеленяи и некоторые другие виды ив. Вот их-то ветки с молодых деревьев отсекали большими ножами, подобными мексиканским манчете, складывали в кучи, которые после работы строго замерялись, и работа заносилась на лицевой счет исполнителя. Ветки свозились в силосные ямы, говорили, что коровы их зимой поедали. Конечно, вся эта затея была сплошным варварством. Разрежался пойменный лес, больше повреждались берега при паводках, но дети пили зимой молоко, а родители получали по лицевым счетам дефицит, и все с этим мирилось.

Осенью начинался съезд полевых партий. Поселок гудел от загулявших бичей, да и геологи мало от них отставали. Через неделю загул кончался и начиналась работа. Начальники партий вереницей тянулись в лабораторию со своими находками и старались заинтересовать исполнителей анализов своеобразием привезенного материала, чтобы побыстрее получить результат. При этом не обходилось без комических ситуаций. Как-то молодой геолог М. с энтузиазмом рассказывал мне о своей находке: каменные развалы на одном из гребней близ побережья Момы были сплошь покрыты нашлапками темного асфальтоподобного горючего вещества. «Это же остатки излившейся нефти! Тут остается только копнуть или забуриться, и польется нефть», — с жаром убеждал он своего шефа, поджигая спичкой черную лепешку. Она бойко загоралась сильно коптящим пламенем. Я взялся сам за анализ. Увы, в этом материале было полно хлорофилла, что свидетельствовало о его недавнем растительном происхождении. В конце концов удалось установить, что этот «нефтяной асфальт» был ни чем иным, как погадками полярных куропадок. Зимой они обшипывают вершинки мелкого ивняка и березняка, торчащие из сугробов, а содержащиеся в почках смолистые вещества не усваиваются и накапливаются в испражнениях. Зимой куропадки устраивались на обдутых ветром камнях, грелись на солнышке и обильно после себя наследили. Ну а смолистый материал в летнюю жару растекся по поверхности камней. Да, бывали и такие конфузы.

Меня особенно порадовали образцы окисленных углей, привезенных геологом Семейкиным с Красной Речки, левого притока Индигирки. Они были по свойствам и составу, а главное, по наличию уксуса и водорастворимых кислот полной аналогией аркагалинских выветренных углей. Следовательно, обнаруженное мною явление оказывалось не единичным, а, напротив, типичным для зон выветривания углей, расположенных в условиях вечной мерзлоты. Подобные факты были отмечены и по другим месторождениям, но на Краснояреченском достигали максимального развития.

Помню также редкостную коллекцию янтаря, привезенную геологом Мухоморов с озера Тастах. Не так давно, видно, шумели хвойные леса на ныне безлюдных берегах Ледовитого океана и роняли свои смоляные слезы в окружающие их пески, подобные пескам Рижского взморья. А какой необычный бурый уголь мне доставили с реки Гижига: он весь разбирался на тончайшие, как бумага, листочки! Тут хватило бы работы для целого углехимического института, но над нами висел жесткий план, и аналитическая работа напоминала труд рабочего на конвейере Форда.

Мне удавалось, правда за счет переработок, урывать время для чисто исследовательских поисков. Так, между делом, было изучено действие пиридинового раствора перекиси водорода на бурые, каменные и окисленные каменные угли. Полученные данные были опубликованы

много позже в сборнике, изданном ДВ филиалом АН и, естественно, не были замечены широким кругом углехимиков, хотя я и по сей день уверен в оригинальности полученных результатов и их практическом значении.

Как-то в наш пробирный кабинет были доставлены пробы, содержавшие, по заверению геологов, металлы платиновой группы. Никаких методик и опыта их определения ни у кого не было, а с результатами торопило самое высокое начальство. Кроме всего, работа эта была строго засекречена. И вот я как методист лаборатории взялся за эту трудную задачу. Уже тогда были известны значительные успехи, достигнутые аналитиками при использовании так называемой хроматографии на бумаге. Сложнейшие смеси органических соединений удавалось разделять этим новым изящным аналитическим методом. Но делить платиновые металлы — об этом тогда никто еще не задумывался. Полтора месяца напряженнейшего труда потратил я на эксперименты и, в конце концов, добился вполне достоверных и воспроизводимых результатов. Правда, разработанный метод охватывал не все платиновые металлы, так как я не предполагал образцами иридия и осмия. Сущность разработанной методики заключалась в последовательном действии различных восстановителей и комплексообразователей с разделением смеси на полосках фильтровальной бумаги в системах различной кислотности. Я очень сожалею, что вся эта работа была так засекречена и все черновые записи пришлось передать в спецотдел. Для своего времени (1954-1955 годы) это была новаторская работа и, будь она опубликована, способствовала бы развитию аналитической хроматографии металлов. Может быть, рабочая пропись и сохранилась в архивах лаборатории.

**П**осле отъезда Глушковых на материк на должность заведующего лабораторией был прислан некто Капчинский, работавший до того в лаборатории Тенькинского горнопромышленного управления. Это был высокий худощавый еврей с вьющейся шевелюрой, очень подвижный и энергичный. У него была манера при разговоре пристально смотреть своими выпуклыми синими глазами в глаза собеседника, что не всегда было приятно и уместно. Говорил он отрывистыми короткими фразами и тщательно избегал жаргонных словечек. Хотя он был какое-то время в заключении (деталей я не пытался узнать), но в ту пору, когда прибыл в Хасын, он добился восстановления в партии и вообще был «неистовым» коммунистом, искренне верующим в идеалы большевизма. И вместе с тем он отнюдь не был карьеристом и вообще был порядочен во всех своих действиях. Будучи на фронте, он получил тяжелое ранение позвоночника и временами выходил из строя, переносил приступы сильнейших болей. С ним приехала на Хасын жена, полная женщина средних лет, и сын, школьник 7-8-го класса.

Появление Капчинского было ознаменовано в лаборатории значительными переменами. Ему удалось достать весьма совершенный спектрометр — прибор фирмы «Бауш-Ломб», и большинство проб предварительно стали пропускать через спектральный анализ, что значительно облегчало задачу

аналитиков. Для анализа наиболее многочисленных поступающих в лабораторию проб оловяноосных пород была налажена настоящая конвейерная линия, на которой химики в две смены «гнали» эти анализы.

У меня с Капчинским сразу же установились прекрасные деловые отношения, он часто обращался за различными советами, а в работу угольного кабинета совершенно не вмешивался, предоставив мне полную свободу действий. Белопольского он тоже ценил за знания и опыт. К тому времени Михаил приобрел немалое искусство в анализе мономинеральных проб, этой вершине силикатного анализа, когда из навески чистого минерала, собранного по зернышкам под микроскопом, весом в 300-500 мг нужно было количественно определять до десятка компонентов. Повторы и проверки при этом исключались.

Нужно заметить, что и Лена, работавшая вместе с Михаилом, вскоре тоже научилась неплохо делать подобные анализы, и это послужило одной из причин моего разрыва с Михаилом. Дело заключалось в том, что Таню, жену Михаила, держали на оловянных анализах, т. е. тяжелой и вредной работе. Из-за несобранности и невнимательности она часто грешила в результатах, и это мешало переходу на более квалифицированные виды работы. Быстрые успехи Лены вызывали у Татьяны Леонидовны чувство зависти, и между ними пробежала черная кошка. Те, кто знал Лену смолоду и до седых волос, отлично представляли, насколько подобные бабские свары были ей чужды, а вот Татьяна Леонидовна оказалась в этом отношении совершенно неуправляемой. Я верю, что Михаил делал попытки остановить этот снежный ком разрастающихся упреков и претензий, но его подчиненное положение в семье привело в конце концов к тому, что он полностью занял сторону своей супруги. Эта история имела безобразную концовку.

Подписка на центральные газеты на Колыме всегда была лимитирована, и в коллективах часто прибегали к лотерейному разыгрыванию. В лаборатории подпиской на периодику ведал я. При очередном дележе Михаилу не досталась «Правда», хотя он вытянул выигрышный билетик: дело было в том, что лимит на лабораторию сократили на один экземпляр, а нам об этом не сообщили. Я же на «Правду» не подписывался никогда. И вот в мое отсутствие Михаил заявил Капчинскому в присутствии многих сотрудников, что я провожу подписку нечестно и присваиваю себе дефицитные издания. Каково это было слышать Лене? Вернулся я домой поздно вечером и все это от нее узнал. На другой день я явился в лабораторию, когда Михаил был уже на месте. Я подошел к нему, отнес крепкую пощечину и, ни слова не говоря, ушел к себе. Конечно, тут же собрали профактив, вынесли мне порицание, но суть дела выяснилась, и моя неправомерность к манипуляциям с подпиской стала очевидной. Капчинский тоже порицал меня на собрании, но день спустя подошел ко мне и шепнул: «Я бы поступил точно так же!»

Но мне было грустно. Как бы там ни было, а с Михаилом меня связывала 30-летняя дружба, и ни его малодушие на следствии, ни интриги его матери перед Лизой эту дружбу разрушить полностью не смогли. В свое время нас



сблизили первые радости научного творчества, бескорыстная привязанность к науке, любовь к русской словесности. И вот такой пошлый финал...

**Н**а Колыму с большим запозданием и как-то приглушенно доходили отголоски событий, последовавших за мартом 1953-го, все ждали перемен. Миновали 19-й, затем 20-й съезды. Я решил, что настало время и написал на имя Верховного Совета заявление с просьбой о пересмотре моего дела. Перед тем, как его отослать, я через одного сотрудника познакомил с текстом заявления Михаила и узнал, что и он готовит подобное же ходатайство.

Близилась весна 1956 года. Мы получали право на очередной больший отпуск и решили провести его на юге. И мне, и Лене следовало подлечиться, ребятам – погреться на солнышке и набрать вес – оба были очень худы. На этот раз появилась возможность вместе выбраться с Колымы самолетом. Рейсы исполнялись самолетами «ИЛ-12» и «дугласами». До Москвы предстояло совершить 5-6 посадок, и каждая из них была тяжела: в Сибири стояли еще морозы, а на стоянках при заправке самолеты очень выхолаживались, а потом снова набирали температуру. Трудно было уберечь ребят от простуды, но все обошлось, и мы благополучно приземлились во Внуково.

Опять нас тепло встретила вся большая семья. Элочка стала совсем взрослой девушкой, здоровье ее поправилось, но в вуз она не пошла, а поступила в медицинскую школу с правами техникума и продолжала занятия музыкой. Инна переходила на последний курс университета, время у нее было горячее, и она все дни просиживала с подружками в своей комнате, готовясь к экзаменам.

Я достал путевки в Сочи, в новый роскошный санаторий «Пищепром», а Лену с детьми удалось поселить на частной квартире недалеко от правительственной (Хрущевской) дачи. Через 4 недели мы с Леной поменялись ролями – она заняла место в санатории, а я остался с ребятами. К этому второму сроку по договоренности с Олей к нам подъехал ее сын Володя. Я встретил его самолет в Адлере и привез в Сочи.

За первый срок мне удалось совершить много дальних экскурсий (в Гагры, Пицунду, на озеро Рица и др.). Дивился я лихости шоферов, которые на выдавших виды переполненных пассажирами машинах умудрялись проделывать смертельные номера на виражах кавказских дорог. Память об этих поездках сохранилась в виде многочисленных фотографий. Забавный инцидент произошел с Сережей в первые дни нашего пребывания в Сочи: как-то утром хозяйка дома, в пристройке которого мы проживали, не своим голосом вдруг закричала: «Олег Борисович! Скорее, скорее сюда!» Я бросился к их крыльцу – у ступенек на четвереньках сидел Сережа и прутиком поднимал довольно крупную змею, которая тут же соскальзывала на землю. «Папа, какой гомадный чивяк!» – с восторгом закричал Сергей. Это была хотя и не ядовитая, но кусачая змея медянка. Я быстро отвел Сергея в сторону,

и медянка тут же юркнула в траву. Мне трудно было уверить хозяйку, что медянки не ядовиты, — они почему-то пользуются у местных жителей дурной славой.

Примерно после половины пребывания в санатории Лены из Москвы пришла на мое имя телеграмма — вызов меня в Военную прокуратуру Союза (после подачи заявления о реабилитации я должен был постоянно уведомлять о своих перемещениях). Я тут же отправился в аэропорт Минеральных Вод на маленьком местном самолетике, оттуда сразу же вылетел в Москву. Сразу из Внуково, не заезжая домой, отправился на Рождественку, где размещалась Военная прокуратура. Весь двор был запружен народом — жалобщиками и ожидающими решений, и я с большим трудом пробился в здание, пользуясь телеграммой как пропуском. Найдя нужный кабинет, стал ожидать очередь. Рабочий день уже близился к концу, и я сидел как на иголках. Но мне повезло. Меня пригласили и дали ознакомиться с небольшой бумагой — это была реабилитация. Тут же лежала папка с копией моего дела. Вошедший вслед за мной очередник вдруг почувствовал себя плохо, у него возник приступ астмы. Пока принимавший нас сотрудник с ним возился, вдвух ему в рот какие-то пары из медного приборчика, я открыл папку и стал ее листать. Мне удалось прочесть лишь несколько страничек, а именно: экспертные заключения о деятельности теххимического отдела ТИПРО, и в частности жировой лаборатории. Первое заключение от начала 1937 года было подписано директором Янсоном и... И.В. Кизеветтером. Тон этой «экспертизы» был возмутителен. Второе заключение, вполне объективное, было подписано неизвестной мне тогда Ниной Ивановной Уваровой, научным сотрудником ДВ филиала АН, и датировано 1956 годом. За ними следовали еще какие-то характеристики, но тут чиновник обратил на меня внимание, забрал папку и дал мне расписаться в получении справки о реабилитации.

Не чуя под собой ног, я тут же отправился на улицу Кирова, где располагалась нотариальная контора, которой было доверено снятие копий со справок о реабилитации. Получив 10 копий, я зашел на Главпочтамт, позвонил на Таганку маме и дал телеграмму Лене. Домой явился с бутылкой армянского коньяка и громадным шоколадным тортом. Павел, которого она известила Оля, пришел пораньше, и мы с ним весьма солидно «набрались». Я чувствовал, что вся семья искренне радуется происшедшему событию. Оля обзванивала в тот вечер знакомых и принимала поздравления.

Утром мне пришлось ехать во Внуково, так как билетов на юг в кассах города не было. Пробежав между несколькими окошечками касс, я, наконец, взял билет на тбилисский самолет, делавший посадку в Сухуми. Поздно ночью я был уже дома и поутру отпустил Лену отбывать срок в санатории.

В жизни наступил новый этап, если не в будничных делах, то психологически этот рубеж я ощущал очень глубоко. Исчез (или почти исчез!) тот комплекс неполноценности и неравноправности, который довел над каждым поступком, каждым публично высказанным словом.

Мы решили пораньше вернуться в Москву, так как собирались провести еще некоторое время в Ленинграде. Там ныне находился Тимофей Родионов с семьей. Он вернулся на свой пост начальника научно-исследовательского сектора горного института и в письмах звал нас к себе погостить. Кроме того, в Ленинграде же жил Витя Фролов с женой, которую я еще не знал, у них не было детей, и они взяли из детдома девочку Наташу, года на два младше наших ребят. Оставив мальчишек в Москве, мы с Леной отправились в Ленинград. Теперь я мог уже не опасаться милицейских санкций, но в гостиницу нас не отпустили Родионовы. Их дочь Нина была почти одногодкой с Алешей, и у Любы с Леной нашлась благодатная тема для бесед. Ну а мы с Тимофеем за рюмкой вспоминали былые злоключения.

Любопытно, что о Шаламове мы в ту встречу почти не вспоминали, а вот Сереже Лунину косточки перемывали. Я не могу вспомнить, в тот ли приезд или в последующие (1957, 1959 годы) Тимофей мне рассказывал о его романе с Эдит Абрамовной, который закончился так трагически.

Очень теплая встреча произошла у меня с Витей. Его славная супруга Елена Николаевна, научный работник (паразитолог), была типичной ленинградкой – неговорливой, скромной, очень тактичной женщиной Витинового возраста. С той встречи и по сей день я всегда испытывал к ней чувство глубокой симпатии и уважения. Вечера, проведенные у Вити, были заполнены не столько воспоминаниями о юношеских годах, сколько рассказами о Кольме и фронтовых испытаниях, в полной мере выпавших на его долю. В этих беседах принимал участие и Витин отец Николай Иванович, с которым у меня позже состоялся отдельный разговор. Николай Иванович был завзятым охотником, в бытность во Владивостоке он председательствовал в местном охотничьем обществе. Я попросил его помочь мне выбрать в комиссионном магазине хорошее ружье. Он с радостью согласился, и поутру мы отправились с ним на проспект Огородникова, где располагался известный в Ленинграде охотничий магазин. Мы провели в нем полдня, примериваясь к выставленным на продажу зарубежным трофейным ружьям, прежде чем я остановил свой выбор на бельгийской двустовлке 12-го калибра фирмы «Де Фурни» с английской ложей и золотой монограммой на цевье. Ружье, как следовало из надписи на оборотной стороне замка, было продано фирмой Сосновского в Варшаве – значит, монограмма принадлежала какому-то польскому пану. Это ружье верой и правдой прослужило мне почти сорок лет и в рабочем состоянии хранится у меня поныне. Конечно, сыпь сильно побила стволы – при таежных путешествиях и охотах не всегда находилось время для ухода за ними.

Возвратившись в Москву, мы сразу же собрались в обратный путь на восток. На этот раз у меня не было оснований избегать посещения города. В те несколько дней, что мы прожили у Лаговских, у меня состоялся знаменательный разговор с Алексеем Михайловичем. Он уже знал, с моих слов, о клеветнических показаниях Кизеветтера (Янсон лишь поставил под ними свою подпись, а всю суть передергивания научных фактов и событий, несомненно, готовил Игорь, это было совершенно очевидно по стилю экспертизы).

Нужно заметить, что между семьями Лаговских и Кизеветтеров издавна (еще со времен техникума) существовали добрые отношения. По выходным в летнее время они сообща устраивали грибные походы на машине Игоря, часто встречались на Седанке, где жила Мусина сестра. И вот Алексей Михайлович обратился ко мне с вопросом: что я намерен предпринять в отношении Игоря? Готового ответа у меня тогда еще не было, слишком зыбко было наступившее потепление политического климата, и допустимы были всяческие рецидивы (что и произошло впоследствии!). Затевать громкое обличительное дело против ставшего в ту пору директором и вошедшего в городскую партийную элиту Кизеветтера было пустой мечтой. Мне просто не дали бы устроиться в городе, где я имел шанс вернуть себе квартиру.

Кроме того, я сказал Алексею Михайловичу, что это не только мое личное дело, но в равной мере и Белопольского, а также Г.Г. Кириллова, который неожиданно объявился во Владивостоке (его лагерную судьбу в деталях я не помню: был он быстро сактирован, оставлен в Приморье, а ныне автоматически освобожден по нашему с Михаилом ходатайству) и работал на чиновничьей должности в Дальрыбе. Алексей Михайлович тогда сказал следующее: за двадцать лет Игорь стал совершенно другим человеком, его, несомненно, гложет совесть за совершенное предательство (как это было по-интеллигентски наивно!). Конфликт с Кизеветтером нам с Леной закроет путь в рыбохозяйственную науку, а Алексей Михайлович только и мечтает последние годы провести с нами и внуками во Владивостоке. Во имя давнего приятельства Миши с Игорем и его семьей, ради того, чтобы не дать повода для новых козней ГПУ, ждать которых Алексей Михайлович просто устал за долгие годы, он умоляет меня ничего не затевать по собственной инициативе. Много было еще сказано в тот вечер этим дряхлым, измученным страхом перед политическим терпором человеком. И я дал ему слово ничего не предпринимать.

Жалею ли я сейчас об этом? Игорь много болел и рано умер. При его жизни ничего серьезного из моих разоблачений все равно не получилось бы. Ну а после смерти все это больно отозвалось бы только на Зое (его жене) и Любе (дочери), с которой я до сих пор работаю бок о бок и ничего худого ей не желаю. Словом, Бог ему судья...

Это был мой последний разговор с Алексеем Михайловичем, он умер до нашего следующего приезда во Владивосток.

Не помню, как мы добирались в тот раз до Магадана. Вероятно, летели самолетом, так как рейсы через Николаевск и Охотск стали уже регулярными. Перед вылетом я побывал в Горжилуправлении и оставил заявление относительно возврата мне квартиры. В ту пору вышло правительственное распоряжение о внеочередном предоставлении жилплощади реабилитированным. Много времени у меня заняло неоднократное обращение в городской архив: нужно было восстанавливать трудовую книжку, диплом и другие документы. Среди выданных мне справок была и копия письма директора ТИПРО Янсона в ВАК, в котором говорилось: «В связи со вновь обнаружившимися обстоятельствами дирекция ТИПРО отзывает свое ходатайство о присуждении ученой степени кандидата химических наук без защиты диссертации (по сумме опубликованных работ) таким-то (Белопольский, Курнаев, Максимов) и просит отменить принятое по этому ходатайству решение». Эту копию я впоследствии представлял в ВАК, но безрезультатно. Переписка по поводу восстановления ученой степени длилась без малого 9 лет. Когда в 1969 году я лично явился в ВАК, одна сотрудница (древняя старушенция) рассказала мне тайком, что осенью 1941 году, когда немцы стояли под Москвой, им было приказано в одну ночь сжечь все архивы и сохранить только списки утвержденных кандидатов и докторов. С этим они уехали в Куйбышев. После войны работа их возобновилась фактически на голом месте. После письма Янсона меня в увезенных списках, естественно, уже не было. Такая же неудача постигла меня с копией диплома. После закрытия Дальневосточного университета (1939 год) половина его архивов (по химфаку) была направлена вместе со студентами-выпускниками в Воронежский университет, а вторая половина – в Томский госархив на вечное хранение. Сколько я ни писал по этим двум адресам, никакого ответа так и не получил. Возможно, что все документы репрессированных были изъяты органами.

Хасын встретил нас некоторыми переменами: управление ДСугля было ликвидировано, а в Хасыне создали Приморскую геолого-разведочную экспедицию с отделениями в Анадыре, Пенжине, Охотске и... Тумате! Для лаборатории было почти безразлично, кому подчиняться в хозяйственном отношении, так как мы непосредственно зависели только от начальника ГРУ ДС.

В ту пору большое внимание стали уделять поискам источников германия, и он требовался для космических программ. Тогда основными источниками его получения служили ископаемые угли. Среди коллекции лаборатории был обнаружен образец угля с далекой речки Догдо (притока реки Туостах – это между Леной и Яной), в котором содержалось до 1,5% германия. Были и другие подобные образцы. Работой по определению содержания германия лаборатория занималась к тому времени уже лет пять. И вот Г.Г. Попов, заменивший Карпова в угольном отделе ГРУ ДС, позвонил и сообщил мне, что нам (т. е. ему и мне) придется слетать в Ленинград на специальную конференцию

при Всесоюзном геологическом институте, посвященную унификации поисковых и аналитических работ по германию. Помнится, это было весной 1957 года, сама конференция не оставила у меня особых впечатлений, тема эта была мне мало интересна. Но приятно было вновь повидать Витю, Тимофея, а Николаю Ивановичу Фролову похвалиться отличным боем ружья, приобретенного при его консультации. Я, конечно, побывал и у Карпова – как на работе (в лаборатории геологии угля Академии наук), так и дома. По его совету я посетил также Институт геологии Арктики, где сотрудничали геологи (Глушинский и др.), которые ранее обнаружили своеобразные минералы – продукты выветривания углей – в некоторых образцах углей из северной Якутии. Там у меня состоялся очень поучительный разговор, позволивший мне смелее отстаивать свои научные взгляды на окислительные процессы в вечной мерзлоте.

Повидал я тогда и своих бывших соучениц по техникуму: Зину Подоба и Шуру Манакину. Шура очень страдала от ухудшившегося зрения, но продолжала работать и даже участвовать в экспедициях Арктического института (Зина работала в Институте озерного рыбного хозяйства и намеревалась защищать диссертацию). После гибели мужа на фронте жила она одиноко. Обе много рассказывали о счастливой жизни Лиды Вакулюк с новым мужем (Гродзинским) в Риге. У нее были две дочери. Изредка я с той поры стал с ней переписываться.

По возвращении в Хасын я занялся своеобразным строительством: соорудил из подручного материала в нашем дворе подобие парохода с каютой, кубриком и рулевым колесом. С утра до ночи это сооружение влекло к себе соседних ребят, ну а наши парни были всегда за капитанов. Наша милая собака Зерка к тому времени погибла (отравилась чем-то на помойке, хотя кормили мы ее изобильно), но у нас оставался ее сын, громадный пес Каро, страшно драчливый гуляка, которого приходилось держать на цепи. Зимой я часто запрягал его в санки, на которые усаживалась Лена с ребятами, и Каро рысью катал их по гладкому льду реки Хасын. Но стоило ему заметить где-то пса, как он через сугробы и колдобины несся за ним, а санки валились набок, и пассажиры утонули в сугробах.

**В** 1957 году произошло знаменательное событие: была создана Магаданская область и Дальстрою пришел конец. В ту пору было модно по случаю подобных событий входить в правительство с ценными подарками. Что могла поднести золотая Колыма? Разумеется, золото. И вот вновь созданному Северо-Восточному геологическому управлению (бывшему ГРУ ДС) было поручено собрать коллекцию оригинальных самородков и надлежащим образом их оформить. Как-то, будучи на приеме у главного геолога СВГУ (Аникеева?), я на свою беду посоветовал заделать эти драгоценные экспонаты в плексиглас, придав им форму кубов, шаров, эллипсоидов и т. д. Увы, эта работа тут же была поручена мне. На Колыме нельзя

было достать метилметакрилат — мономер, полимеризацией которого получают плекс. Пришлось плексигласовую стружку перемешивать (для теплопроводности) с железной и подвергать эту смесь термической обработке (сухой перегонке) для получения мономера. Очистив и заготовив нужное его количество, я намеревался далее разложить самородки на противне из толстого листа плексигласа с бортиками и залить мономером. При нагревании произошла бы полимеризация и получился бы массивный блок с включенными в него самородками. Ну а распилить его и отшлифовать отдельные части должны были мастера-шлифовальщики геологического управления. Все дело упиралось в получение инициатора полимеризации, которым обычно служит перекись бензола. Достать ее на Кольме было невозможно, и я решил пуститься в опасную авантюру и приготовить заменитель этого инициатора обработкой уксусного ангидрида перекисью натрия, которая была в изобилии и использовалась при сплавлении оловянных проб.

Со всеми предосторожностями я провел реакцию, отогнал полученную перекись ацетила (около 20 квадратных сантиметров). Но в холодильнике осталось немного кристаллов (перекись ацетила плавится при 30 градусах). Мне стало жалко их смывать, и я над закрытого типа плиткой на высоте лица стал осторожно вращать холодильник для равномерного прогрева. Тут-то и произошел взрыв. Пучок пипеток, стоявший рядом на столе, срезало, как ножом, от холодильника остались только кончики в руках. Все лицо и руки были в сотне кровоточащих ранок от осколков стекла. Главное же — были повреждены глаза. Кровь быстро проникла в стекловидное тело, и я ослеп.

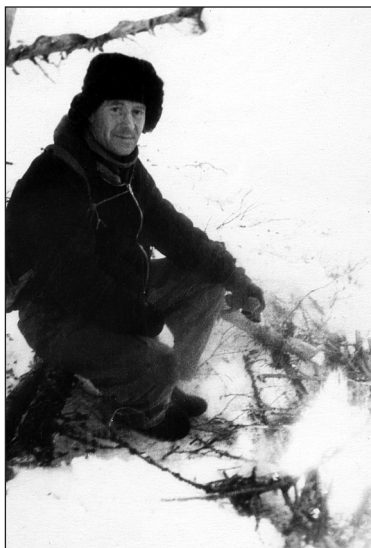
Меня тут же усадили на машину и увезли в магаданскую больницу. Три недели я провел с завязанными глазами, и только на перевязках глаза мне приоткрывали. На мое счастье в магаданской больнице тогда работала молодая женщина врач из знаменитой глазной клиники профессора Филатова (Одесса). Ее умелые руки спасли мне зрение, хотя зрачок левого глаза так и остался поврежденным. В общей сложности я провел в больнице свыше полутора месяца и, выйдя оттуда, вынужден был надеть очки. Левый, особенно пострадавший, глаз был переполнен черными плавающими частицами нерассосавшейся крови (гемофтальмы), и долго еще на охотах, сидя на зорьках, я принимал эти точки за пролетающую дичь.

Ну а дело с золотой коллекцией все-таки пришлось заканчивать мне. Получил удачный блок, в котором находилось до двух десятков самородков. После соответствующей обработки коллекция из прозрачных граненых образцов на фиолетовом бархате коробок выглядела весьма эффектно. За все это я получил крохотную денежную премию, которая лишний раз подтвердила старинную истину: «не высовывайся»...

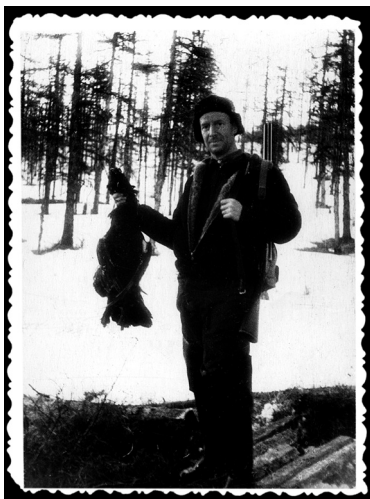
**Б**елопольские вскоре собрались и уехали в Ленинград, где у Татьяны Леонидовны была забронирована комната. Перед отъездом у меня с Михаилом состоялся разговор относительно Кизеветтера. Он категорически



На фоне стланика.  
Хасын, середина 50-х годов.



У костра,  
Хасын, конец 50-х годов.



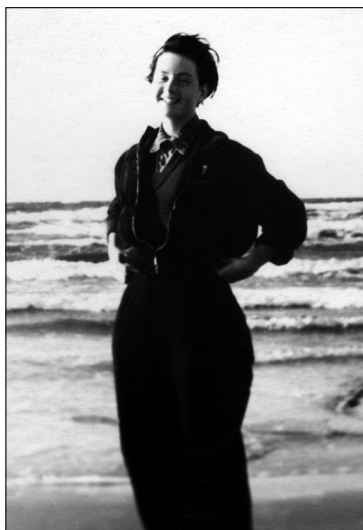
Глухариня охота.  
Хасын, середина 50-х годов.



Охота на куропаток.  
Хасын, середина 50-х годов.



Эра. Рижское взморье, 1956 год.



Олег Борисович и Елена  
Алексеевна по возвращении  
во Владивосток.  
Начало 60-х годов.



отказался от участия в каком-либо политическом разоблачении, но мы все же написали на имя директора ТИНРО письмо с жалобой на присвоение нашей подготовленной в свое время рукописи монографии Кизеветтером. К тому времени он ее уже издал под своим именем. Увы, в то самое время, как мы писали это послание, Моисеев, бывший до того времени директором ТИНРО (в свое время он был в числе студентов Дальрыбвтуза, которым я дочитывал органическую химию), уезжал в Москву, а его пост занял... Кизеветтер. Естественно, что никакого ответа на свое послание мы не получили.

**М**не мало чем запомнился 1958 год. Жили мы с Леной душа в душу, радовались подраставшим ребятам. В этом году они вместе пошли в школу, и тут с первых же дней проявилось отличие в их характерах. Алеша терпеливо, но не всегда удачно выписывал буквы, постепенно рука его крепчала. Сережа же то каллиграфически правильно выводил строчку, то насаживал одну кляксу за другой, и в тетради появлялась резолюция педагога: «Грязно!» Летом мы всей семьей отправлялись на заготовку грибов и ягод. Брусничкой заполнялся целый бочонок, который хранился в прихожей на морозе. Немного улучшилось снабжение, но с овощами и молоком было по-прежнему туго. Очень выручал собственный огород, так как мы приспособились к местной агротехнике и получали неплохие урожаи.

В лаборатории я продолжал исследование окисления углей разной зрелости пиридиновым раствором перекиси водорода. Оказалось, что по выходу и составу нерастворимого остатка можно очень четко различать бурые, каменные и окисленные каменные угли, что представлялось очень важным при анализе полевых образцов, отобранных на выходах угольных пластов. Много позже я, торопясь перед защитой, опубликовал эту работу в очень неудачном издании (трудах Менделеевского общества во Владивостоке), и она осталась не замеченной углехимиками.

В то лето я приобрел по случаю мотоцикл «ИЖ-49» и вскоре научился на нем ездить. Но чаще, особенно в дальние поездки, мы выезжали вдвоем с Мишей Вифлянцевым, бывшим зк, слесарем местных мастерских. Нас сблизило пристрастие к рыбалке и охоте, и много зорек мы скоротали вместе. Оставшись с ранних лет сиротой, Миша вырос в детском доме.

Был он в общем-то покладистым парнем, лет на 15 младше меня, но ко всякого рода несправедливостям и нечестностям был нетерпим: мог поуродовать виновника, будь тот хотя бы его прямым начальством. Нечто подобное и привело его на Колыму.

Особое пристрастие мы питали к весенней охоте на глухарей на токах. Глухариня охота описана многократно. По азартности и прелести всей процедуры этой охоты она не имеет равных. Выходили, а позже выезжали на мотоцикле мы с вечера. В эту пору на Хасыне лежало еще порядочно снега, особенно в лесу, дороги были раскисшие, и представляло много трудностей добраться до заветных, известных только нам таяж-

ных токовищ. Расположившись на ночевку на подходе к этим местам, мы ожидали сумерек. С вечера глухари-самцы как бы пробуют голос, т. е. очень короткое время начинают токование. Убедившись, что поблизости собрались токовики, мы на короткое время задремывали у костра, но уже в 2 часа ночи поднимались и с величайшей осторожностью расходились по намеченным с вечера местам.

**К**олымский каменный глухарь во время токования «глохнет» на очень короткие секунды в определенный фазе своей песни, которая напоминает стук спичек во встряхиваемой коробке. В эти секунды и приходилось делать 3-4 прыжка в направлении токовища и тут же замирать, порой с поднятой ногой или по колени провалившись в островке хрупкого иглистого снега, до следующего повторения песни. И вот, наконец, на фоне чуть светлеющего неба вырисовывался на ветке лиственницы великан-глухарь с напруженным веером хвостом и закинутым вверх клювом. Сколько нужно терпения, чтобы дождаться света и направить с трудом просматривающуюся мушку ружья на поющего красавца. Гремел выстрел – и, ломая ветки, тяжелая птица валилась на землю. Жестокий, но пронзительный миг!

Иногда удавалось подкрасться и ко второму певцу, и тогда груз на обратном пути оказывался весьма ощутимым. Мы с Мишей Вифлянцевым тщательнейшим образом скрывали «свой» ток, делали громадный крюк при заходе и выходе, но зато ежегодно получали счастливую возможность вновь и вновь посоревноваться с этими крылатыми лесными отшельниками в борьбе за жизнь.

Интересной, но кратковременной была осенняя охота на табунившихся кроншнепов. Самой добычливой она обычно бывала возле озер в районе 56-го км магаданской трассы, налево от теперешнего аэродрома. Несмотря на относительную близость к трассе, путь к озерам был мучителен из-за топей и кочкарника. Важно было угадать дату, когда этот слет птиц наступал. Часто приходилось по два-три дня его ожидать под круглосуточной атакой всяческой мухоты, которая, предчувствуя свою близкую гибель, с особым остервенением набрасывалась на все живое. И вот наступал долгожданный вечер. Солнце уходило за горизонт, и неведомо откуда вдруг появлялось множество светлых птиц с длинными изогнутыми носами, которые, заунывно выкликая, в различных направлениях низко проносились над поверхностью озера. Стрелять в них было нелегко именно из-за их множества, но все же десяток-полтора за вечер удавалось добыть.

Вечернее небо вскоре гасло, наступал мрак, и стрельба, да и пролет птиц прекращались. В темноте с фонариком приходилось собирать добычу, забираясь по самые верхушки болотных сапог в топкое озеро. Оставленная на воде убитая птица становилась добычей сов и выдр, и к утру от них оставались одни перья. Так длилось два, от силы три дня, после чего перелет прекратился, и кроншнеп исчезал так же таинственно, как появлялся. С двумя-

тремя десятками этих налитых жиром длинноносых красавцев совершался обратный, еще более мучительный путь через топи.

Чтобы закончить рассказ о наших с Вифлянцевым походах, упомяну об одном любопытном случае. Уже близко к осени мы как-то заночевали возле одного из рукавов реки Хасын. Костер пригас, мы забирались в палатку, установленную у самой воды, и уже собирались уснуть, как вдруг тихое журчание воды стало нарушаться бурными всплесками. Я подумал, что на воду сели гуси (шел как раз их пролет), так как берег был низкий и подходящий для их ночевки. С ружьем в руках тихонько выбрался из палатки. Было совершенно темно, но вода у берега бурлила. Я наугад выстрелил на шум и тут же зажег электрофонарик: вся протока была забита плещущейся рыбой, моей жертвой стали два огромных кижуча. Надолго после этого в нашей семье запомнилась уха со свинцовой дробью!

Этой же осенью я впервые взял с собой на рыбалку ребят. По старенькой заброшенной узкоколейке мы дошли до ключа Волчьего, где он впадал в реку Хасын. Я вырезал из лозы три удилища и прицепил леску с крючком на конце. Набрал на мелководье ручейников для наживки. Подойдя к омуту, я на виду у ребят забросил эту нехитрую снасть, и тут же последовала поклевка, а на берегу оказался изрядный красавец-хариус. Алеша остался к происшедшему равнодушным, более того, ему явно было жаль трепещущую скользкую рыбку. Совсем не так среагировал Сергей: он подошел к воде и под прозрачной ее массой вдруг обнаружил у самого дна целую стаю рыбок, стоящих против быстрого течения. Неумело, но довольно удачно он направил свою наживку в струю и тут же так сильно и торопливо рванул, что она повисла на соседнем кусте. На крючке сидел большой хариус — и судьба Сергея была решена: на всю жизнь он стал неистовым рыболовом!

Так же неожиданно определилась его приверженность к будущей профессии. Как-то всей семьей мы поднялись на недалекую от поселка сопочку, всю покрытую зарослями стланика, которую мы так и звали «стланиковая». Устроившись на сухом брусничнике, я стал рассказывать ребятам о золоте: как можно было оставить пробел в их знаниях, проживая на Колыме! Я пояснил им, как по трещинам в виде растворов из глубин земли поднимается золото к поверхности, как оно отлагается в кварцевых жилах, как потом эти жилы размываются, и тяжелое золото оседает на дне ключей и речек, образуя россыпи. Мне пришло в голову подшутить над сыновьями, и я сказал, что они могут обнаружить крупички золота, не сходя с горы, достаточно, мол, раскопать немного сланцевую щетку, торчащую близ самой вершины сопки. Я знал, что это триасовые сланцы, которые везде по Колыме сильно пиритизированы. Ну а пирит — двусернистое железо — образует золотистые пленки и кристаллы, которые при известной доле фантазии легко принять за золото. Сергей сразу же принялся за дело и, вооружившись сучком, стал расковыривать бороздку в разрушенной выветриванием поверхности сланца. Не прошло и нескольких минут, как он натолкнулся на друзу пирита и с энтузиазмом завопил: «Золото!» Такого успеха я и сам не ожидал. Отговорившись позд-

ним временем, я увел сыновей домой, опасаясь, что они всерьез заболеют золотой лихорадкой. Хотя позже я признался им в своем обмане и, бросив добытое «золото» на раскаленную плиту, доказал, что это далеко не благородный металл, но Сережа навечно остался верным своему пристрастию к камням и минералам. Так и стал он геологом.

**В** конце лета в лабораторию неожиданно позвонил из Магадана Всеволод Тихонович Быков, в прошлом студент-дипломник и наш с Михаилом коллега по «шефнеровке», а ныне доктор, профессор, воссоздатель Дальневосточного университета и филиала Академии наук и председатель его президиума. Как-то уже после реабилитации, в 1956 году, я случайно встретил его в Москве на Тверской, около телеграфа. Предавшись воспоминаниям, мы прошли до самого Белорусского вокзала. Я рассказал ему о своих колымских злоключениях и успехах и поделился своими планами возвращения во Владивосток. И вот теперь, оказавшись по делам, связанным с организацией филиала, в Магадане, он сообщил, что хотел бы встретиться со мной. Мы договорились, что он подъедет к нам в субботу и пробудет до понедельника (в это время ежедневно из Магадана до Палатки ходил автобус).

Это был первый гость из прошлого, и его надлежало должным образом встретить. На следующий же день я отправился на ключ Волчий, где, как я знал, удерживаются в приречных крепях линяющие глухари. Я избегал в эту пору охотиться на этих беспомощных птиц, но тут были особые обстоятельства, и уже к обеденному времени я добыл крупного петуха. Быков провел у нас воскресный день, внимательнейшим образом ознакомился с постановкой массовых аналитических работ на олово, вольфрам и силикаты. Особое впечатление на него произвели и наш спектральный кабинет, а также пробирная лаборатория-фабрика. Всеволод Тихонович заверил меня, что, как только будут устроены мои жилищные дела, я смогу приехать во Владивосток и буду зачислен, равно как и Лена, в филиал АН.

**М**иновала долгая трудовая зима (ребята уже ходили в школу), и у нас с Леной вновь накопился громадный отпуск. Мы решили провести его в теплых краях. Подлечиваться нам, вроде бы, было не от чего (хотя Лену иногда донимала гипертония, а меня язвочка), и мы выбрали местом отдыха Одессу. До Москвы летели самолетом «ИЛ-14». Ребята очень страдали от боли в ушах при множестве посадок и взлетов. В ту поездку мы в последний раз застали наших москвичей на Таганке. Позже они переехали на Балтийскую улицу, когда Оля разошлась с Павлом из-за все учащающегося у него похмелья, а главное, от постепенного приобщения к выпивкам еще совсем маленького Володи. Увы, то ли ген алкоголизма был передан ему Павлом по наследству, то ли сыграли свою

печальную роль эти ранние кружки пива, но жизнь бедного Володи была исковеркана хроническим алкоголизмом.

Что-то странное произошло и в отношениях Оли к Элочке. И тут сказалось постоянное приобщение Павла к спиртному. Много позже Элочка мне намекнула, что Павел стал проявлять к ней некий интерес, почему она и решила поселиться отдельно. Она закончила медицинскую школу и устроилась работать, но очень часто продолжала бывать на Таганке. Вообще в этот приезд все было как-то тревожно в нашей большой семье. Мама остро переживала намечавшийся конфликт между Олей и Павлом. Она больше догадывалась о действительном положении дел, чем знала по-настоящему, так как к тому времени почти потеряла слух (как теперь я понимаю ее тяжкие переживания, когда этот недуг отгораживает тебя от общения с самыми дорогими тебе людьми!)

Мы поторопились выбраться из Москвы и вскоре вылетели в Одессу. Здесь повторилась сочинская история: сначала Лена пробыла 24 дня в санатории «Молдова», а мы с ребятами жили на частной квартире, а потом в мы с Леной поменялись ролями. Единственным развлечением в Аркадии, где мы поселились, было купание, и мы целые дни проводили на пляже. Изредка приходилось ездить трамваем за продуктами на Привоз, знаменитый одесский базар, с его остроумцами-продавцами, гулом экспансивной южной речи. В пасмурные дни отправлялись путешествовать по примечательным местам Одессы и даже куда-то ездили пароходиком из ковша одесского порта, с его живописным маяком и молом.

Проезжая на обратном пути Москву, я впервые побывал в Институте горючих ископаемых, где познакомился с Т.А. Кухаренко, Р.Н. Смирновым и Н.М. Караваевым. Приятно было отметить интерес, который вызывал мой рассказ об исследованиях колымских углей. Обратная дорога в Магадан ничего не оставила в памяти.

**П**оследние колымские осень и зима вспоминаются, как время особенных охотничьих увлечений. Я очень рано являлся в лабораторию и уже к трем часам дня возвращался домой. Прихватив ружье и лыжи, уходил на ближние сопки и уже во мраке короткого зимнего дня возвращался с двумя-тремя куропатками. Ребята очень любили эту жареную дичь с мороженой брусникой. На их день рождения (27 и 30 декабря) были приглашены все их одноклассники, и я приготовил жаркое из 17 куропаток.

На ключе Сухом водилось много зайцев и среди них один хитрец, который уходил от меня из-под самого носа. Сколько плутней удавалось раскрыть, внимательно выслеживая и разгадывая его следы! Морозы на охоте переносятся относительно легко, и я особо тепло никогда не одевался. Но вот как-то я нечаянно сломал лыжу и вынужден был километров 10 идти пешком по глубокому снегу. Вскоре я весь взмок от лазанья по сугробам, под которыми прятался улегшийся на зиму стланик. Когда я выбрался на

проторенную дорогу, навстречу потянул слабый ветерок. Как потом выяснилось, было всего -40 градусов, но вскоре я стал застывать, особенно лицо и руки. Пришлось устраивать привал и разводить костер негнувшимися пальцами. К счастью, он быстро взялся, руки с болью отошли, и я развел огромное кострище, снял меховую куртку и просушил спину. Только после этого без труда добрался до дома. Не случись под рукой сушняка и бересты, я, в лучшем случае, отморозил бы себе кисти рук. Но такова охота – в ней всегда чем-то рискуешь, и в этом ее прелесть.

**И** вот подошла весна 1960 года. Я получил из горжилуправления Владивостока извещение, что ближе к осени будет завершено строительство дома, в котором мне предоставят двухкомнатную квартиру. Нужно было собираться в путь. Пожитков набралось очень много, главным образом книг, кроме того, мы решили увезти с собой пианино, приобретенное года полтора до этого у отъезжавших «на материк» колымчан.

Лена стремилась вернуться в родной Владивосток, где оставалась семья Миши (Алексей Михайлович к тому времени уже скончался), ребята тоже с любопытством ждали переселения, а вот мне как-то грустилось. Колыма под конец подарила мне 10 лет счастливой жизни, а вот будущее было совершенно туманным. Без университетского диплома и кандидатской степени пробивать себе новую дорогу в науке представлялось мне очень трудным, если не безнадежным, в мои 50 лет.

В начале июня 1960 года сборы были закончены, пожитки упакованы и куплены билеты на пароход. И тут Колыма себя показала: начался сильнейший снегопад, длившийся почти неделю. Трасса была занесена, и нужно было ожидать ее расчистки. Приближался срок отплытия парохода, а мы все сидели в Хасыне. Наконец, на новом студебеккере мы выехали по узкой прогалине среди 2-3-метровых снежных сугробов. Стало очень тепло, и в этом снежном коридоре скапливалась полужидкая снежная масса. Только за 6 часов мы одолели 80 км, отделявшие нас от Магадана, и сразу же направились в Нагаевский порт для посадки на пароход. Ночью тихонько отплыли от земли, принесшей мне столько горя и радостей.

Во Владивостоке несколько дней прожили у Миши, затем сняли комнатку на Седанке в ожидании заселения академгородка, где нам предстояло из городского фонда получить квартиру. Переезд состоялся только к октябрьским праздникам, и тем завершилась моя колымская одиссея.

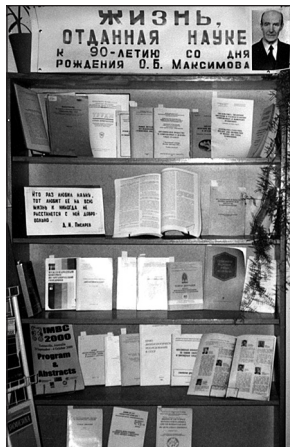
На этом я хочу прервать свое повествование и привести в порядок, а местами пополнить краткий очерк событий моей 50-летней жизни. В последующие годы мои сыновья лучше меня запоминали все события нашей семейной жизни. Что же касается моих научных успехов, то их я изложил в кратком «Curriculum vitae»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Рукопись предполагается опубликовать (прим. составителей).



Олег Борисович вновь сотрудник  
Дальневосточного филиала (теперь уже  
Сибирского отделения) Академии наук.  
Владивосток, начало 60-х годов.





Выставка в библиотеке Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН, посвященная 90-летию Олега Борисовича. Сентябрь, 2001 год.  
 На стендах – публикации, патенты, образцы разработанных им лекарственных препаратов.

## Послесловие

*Семь лет после того, как была закончена рукопись, Олег Борисович собирався продолжить записки, но все откладывал. После его ухода (он не дожид до своего 90-летия несколько месяцев) это сделали коллеги и друзья. Предоставим им слово.*

### Олег Борисович Максимов

В 1960 году О.Б. Максимов возвратился во Владивосток и возобновил работу в Дальневосточном филиале СО АН СССР. Здесь он продолжил начатые на Колыме исследования в области химии гуминовых кислот – основных компонентов органического вещества Земли (почвы, торфы, бурые угли, донные осадки океана). Эти работы привели к открытию нового природного явления: накопления продуктов окислительной деструкции углей – органических поликарбонновых кислот – в условиях вечной мерзлоты в зонах выветривания.

С момента организации в 1964 году Института биологически активных веществ ДВФ СО АН СССР (с 1972 года Тихоокеанский институт биоорганической химии) О.Б. Максимов стал одним из его ведущих научных сотрудников. Он сыграл важную роль в становлении Института, формировании его тематики, подготовке научных кадров.

В 1966 году Олег Борисович успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук, а в 1970 году ему было присвоено звание старшего научного сотрудника по специальности «органическая химия». Многолетняя волокита с восстановлением первой ранее присвоенной ученой степени привела его к решению не иметь более дела с ВАК и не писать докторскую диссертацию.

О.Б. Максимов вместе с коллективом ученых разработал новые методы исследования гуминовых кислот, этих весьма сложно устроенных и содержащих фенольные и хиноидные группы полимерных веществ, выполнил с помощью этих методов большой объем экспериментальных работ, многие из которых стали в этой области основополагающими. Эти фундаментальные исследования позволили обосновать новые взгляды на происхождение и химическое строение ископаемых углей, которые нашли отражение в отечественных учебниках для высшей школы. Изданный в 1972 году по итогам

этих работ сборник трудов «Новые методы исследования гуминовых кислот» до сих пор пользуется вниманием отечественных и зарубежных специалистов. На этих же результатах базируются важные прикладные разработки, которые проводятся в ТИБОХе и в настоящее время, в частности разработка новых технологий использования гуматов в растениеводстве.

Обладая разносторонними талантами химика-экспериментатора и широкой эрудицией, О.Б. Максимов не ограничивал свои научные интересы какой-то одной группой соединений, даже такой интересной и трудной для изучения, как гуминовые кислоты. Его привлекали и другие природные соединения, содержащие фенольные или хиноидные фрагменты. Весьма плодотворным направлением в научной деятельности О.Б. Максимова стало изучение хиноидных пигментов из морских организмов, в особенности из морских ежей, а затем хиноидных и фенольных веществ из высших и низших растений Дальнего Востока. Именно в ходе этих работ особенно ярко проявились умение О.Б. Максимова сочетать высокий уровень фундаментальных исследований с получением в конечном итоге важнейших прикладных результатов, его особое чутье к перспективе практического применения тех или иных веществ и методов.

Под руководством О.Б. Максимова были выделены и детально изучены разнообразные хиноидные пигменты морских ежей Тихого океана. Эта своеобразная группа природных соединений может рассматриваться как новый класс биоантиоксидантов. К такому выводу привело их детальное физико-химическое исследование. Один из этих пигментов — эхинохром показал высокие кардиотропные свойства, что послужило основой для создания нового противоишемического и противоишемического препарата. По инициативе О.Б. Максимова были начаты и успешно осуществлены работы по препаративному синтезу эхинохрома. Была разработана лекарственная форма эхинохрома — гистохром для кардиологии, изучены ее фармакологические свойства, в ряде ведущих медицинских учреждений страны с успехом проведены клинические испытания этого нового и эффективного лекарственного средства. В настоящее время гистохром разрешен Фармакологическим комитетом России для практического применения в кардиологии. Соответствующие разработки защищены семью патентами Российской Федерации. О.Б. Максимов явился не только соавтором этих патентов и многих связанных с гистохромом научных работ, но и научным руководителем всей сложной, долговременной и блестяще реализованной научной программы по созданию не имеющего аналогов медицинского препарата.

Высокие антиоксидантные характеристики эхинохрома позволили также использовать препараты на его основе для лечения ожогов глаз и последствий других глазных травм. Совместно с Владивостокским государственным медицинским университетом были разработаны методики лечения этих заболеваний, также защищенные патентами Российской Федерации. В настоящее время завершены клинические испытания и этого лекар-

ственного средства, названного гистохром для офтальмологии; препарат получил разрешение Фармакологического комитета России на практическое применение и уже производится.

О.Б. Максимовым и его сотрудниками был проведен также широкий поиск биологически активных веществ в уникальных растениях российского Дальнего Востока. Разработанный им экспресс-метод для обнаружения антиоксидантов позволил за относительно короткое время изучить свыше 800 видов флоры Дальнего Востока, выявить среди них перспективные объекты – продуценты антиоксидантов для использования их в медицине и пищевой промышленности.

Глубокое химическое изучение дальневосточных растений, выполненное О.Б. Максимовым и его учениками, легло в основу еще нескольких созданных медицинских препаратов. Первым из них следует назвать гепатозащитное средство максар, пригодное для лечения различных токсических поражений печени, например цирроза и гепатита, и превосходящее по гепатозащитной активности ранее известные средства. Еще одна огромная, многолетняя и важная работа и еще один блестящий результат. Способ получения максара защищен патентом Российской Федерации, выполнены обширные фармакологические исследования препарата, получено разрешение Фармакологического комитета МЗ РФ на расширенные клинические испытания, которые недавно успешно завершены.

В лаборатории под руководством О.Б. Максимова несколько лет исследовались физиологически активные соединения из растений семейства бурачниковые. Полученные данные, а также разработанные при этом аналитические методы пригодились при получении культуры клеток корней воробейника краснокорневищного в Биолого-почвенном институте ДВО РАН. Эта культура продуцирует противоспалительное вещество шиконин с очень высоким выходом. В настоящее время полученный этим биотехнологическим методом шиконин используется в больницах Владивостока для лечения рожистых воспалений и ожогов.

Исследования лишайников Северо-Востока России, начатые в 80-х годах О.Б. Максимовым и его учениками, также привели к важным практическим результатам. Из одного массового вида лишайников были выделены вещества, обладающие противоопухолевой активностью и иммуностимулирующим действием, идентифицированы присутствующие здесь хиноидные соединения. Совместно с Медобъединением ДВО РАН и Владивостокским государственным медицинским университетом проведены опыты, давшие положительные результаты по лечению опухолей. На основе полисахаридного препарата из лишайника получено средство для лечения мастопатии, защищенное российскими патентами. В Фармакологический комитет представлены документы для получения разрешения на расширенные клинические испытания.

В последние годы Олег Борисович уже не руководил лабораторией, но вел активную научную деятельность, продолжая изучение физиологически активных веществ из дальневосточных растений. Рукопись монографии «Полифенолы дальневосточных растений» (авторы О.Б. Максимов, Н.И. Кулеш, П.Г. Горовой) он заканчивал в апреле 2001 года – в самые последние дни жизни. Научная школа О.Б. Максимова, а под его руководством защищено 14 кандидатских диссертаций, живет и развивается. Главные усилия его учеников направлены на завершение работ по медицинским препаратам, созданным по его инициативе.

Олег Борисович Максимов останется в нашей памяти одним из лидеров не по формальному званию, а по уровню эрудиции, опыту, ясности и глубине мысли.

**В.А. СТОНИК,**  
*член-корреспондент РАН, заместитель  
директора ТИБОХ ДВО РАН*

**Г.И. ПРОКОПЕНКО,**  
*кандидат химических наук,  
ученый секретарь ТИБОХ ДВО РАН*

## **Из выступлений на ученом совете ТИБОХ ДВО РАН, посвященном 90-летию О.Б. Максимова**

Это необычный совет – мы с вами никогда не проводили подобных. Мы вспоминаем человека, который оставил неизгладимый след в жизни института и в жизни многих присутствующих здесь. Сегодня Олегу Борисовичу Максимову было бы 90 лет.

Право произнести вступительное слово дает мне то, что Олег Борисович был моим личным другом, который и в моей жизни оставил неизгладимый след. Вы знаете, что и он, и я, как говорят в нашей среде, – записные охотники. Мы провели с ним немало времени в таежных местах. И многое обсуждали вечерами у костра. Олег Борисович неохотно вспоминал арест и то время, которое он провел на Колыме. А вот о науке мы говорили очень много.

Многие из вас, особенно молодежь, не знают, с каким трудом давалась нам организация институтов. Тогда мы выезжали на одну из пасек, где был очень хороший хозяин, сидели там и обсуждали, как дальше развивать науку на Дальнем Востоке. Непременным участником этих бесед был Олег Борисович. Он дал очень много ценных советов, в том числе и жизненных.

Знаете, когда я слушал доклад Олега Борисовича, с которым он выступал последний раз на ученом совете, я подумал вот о чем. Независимо от того скудного финансирования, технического обеспечения нашей работы

при нас остается всегда самый главный инструмент – голова, способность оценивать ситуацию, выбирать цели для научного исследования... Человек ушел из жизни, мы скорбим и сожалеем. Но Олег Борисович создал здесь школу специалистов в области антиоксидантно-ароматических соединений. Школа осталась, она будет жить и давать результаты и для нашей фундаментальной науки, и для народа.

То, что он сделал по гистохрому и по максару, трудно переоценить сегодня, а должным образом будет оценено потом. По своему опыту я могу сказать: это то, что остается после каждого настоящего ученого.

**Г.Б. ЕЛЯКОВ,**  
*академик*

Среди тех людей, которых мне в жизни повезло встретить, есть один очень интересный человек, Игорь Евгеньевич Михальцев, когда-то он был директором Тихоокеанского отделения института океанологии, последний Герой Социалистического Труда в АН СССР. Как-то в частном разговоре он в сердцах сказал о каких-то ученых: «Вы знаете, Виктор Евгеньевич, эти люди не понимают, что порядочным быть выгодно». Я даже подпрыгнул – потому что в своих рассуждениях сам дошел до такой формулировки. Так вот, Олег Борисович – ультрапорядочный человек. И это качество ему позволило пройти неимоверно сложный путь в жизни.

Он когда-то говорил, что в той партии, в которую он попал, когда шел по этапу в лагерь на Колыме, из 100 человек он только один выжил. Я думаю, что эта сверхглубокая порядочность и колоссальный интеллект, а не какие-то случайные обстоятельства, помогли Олегу Борисовичу перенести все трудности. И предстать перед нами человеком, увлеченным наукой, конструктивным. Он своей жизнью доказал, что быть порядочным – выгодно...

**В.Е. ВАСЬКОВСКИЙ,**  
*член-корреспондент РАН*

Мне кажется, это человек-отшельник. Он родился раньше, чем надо было, поэтому ему тяжело было жить среди нас, и он находил отдохновение на природе. Он, естественно, не мог выносить никаких дразг, подшиваний, конъюнктур...

Олег Борисович не любил вспоминать времена магаданской ссылки. Но как-то рассказал мне об одном эпизоде. Доведенные до отчаяния заключенные уходили из лагерей в тундру. Естественно, надежд на попадание в цивилизацию не было никаких – в тундре долго не проживешь. Тем не менее у лагерного начальства были строгие правила – чтобы было зафиксировано, куда пропал человек. И оно постановило охранникам давать премию за охоту на этих людей. Как доказательство того, что беглеца ликвидировали, охранники прино-

силы кисти рук. Олег Борисович, который тогда попал в медсанчасть, вынужден был фиксировать отпечатки пальцев в журнале. И я подумал: какой надо обладать жизненной силой, чтобы пройди все это, великолепно относиться к людям и не озлобиться, не требовать к себе повышенного внимания...

**С.А. ЩЕКА,**  
*доктор геолого-минералогических  
наук, профессор*

К библиотекам у Олега Борисовича было особое отношение. Он умел уважать и ценить любой труд и всегда очень хорошо отзывался о людях, работающих в библиотеках.

Олег Борисович заходил в библиотеку со служебного входа, раздевался у «иностранцев» (там у него была своя полка для книг, отобранных для него, свой стул, свои добровольные помощники) и шел заниматься в читальный зал. Тяга к книгам, к знаниям у него не угасала до последних дней. Уже будучи серьезно больным, Олег Борисович продолжал отслеживать новую литературу. И очень тревожился вместе с нами о беспричинной задержке последних партий книг из Москвы. Он так ждал свои! За полтора месяца до кончины он передал мне через сына Сергея отпечатанную на машинке записку. Я хочу ее зачитать, потому что в ней – весь Олег Борисович. Он пишет: «Дорогая Татьяна Никитична! Болезнь моя как будто немного отступила, – а накануне ему делали кислородное дыхание, для чего в институте брали баллон с кислородом, – и появилась надежда, что я еще успею завершить одну из начатых работ. Для этого мне было бы необходимо собрать информацию о журнальных статьях за двухтысячный год, в которых встречаются упоминания двух соединений: генистеин и резерватрол. Подобную сводку за 1999 год по резерватролу Елена Константиновна мне уже в прошлом году делала, и она так мне помогла! Я был бы глубоко признателен за подобную (вероятно, последнюю) помощь. Искренне Ваш О. Максимов.»

Внутренним зрением я и сейчас вижу из окна своего кабинета идущего домой Олега Борисовича с палочкой, с сумкой через плечо, наполненной журналами и книгами...

**Т.Н. МИХАЙЛЮК,**  
*директор Центральной  
научной библиотеки ДВО РАН*

Олег Борисович Максимов был необыкновенно щедрым человеком, он охотно делился своими знаниями и идеями не только со своими сотрудниками, но с каждым, кто проявлял интерес к его научным замыслам.

Комнаты номер 410 на четвертом этаже корпуса Геологического института и 411 в здании ТИБОХа были своеобразным научным клубом. К Олегу

Борисовичу приходили поделиться хорошими новостями и неудачами, спросить совета, обсудить последние научные события в институте.

В то время в лаборатории довольно часто бывали гости, приезжали ученые из Москвы, Ленинграда, Новосибирска. Надо было видеть, как оживлялся Олег Борисович, каким он был интереснейшим собеседником и радушным хозяином. В лабораторию к Олегу Борисовичу приезжали на стажировку из многих городов страны, побывала даже ученая дама из Индии.

Как-то у Олега Борисовича выполняли дипломную работу сразу три студентки, и я в их числе. Удивительно, как у него хватало сил, времени, терпения управляться с нами. К слову сказать, все три диплома получили отличную оценку.

Не помню, чтобы Олег Борисович задержал статью или иную работу, которую взял на рецензию, более чем на сутки. Все привыкли: вечером отдали материал Олегу Борисовичу, утром получили с исправлениями, советами. Если Олег Борисович лежал в больнице, мы ходили к нему со своими проблемами туда, и Олег Борисович всегда был рад помочь, чем мог.

Сейчас, когда мне приходится работать с молодыми сотрудниками или студентами, и у них не все сразу ладится, я не устаю напоминать себе: «Будь терпелива, терпелива и щедра, взыскательна, но добра и внимательна, как Олег Борисович».

---

**Н.И. КУЛЕШ,**

*кандидат химических наук,*

**ТИБОХ ДВО РАН**

Помню, его первое письмо резко отличалось от всех остальных писем – ответов на наш запрос. Необыкновенная бодрость духа, полное отсутствие жалоб на жизнь, неиссякаемая жизненная энергия – все это, с учетом его возраста, вызывало огромное уважение.

**Елена САННИКОВА,**

*координатор Фонда Солженицына*



Максимов Олег Борисович

## ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор *Г.Б. Арбатская*  
Дизайн и верстка *О.Г. Полушина*  
Корректор *Л.А. Молчанова*

Подписано к печати 24.04 2002 г. Формат 60х84/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Мысль». Печать офсетная. Усл. п.л. 12,09. Уч.-изд. л. 13,08.  
Тираж 600 экз. Заказ № 3249.

Отпечатано:  
*типография «Полиграф-Сервис-Плюс» (обложка)*  
г. Владивосток, пр-т «Красного знамени», 59  
*типография ГУП «Приморский полиграфкомбинат»*  
г. Владивосток, Океанский пр-т, 69